НЁМАН

4/2011
АПРЕЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 7.04.2011 г. Формат 70 × 108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 18,37. Тираж 3508. Заказ 896.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь; общественное объединение «Союз писателей Беларуси»; редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

ВИКТОР ГОРДЕЙ

Бедна басота

Роман

4

Ядзюня, наверно, не представляла, какую радость ищет на свою рыжую голову. Подсобницей на кирпичне ей не нравится — там работа сезонная, на колхозную ферму дояркой или свинаркой тоже идти не хочет — там неуютно, сыро и слишком грязно. Но кто сказал, что, будучи трактористкой, будет Ядзюня ходить в ситцевом платье и белых туфельках? Никто, безусловно, такой чепухи не плел — все сами видят, какие они мурзачи, механизаторы, тем не менее слава местных трактористок Яни и Нины не дает покоя малосельским девчатам.

Может быть, в окрестных деревнях не нашлось толковых хлопцев, если за руль «Универсала» с железными зубчатыми колесами сели обычные шалохвостки, однако время от времени Яня и Нина наезжают в Малое Село — вспахивают поля трехлемеховыми плугами или боронуют пахоту, а чтобы люди не сомневались, что здесь работают настоящие ударницы, начальник политотдела Большевик на радиатор их трактора нацепил красный флажок. Правда, однажды, когда у трескучего «Универсала» отвалилось заднее колесо, мурзатые трактористки не смогли поставить его на болты и плакали над ничтожной поломкой, как дети. Ядзюня, если понадобится, тоже поплачет: ей бы только черный комбинезон, как у Яни и Нины, ей бы хоть денечек подержаться за блестящий руль, да еще если бы красный флажок на зависть шалопуту Ваньке Зайцу трепетал перед глазами.

— Я тебе покажу трактористку, матолак! Хочешь всю хату провонять? — раскричалась Федора Чиркун, когда услышала про дурацкое желание своей рыжухи. — Цурка противная, высохнешь от мазута, закореешь от солидола!

— Разве я одна такая? — пожала плечами Ядзюня, нажимая на язычок клямки. — Вон и Ледзя с Манькой на курсы трактористов собираются.

Но не успела старая Федора, красная от злости, дать непослушной дочке хорошего тумака в плечи, как открылась дверь, в хату ворвалось облако морозного пара и за порогом послышался скрип слежалого снега, который особенно гулко и сочно хрустит ядреными колядными вечерами. Ядзюня понимала, что не надо сердить мать, старую, износившуюся в работе, но, на беду, у нее не одна, как у людей, натура, а может, двенадцать, и каждая, если что не так, становится на дыбы. Грош цена той хозяйке, которая на Коляды вздумает что-нибудь делать, даже прясть и ткать на Рождество Христово нельзя — пойдут неудачные дети, выродится скотина. Свободного времени на праздники хватало, и потому Федорина хата не раз тряслась от ругани и ссор. А когда разгневанные старые глаза начинают искать по углам тряпку или жгучую веревку, лучше с гонором стукнуть дверью и спрятаться где-нибудь у подруг на весь долгий зимний вечер.

На нынешних Колядах Ядзюня и напелась, и наплясалась вдосталь — даже язык и ноги болят. Хлопцы — возьми их кердык — устраивали склад-

Окончание. Начало в № 3 2011 г.

чину и на музыкантов, и на самогон, нанимали для плясок хату и всей своей бесшабашной хеврой приглашали девчат на веселые кудельницы.

За одно лето Ядзюня налилась соком, вымахала в добрую девку, и недаром около нее все вечера топталась туча кавалеров, не говоря уже о мурзатом Ваньке Зайце с его новым комбинезоном, кирзовыми сапогами и десятью пудами жита на языке. Кажется, не кто иной, как он, шалопут и хвастун, нашептал доверчивым девчатам, что в Круговицкой МТС открываются краткосрочные курсы трактористов, на которые берут всех, кто только пожелает и кто, конечно, не болен на глаза и уши.

— А я и ночью вижу, как кошка, — похвасталась Ядзюня. — Никакой доктор не придерется. А как слышу!

— Думаешь, у меня хуже? — будто бы обиделась Ледзя Гаврилова. — Тоже хорошие у меня и глаза, и уши — чего той медкомиссии бояться?

— Киньте дурное. Кто нас будет проверять? — успокоила подруг, засмеявшись, рассудительная Манька Тодорчина. — Вон Ванька Заяц, мне кажется, совсем подслеповатый, а никто его с трактора не прогоняет.

Вообще, чтобы стать трактористками, у девчат, как выяснилось, хватает и ловкости, и здоровья, остается только выбрать время да отскочить в МТС к начальству — узнать, что и как, потому что шалопутный Ванька, подвыпив, мог и наврать. Отлучиться в Круговичи можно было бы в любой день, если бы про замысел баламутных дочек не узнали мамки — скорее всего, сами и проболтались. Первой на дыбки поднялась Федора Чиркун, пообещав спустить с Ядзюни семь шкур, если не поумнеет; потом за свою Маньку с пеной на губах взялась старая Тодорка, да и Ледзе, самой тихой в девичьей компании, досталось от матери. Затаив обиду, три обманщицы больше не заикались о курсах трактористов, а сами только и ждали момента, когда дома никого не будет. На смотрины к начальству в замасленной куртке и порванных сапогах не пойдешь — надо одеться как следует, чтобы Федотов и Большевик не подумали, что притащились девчата из какого-то бедняцкого края. Ну а как повезет, так на самом деле повезет, будто наговорено кем-то.

На Крещение Ядзюня проснулась — в хате пусто и тихо, мать по случаю большого престольного праздника, наверно, подалась в церковь, или в магазин, или, еще лучше, к соседкам. Ядзюня, не помня себя от радости, накинула на плечи недавно пошитое пальтишко с шалевым воротником, сунула ноги в блестящие резиновые сапоги и — шух за порог. Вернется Федора, кинется к шкафу, увидит нахальный обман, закипит, разгневается, да поздно: из Круговичей Ядзюня вернется законной трактористкой и, может, даже принесет новенький комбинезон с эмтээссовского склада. Ванька говорил, что спецодежду сразу выдают всем молодым курсантам.

И день как нельзя лучше способствовал дерзкому девичьему обману. Всю ночь гудела метель, стонал ветер в трубе, швырял в окна комья снега, а к утру распогодилось, утро на Крещение выдалось ясным, ядреным, морозным, и это, говорят люди, хорошая примета: лето будет не засушливым, не дождливым — жито вырастет густое, высокое, как тростник. И вы подумайте, кто это жито сожнет, обмолотит, и не древним серпом, а огромным красным комбайном — Ядзюня! Если разговор идет о хлебе, выращенном своими руками, то здесь ни мать, ни сам Всевышний Ядзюне не указ. Заранее зная о неимоверной буре в родной хате, все последние дни она искала отважных, готовых на самопожертвование союзниц. И она нашла их.

По заснеженному, еще не протоптанному, в сугробах зимнике из Малого Села в Круговичи, почти след в след за Ядзюней пробираются раскрасневшиеся от мороза Ледзя Гаврилова и Манька Тодорчина. Им тоже опротиве-

ла вонючая кирпичня, надоело каждое лето таскать до изнеможения тачки с сырой глиной, получая за тяжкую работу нищенские рубли, и они отважно и безоглядно, удачно обманув подозрительных матерей, бросились навстречу очевидным и, безусловно, счастливым переменам в своих жизнях. Девчата торопятся, девчата боятся опоздать хотя бы на минутку, поэтому всю дорогу молчат, лишь изредка перебрасываясь незначащими словами, а те эмтээсовские начальники, здоровенный Федотов и высоченный Большевик, наверно, и не догадываются, какое одержимое и надежное пополнение прорывается на курсы трактористов через сыпучий снег, через глубокие сугробы.

Ядзюня, раскрасневшаяся от мороза, широко вышагивает по снежным заносам впереди, а для того, чтобы постоянно быть впереди, у нее есть, пожалуй, не одна причина. И если на то пошло, то у Ядзюни и резиновые сапоги, и кашемировый платок новенькие, почти не ношеные — почему же не похвалиться? Но с такими обычными вещами, как сельповские сапоги и кашемировка, даже и близко нельзя сравнить шикарный воротник, что, плотно застегнутый на крючок, вдосталь дает тепла шее и голове. Шалевый воротник на пальтишке Ядзюни из бобрового меха — густой, лоснящийся, с черным отливом, хотя вообще нельзя сказать, что кто-то из них троих до дрожи мерзнет на этой заваленной снегом дороге. У Ледзи воротник тоже бобровый, правда, там-сям свалявшийся, светло-бурого цвета, а Манькин воротник много хуже — лисий, красно-рыжий с желтым оттенком, да и лис тот был заморышем: шкурки не хватило даже, чтобы прикрыть грудь.

По глубоким сугробам, по морозу бестолковые искательницы счастья прорвались в самый центр местной цивилизации и еще не успели перевести дыхание, как увидели, что из эмтээсовского магазина от норовистой Лизаветы Каэтановны выскочили, что-то жуя на ходу, их односельчанки, возлюбленные начальника политотдела Большевика, славные малосельские трактористки Яня и Нина. Обе в промасленных черных комбинезонах, натянутых поверх фуфаек и ватных штанов, в кирзовых сапогах, а в руках — небольшие бумажные свертки. Авантюристки как только взглянули на них, толстых, неуклюжих медведиц, так сразу же и смутились.

Боже милостивый, наверно, на белом свете происходит что-то не то, если едва ли не первых деревенских красавиц человечество одело в эти замечательные боевые латы. Вместо того, чтобы каждой щедро насыпать на печь малых детушек, бессердечное человечество вручило им по железному страшилищу, что в обиходе называется просто трактором, до весны загнало их под холодные своды ремонтной мастерской, чтобы они хорошо поковырялись в огненных внутренностях государственных «универсалов», и даже разрешило в полдень кинуть к черту ключи, гайки, болты и на несколько минут отлучиться к Лизавете Каэтановне за конфетами-подушечками — самым любимым и на долгие времена для небогатого люда едва ли не единственным послевоенным лакомством. Еще на крыльце магазина, неожиданно увидев молоденьких союзниц по веселым кудельницам и вечеркам, Яня и Нина сперва удивились, потом устыдились своего совсем не девического убранства, который сделал их похожими неведомо на кого, а первой пришла в себя, вышла из оцепенения более смелая и боевая Нина.

— Вот, подушечек купили, — растерянно показала она бумажный кулек. — Будем чай пить с липовым цветом.

— Идем к нам, в мастерскую, — пригласила Яня. — Мы там печку растопили. Погреетесь с мороза.

— Спасибо, миленькие, нет времени, — ответила за всех Ядзюня. — Нам еще к вашему Федотову успеть надо.

Глаза у Яни и Нины округлились и расширились то ли от удивления, то ли с испуга: люди добрые, дайте меда отравиться! Зачем, чего ради этим пацанкам понадобился такой важный и солидный мужчина, как сам директор МТС Семен Петрович Федотов?

— Скажите, а на кой черт вам наш Федотов?

— Хотим записаться на курсы трактористов, только и всего.

Удивление и испуг у Яни и Нины превратились в жалость к бестолковым односельчанкам, в искреннее желание помочь, вытащить их из глубокой дыры, в которую по глупости однажды попали сами.

— Или вы сдурели?

— Век от солярки и солидола не отмоетесь.

— Ну и что? Зато нам новенькие комбинезоны и сапоги выпишут.

— И по десять пудов жита летом заработаем.

— А еще про нас в газетке напишут.

Однако хорошо, что березки в застывшем, заиндевелом лесу не слышат этого то ли разговора, то ли спора. Они, белоснежки, правильно сделали, что отстали у Пчельника, не побежали следом за баламутками, которые, если станут трактористками, всю жизнь будут вонять соляркой и солидолом. Вправить мозги бестолковщине не удалось, и, махнув на все рукой, Яня и Нина, скособочившись от мороза, бегом помчались в мастерскую греться у натопленной добела печи, вприкуску с конфетами глотать горячий чай, заваренный на душистом липовом цвете. Спокойная Ядзюня лишь фыркнула им вслед: нашли кого пугать! А Ледзя и Манька, похоже, засомневались, с тревогой переглянулись, но не успели и глазом моргнуть, как оказались в конторе МТС, будто сюда их кто-то притащил на веревке.

В узком пустом коридорчике авантюристки помыкались туда-сюда, огляделись, перечитали на дверях фанерные таблички: «Директор», «Главный инженер», «Начальник политотдела», «Бухгалтерия». Когда первая растерянность прошла, постояли, подумали и сделали правильный вывод, что кабинет директора самый важный и чиновный. Неразумная девица из глухой полесской деревни, Ядзюня даже не подумала, что в мире существуют определенные правила поведения, вежливости, глубоко вздохнула, словно шла на виселицу, и решительно толкнула облюбованную дверь.

За свое нахальство она, однако, едва не поплатилась: в директорском кабинете колючим и пронзительным взглядом их встретил человек в белом кителе с широкими погонами на плечах. Малосельская бестолковщина сперва растерялась, подалась было обратно к порогу, но тут же сообразила, что это всего лишь огромный, на половину стены портрет Сталина. Помещенный в скромную деревянную раму, портрет висел как раз над единственным в комнате огромным столом, а за столом, озабоченные какими-то очень важными делами, сидели Федотов, Большевик и бывший капрал польского войска Франек Живуцкий. По некоторым особым приметам каждого из них в окрестных деревнях узнал бы и сивоголовый дед, и сопливый подшиванец. У массивного, как гора, Федотова были выпуклые глаза, толстые щеки, к тому же он, как сплетничали, не проходил мимо истосковавшихся вдовиц; Большевик, напротив, был худой, долговязый, двухметрового роста, глянешь — молотильный цеп, да и только, ну а младший среди них по званию обычный слесарь-ремонтник Франек Живуцкий был знаком девчатам хотя бы уже тем, что на эмтээсовской «летучке» во время посевной не раз приезжал в Малое Село на поле, где около молчащего «Универсала» ревели славные трактористки Яня и Нина.

Директор МТС и начальник политотдела в церковь, безусловно, не ходили, но было заметно, что в честь большого престольного праздника прича-

стились совсем не святой водой: щеки порозовели, глаза блестят, как у котов. Увидев непрошеных посетительниц, долго не могли понять, чего добиваются, чего требуют от них меховые воротники — два бобровых и лисий, а когда услышали, что в МТС не хватает механизаторских кадров и они, девчата, не против решить эту проблему, записавшись на курсы трактористов, кроме того, им необходимо сейчас же, незамедлительно выписать новые комбинезоны и кирзовые сапоги, — то неприлично, как дикари, захохотали. Длинноногий Большевик квохтал, аж заходился, утирал слезы, Федотов тряс двойным подбородком, откинув голову назад, и тут краем глаза заметил гневный, осуждающий взгляд Сталина — сразу увял, затих, поперхнулся своим гадким смехом.

— Кто вам наплел про курсы? — серьезно, без всякой насмешки спросил он у Ядзюни, поскольку она вылезла вперед из девичьей группы. — А еще про комбинезон, сапоги?

— Ванька Заяц, тракторист ваш.

— Не тот ли обалдуй, что вечно плуги ломает на камнях?

— Тот самый, Семен Петрович,— встрепенулся, как кот после сна, услужливый Большевик. — Мы Зайца за его штучки здорово тогда в нашей газетке пропесочили.

— Так ведь хлопец ничего не наплел. Если помните, я сам этими курсами занимаюсь, — защитил бедного шалопута Франек Живуцкий и с сожалением поглядел на девчат. — Поздно, девоньки. Курсанты уже изучили мотор, а теперь принялись за ходовую.

— Ну вот видите — поздно! — повторил Федотов и с облегчением вздохнул. Приходите к нам через год, а пока подрастите, с куклами своими поиграйте.

— Обормот Ванька! — со слезами на глазах воскликнула Ядзюня и стремглав, как коза, первой рванулась к двери.

Оскорбленные начальническим хохотом, униженные ядовитым напоминанием о куклах, девчата возвратятся домой притихшие, ласковые, послушные и долго еще не будут даже вспоминать, как позорно провалилась их авантюра с поступлением на курсы трактористов. Ледзя и Манька, конечно, утаят, не признаются, какую кару за непослушание придумали им рассерженные мамки, да и Ядзюня хитро промолчит, что заработала хороших тумаков по плечам, чтобы неповадно было болтаться по директорским кабинетам. Но сейчас, когда они вошли в заснеженный Пчельник, не страх за грехи, а большая обида и возмущение овладели ими. Эти эмтээсовские хохотуны Федотов и Большевик напрасно думают, что им еще рано на трактор. Какие к черту куклы, если все трое давно уже летают на гулянки и вечерки, исподтишка высматривают достойных кавалеров, а Ядзюня, первый раз целуясь с Ванькой Зайцем, даже поломала скамейку у хаты Мартина Полозка.

Оскорбленные и униженные, девчата тяжело месят глубокий сыпучий снег, и березки, что молчаливо замерли по обе стороны дороги, наверно, удивляются: чего они такие грустные и печальные, эти молоденькие красавицы? Они миновали дубовую гряду, выбились из сугробов на большак, они идут и не знают, что на легком возке, подбитом листовой жестью, с гиком и свистом в Пчельник влетел слишком веселый малосельский председатель Алексей Хомутович. Еще полчаса назад он угощался у своей любовницы Агаты Волосюк, сидел за богатым столом, ел и пил, грешно чмокал Агату в щеку, и теперь у него замечательное настроение. На некоторое время забылась, улеглась тревога, что где-то на ферме немо ревут голодные коровы, и только одно есть утешение: что о зимней бескормице ничего не знает стремительный, горячий, как огонь, председательский выездной.

С сугроба на сугроб, со взгорка на взгорок сытый и ухоженный Вороной моментально выхватил из-под стражи вековых дубов разрисованный белыми цветами зеленый возок, спустился с пригорка в низину и, когда за поворотом дороги увидел три девичьи фигурки, просто затанцевал в оглоблях, заработал ногами, так что снежные брызги полетели в стороны и высоко вскинулась, затрепетала на ветру черная грива.

— Эй, малые! Падай в возок, подброшу мамкам прямо в подол, — резко осадил бешеного скакуна веселый Хомутович, забывший на время, что на ферме кроме коров отчаянно визжат и голодные свиньи. — Да побыстрей! Что кешкаетесь, как квохтухи?

Такому крепышу, как Алексей Хомутович, ничего не стоило подхватить Ледзю и Маньку под мышки, легко, словно кули соломы, бросить их на передок возка на присыпанное снегом, сбитое сено, а Ядзюню те же самые крепкие руки бережно подняли над землей и посадили рядом с собой на деревянную скамейку, наверно, для того, чтобы в дороге было удобнее обнимать и поглаживать пушистый бобровый воротник. Глянуть со стороны — и правда, красивая пара. Ледзя лишь вздохнула, Манька быстро отвела взгляд. Вообще они ничего не имеют против, пусть исполнится Божья воля, пускай поженятся Алексей и Ядзюня, но все же жаль, что воротник у Ядзюни такой богатый, шикарный. Одетый в белый крестьянский полушубок, председатель колхоза и сам знает, какой он видный и интересный кавалер: лихо сбил шапку набок, дернул вожжи, взмахнул кнутом, и Вороной опять затанцевал в оглоблях, высек из-под копыт целое облако снежной крупы.

По неразъезженной еще дороге, через глубокие снега грузовая машина вряд ли пробилась бы, а легкий зеленый возок стрелой летит с пригорка в низину, с сугроба на сугроб. Обласканный влюбленными девичьими глазами, Хомутович начисто забыл, что дела в малосельском колхозе идут через пень-колоду, что кроме коров и свиней голодают также кони и овцы, что корма осталось мало, в обрез — один угол сена в сарае да несколько скирд ржаной соломы. Он, молодой председатель, видит бог, сошел с ума: левой рукой обнимает, прижимает к себе Ядзюню, а правой дергает вожжи и одновременно пытается дотянуться до засыпанных снегом Ледзи и Маньки.

— Эй-эй, Вороной!

— Тише, побьемся, как горшки!

— Перевернемся вместе с возком!

— Эй-эй, Вороной!

Лесная дорога, на удивление, тиха и пустынна, разве что по обочинам мелькнут и тут же останутся далеко позади стайки мальчиков и девочек, что возвращаются из школы. Малосельские верующие: бабульки, женщины постарше и помоложе, отстояв службу в церкви, с бутылочками освященной воды, наверно, уже подходят к своим хатам, и это очень жаль, потому что никто не увидит, с каким почетом их, моложавок, везет сам председатель. Теперь и мамки, пожалуй, ничего не сказали бы, если б увидели, что их неразумные дочки оказались в одной компании с Хомутовичем и Вороным.

И все же есть справедливость: на очередном повороте дороги, уже на выезде из лесу, показался вполне достойный внимания человек. Это был эмтээсовский сторож Степан Олифер. Девчата возрадовались нечаянному свидетелю своего вознесения, а Вороной пренебрежительно фыркнул, тряхнул гривой и легко обошел медлительного, пропахшего дымом старика. Ни ездоки, ни конь-огонь даже не заметили, что Олифер полетел торчком, зарылся носом в сугроб — то ли споткнулся сам, то ли его зацепил возок. С проклятиями, кряхтя, он трепыхался в снегу, долго искал киек и люльку, а когда

поднялся на ноги, веселая компания уже исчезла, растворилась в промерзлой снежной замети.

Разгневанный и возмущенный, дрожа от злости, Степан Олифер стоял на лесной дороге, но догнать обидчика было невозможно, и старик, понемногу успокаиваясь, смачно и сочно выругался ему вслед:

— Хай Бог п*а*нам барануе!

5

На исходе зимы, когда заснеженные поля в окрестностях Малого Села засияли серыми лапиками проталин и с пригорков в низины дружно ринулись ручьи, случилось то, чего так боялся Алексей Хомутович: до первой травы фуража не хватило, от бескормицы начался неслыханный падеж скота. В райземотделе, куда со своей бедой кинулся председатель, только развели руками: выкручивайся сам, ничем помочь не можем. Одалживали сено у соседей, силой забирали лишние стожки у людей, разбирали соломенные крыши, но что эта гнилая, без отрубей, без картошки и бураков прелая солома? И скоро в Столпищах, в вековом смешанном лесу, что темной стеной высился за грязным бродом неподалеку от фермы, было не ступить ногой: сюда свозили окоченевшие туши и бросали где попало среди деревьев, даже не закапывая падаль в землю.

На дармовой пир едва ли не со всего Полесья слетелись одуревшие от счастья волчьи стаи, и с этого времени малосельцы жили в тревоге и страхе, надолго утратив покой. Вечерами из лесу, как и в Пилиповку, слышался жуткий вой, позже, когда от коней и коров остались лишь черепа и кости, волки стали нагло шастать у человеческого жилья, и не один Шарик или Галас на окраине деревни поплатился своей незавидной собачьей жизнью.

Странно, но на председательской должности Алексей Хомутович удержался, заработав всего лишь строгий выговор, в райкоме партии, наверно, учли и его молодость, и отсутствие у колхозников навыков совместного труда. Однако наказание он воспринял болезненно, спал с лица и, как заметили сплетницы, даже перестал наведываться ночами к своей любовнице Агате Волосюк. Может быть, подействовал выговор, а может, просто боялся темного леса: волки не станут разбираться в чинах, разорвут на куски и черногривого Вороного, и важного всадника.

Гаврила Трофимчик, который с бригадой плотников в это невеселое время строил новый амбар, мог бы сказочно разбогатеть, если бы своевременно вспомнил, что у него есть замечательное охотничье ружье и немалый запас пороха и жаканов. Однако, отъев морды в Столпищах, волчьи стаи помаленьку перебрались в соседние колхозы, где в окрестных лесах их ждала не менее богатая дань. От полного опустошения ферму спасла необычайно ранняя и дружная весна.

Лютые морозы и метели надолго запомнились людям: о каком-то мясоеде смешно было и говорить, хорошо, что есть хотя бы картошка и квашеная капуста, а кто летом был не ленив, тот бережет и торбочку сушеных грибов на кислое варево. Без жита хороший кабанчик не выкормится, и если кубельцы не до дна опустели, если остался какой-нибудь кусочек скоромного, озабоченные хозяйки берегут его, хранят до лета. Без сала косу не потянешь и долго не помахаешь плотницким топором.

До голода и нищенства, правда, еще не дошло, но перед глазами полешуков явственно возникли призраки и ужасы первых послевоенных лет, когда на необъятных просторах страны стояла страшная засуха. Небо будто мстило

людям за большие и тяжкие грехи: два года кряду солнце жгло посевы, сенокосы и выпасы, вконец высушивало пахотные земли, и ни молитвы, ни слезы не помогали выпросить у Бога спасительных дождей, грозовых раскатов. Каким-то чудом беда Полесье обошла стороной, лютые суховеи споткнулись о высокие боры и рощи, захлебнулись в бесконечных болотах. Крестьяне, имея в хозяйстве землю и коней, еще не отобранных в колхозы, смогли собрать кое-какой урожай, и сюда, в Западную Беларусь, едва ли не со всех сторон света — из Украины и Молдавии, из-под Брянска и Смоленска, из-под Витебска и Могилева — ринулись нищие и попрошайки, старые и юродивые, а то и просто всех мастей мешочники, спекулянты и жулики.

— Подайте ради Бога!

Они не много просили, эти обездоленные, измученные люди, им хватало того, что поставят на стол, они были рады деревянному топчану, на котором можно на ночь приклонить голову, их утешал кусочек хлеба, брошенный утром в засаленную полотняную торбу. Они входили в хату тихие, стыдливые и покорные, садились на лавку и печальными, голодными глазами глядели в зев печи, на жестяную заслонку, за которой у хорошей хозяйки всегда найдется горшок горячего варева. Еще недавно ободранные странники были пахарями, сеятелями, жнеями, но неумолимая засуха отняла у них плуги, косы, серпы и из далеких краев горемыки забрели сюда, в полесскую глушь, в лесные дебри, в болотные заросли. Просили милостыню старцы, калеки, юродивые, и малосельцы их принимали без злости, привечали последним, что имели.

Но однажды в Копцах, на самом высоком взгорке деревни, остановился цыганский табор, раскинув между кустов орешника облезлые шатры. Каждую ночь там ярко пылали костры, слышались веселые песни, дикие вопли, шумгам. Зажиточные хуторяне едва не на коленях молили Гаврилу Трофимчика дать им охотничье ружье, потому что под покровом ночи цыгане у кого увели бычка, у кого вынесли из хлева подсвинка или овечку, не оставляя следов: добыча сразу поджаривалась на углях и тут же съедалась.

Ворожбой цыганки осчастливили Малое Село: почти всех девчат выдали замуж, старым в карты наворожили долгие годы, даже к нелюдимому Степану Олиферу как-то утром прицепилась черномазое существо в длинной, почти до пят юбке. Хозяин чесал в затылке, думал, чем бы отблагодарить за удачную ворожбу, потащился в кладовку, а когда вернулся, в хате цыганки уже не было, и вместе с ней исчезла из шкафчика купленная накануне селедка. За завтраком эту жирную атлантическую селедку уговорить вместе с горячей картошкой собирался сам Степан Олифер, но теперь только облизнулся, проглотил слюнку и, бешеный от злости, кинулся догонять злодейку. За мостком через гнилую канаву дорога поднималась в Копцы, и здесь он осмотрительно остановился, вспомнив, что бородатые цыгане носят за поясом длинные ножи и кинжалы.

Ошалевший от беготни Алексей Хомутович свободней вздохнул только тогда, когда стадо выгнали на выпас, люди почувствовали себя веселее, когда под заборами и на межах выскочила крапива, в околицах пробился молодой щавель.

На полях уже рокотали тракторы, настроение людей, занятых севом, улучшалось, и тем более было странно, что в такие веселые предпасхальные дни Степан Олифер возвращается с ночного дежурства трезвый как стеклышко, без вонючего запаха денатурата. А разгадка этой тайны была простой. Кладовку, где стояли кубельцы с освежеванным перед Колядами кабаном, Марка предусмотрительно закрыла на замок, и эмтээсовский сторож, хотя и носил под мышкой торбочку, уже не мог так щедро угощать своих оголодавших бла-

годетельниц Шутянку и Сергееву. Нет сала и полендвицы — нет и денатурата. Однако хитрые и коварные собутыльницы, не дождавшись богатого угощения, решились на отчаянный шаг: поставили на бухгалтерский стол бутылку и рыбную консерву, и, когда Степан Олифер заметно захмелел, выклянчили у него по свиному окороку к празднику.

Богатых покупательниц хозяин осторожно провел в хату, опасаясь, что Марка не примет их как следует, забудет о вежливости и гостеприимстве — накануне он весь вечер уговаривал упрямую старуху, краснея от злости, даже грохнул кулаком по столу. Понятно, неразумно в голодное время разбрасываться скоромниной, но, в конце концов, взглянув на свою нищенскую одежду, на дырявые сапоги, Марка согласилась, что за вырученные деньги можно будет набрать и на кофту, и на юбку, купить на раннюю весну недорогие сандалеты. Впрочем, позже все-таки одумалась, пожалела два окорока, и когда важные гости возникли на пороге, молча пошла в кладовку, долго там не возилась, принесла и положила на шкафчик окорок и лопатку.

Нестерпимый запах кориандра, укропа и чеснока разлился по хате, бьет в ноздри, от этого убойного запаха можно сойти с ума. Не успела Марка взвесить окорок на безмене, как проворная да расторопная Сергеева обеими руками сорвала соблазнительный кусок мяса с крючка и сунула, бессовестная, в свою клеенчатую сумку. Медлительная Шутянка опоздала на несколько секунд, и ей досталась мокрая от рассола лопатка, потоньше, нежели окорок, и не столь аппетитная по виду. Ошалевшие от жадности, они плохо помнили как рассчитывались и прощались с молчаливой хозяйкой.

— Спасибо, теточка, — весело произнесла Сергеева.

— Будьте здоровы, — буркнула Шутянка.

Теперь они шли не рядом, как обычно, теперь они были непримиримыми, заклятыми врагами, и, чувствуя свою вину, Сергеева вылезла вперед, а Шутянка, наоборот, отстала, чтобы и не видеть счастливое лицо нахалки. Разве будет на земле справедливость, разве дождешься от людей добра, если какая-то неграмотная, бестолковая кладовщица отхватила лучший кусок, а худший выпал ей, образованному и умному бухгалтеру? В свидетели своей великой обиды Шутянка призвала ряд угрюмых вязов, поднимала глаза к одинокой вербе, с надеждой раз за разом оглядывалась на Степана Олифера, что равнодушно телепался сзади. Никто, однако, не посочувствовал обиженной женщине, и обида ее уравновесилась с оскорблением, оскорбление переросло в бешенство, гнев — в жажду мщения. Бедный кабанчик, заколотый накануне Коляд, сам сдох бы в хлеву, если бы знал, что из-за его тленной плоти на хозяйском дворе начнется настоящая битва.

Не в силах совладать с собой, Шутянка вдруг прибавила шагу, размахнулась довольно тяжелой кожаной сумкой и изо всей силы хлобыстнула сухоребрую Сергееву по плечам. Та не ожидала вероломного нападения — споткнулась, едва не упала, но устояла, взмахнула своей сумкой и стала умело защищаться. Недавние подруги-собутыльницы дрались люто и отчаянно, нападали друг на друга то молча, то с громкой руганью, слышной далеко от Олиферова подворья.

— Чтоб ты удавилась! Чтоб тебе кусок поперек горла стал!

— Ой, напугала! Сама удавишься! Саму корчи хватят!

Кто-то из них заметил, что драться хозяйственными сумками не удобно — мешают длинные ручки, пока размахнешься, пока ударишь... Почти одновременно они опорожнили свои торбы и, схватившись за рульки, с новым подъемом, как булавами, стали драться окороком и лопаткой. Обе искровянились, измазались в рассол и сукровицу, а развести, унять их воинственный

азарт было некому. Степан Олифер, который когда-то мог свернуть быку шею, безусловно, легко раскидал бы негодниц, но он впервые видел, как бьются женщины, и просто не знал, что делать.

А люди уже спешили на вселенский шум-гам. Из огорода выскочила Тофиля, остановилась у березы и пыталась угадать, что за лихо приключилось на соседовой усадьбе. Следом, почувствовав поживу для языка, примчалась Полежанка, лучшая в Малом Селе сплетница и сводница, узнала эмтээсовских — и аж язык отняло. Откуда-то, как из-под земли, вынырнули неразлучные пан Винцусь и пан Бронюсь, и тоже растерялись, не стали утихомиривать разъяренных женщин. А те уже совсем обессилели, запарились, и вот-вот битва остановилась бы сама собой, но в эту минуту с обеда возвращался кузнец Костусь Танец, могучий, как лось, с огромными, как лопаты, руками. Он удивленно хмыкнул и в одно мгновение оказался между Шутянкой и Сергеевой, отнял у них окорок и лопатку, сунул бродягам-шляхтичам, чтоб подержали, и стал стыдить хулиганок:

— Стыдно, ой, как стыдно! Такие солидные женщины! Теперь и куры с вас будут смеяться!

— И я то же говорю — засмеют! — высунулась Полежанка. — Пускай уж мы, патлатые, а то — антилигенция!

— Езус Мария! — вздохнул взволнованный Степан Олифер. — Дай им топоры — без дурных голов останутся.

Часть третья

1

На счастье или на беду, рано, слишком рано, где-то в середине марта прилетели серые журавли. Солнечным подвечерком, раскалывая длинными клювами небосвод, усталый клин медленно проплыл над Малым Селом, на ночь опустился на Имшечек за Федориной хатой, а утром, передохнув под бдительной охраной старого журавля-сторожа, стал на крыло и с радостным курлыканьем устремился на далекие болота, где ни зверь, ни человек не нарушат покой длинноногих птиц. Когда крикливый шнур пропал в поднебесье, исчез в тумане за синим лесом, не одна пустая голова с грустью, мечтательно-счастливо вздохнула: «Журавли прилетели — девки замуж захотели». Вся беда была в том, что прилетели журавли слишком рано, и Ядзюня, поглядев на их дружный полет, начисто забыла о своих неполных восемнадцати, отбросила мысли о превратностях жизни и злобе дня и, как в омут, без страха и опасения бросилась по извилистым и крутым тропинкам первой любви.

Молодому безумству способствовала необычайно дружная весна с солнечными подвечерками, теплыми вечерами и счастливо-тревожными ночами. И никто не предупредил Ядзюню, что все же надо остерегаться этой чудесной весны, что нельзя излишне доверяться густой и обманчивой темноте и что, в конце концов, нужно опасаться ночных гроз, когда некуда спрятаться от дождя, кроме как под крышей чужого хлева или чудом уцелевшего Гаврилова гумна. В стремительном беге времени есть большой изъян: вечер переходит в ночь, которую неизбежно сменяет утро, нужно поскорее освобождаться из объятий и сломя голову лететь домой, не забывая при этом извечную девичью хитрость: войти в хату тихо, не скрипнуть дверью, чтобы не разбудить чрезмерно внимательную и строгую мать.

— Где ты, цурка, опять шаталась полночи?

— У Ледзи, мамочка. У Ледзи допоздна засиделись. И Манька там была.

Хватит врать, хватит бросать тень на ясный день: мало ли какой шалохвостке за долгие столетия этот невинный весенний обман вылез боком, отозвался мучительной болью, слезами и проклятиями. Но если быть справедливыми, Ядзюня вовсе не по своей воле обманывает мать и лучших подруг — просто пришла чудесная весна, прилетели серые журавли и неизвестно почему в жилах разгорелась молодая кровь.

Но вот чудо: невыспавшаяся после ночных блужданий в окрестностях деревни, девушка нехотя поднимается с кровати, медленно тащится на ненавистную кирпичню, а к вечеру, едва только где-то за канавой запиликает гармошка, она сразу забывает о натруженных руках, о жгучих мозолях на ладонях и как одержимая летит туда, где на траве-мураве начинаются веселые танцы с безудержным топотом десятков ног, с девичьим писком и довольным смехом парней. Обшарпанная старая гармошка в руках какого-то задрипанного музыканта творит чудеса: как рукой снимет усталость, заберет у кого надо осторожность, отведет слишком зоркие глаза от чьего-то невинного обмана.

На волка помолвка, а Ядзюня тишком да крадком. Для вида отпрыгает в сандалетах польку или падеспань на виду у Ледзи и Маньки, а потом, когда они одуреют от бешеных плясок, отправится вдоль по улице, мимо окутанных сумраком деревьев и там, на лугу, бездумно бросится в объятия теплой апрельской ночи. На небе хитро подмигивают зеленоватые звезды, из ближних садов наплывает горьковатый запах молодой листвы, вишневой коры, и в такую сказочно красивую ночь, видит Бог, легко забыть о чести и гордости, упасть перед чем-то незнакомым и таинственным. Это, незнакомое и таинственное, немного даже косматое на расхристанной груди, будет водить ее по самым незаметным и безлюдным закоулкам, а когда на востоке зарозовеет заря, через мостик на околице поведет Ядзюню в Копцы, и там, среди влажных от росы олешин, отдаст ей, захмелевшей от счастья, последний нежный поцелуй. И опять слово в слово дома повторится то же, что и вчера, и позавчера.

— Где ты была, цурка? Где шатаешься? Вот как поднимусь, как схвачу палку, так отхвостаю — ни сесть не сядешь, ни лечь не ляжешь.

— Где, где... Нигде я не была! А ты, мама, не обзывай меня цуркой.

— Гляди-ка, не нравится. Это хорошее слово, шляхетское. Дочка, значит, доня. Пан Обухович когда-то свою Молгоську так называл.

— Разве что пан. А то цурка да цурка, будто я какой обрубок деревянный.

Неспокойно, тревожно спит последнее время Федора Чиркун: поглядите на нее, рыжая кошечка начинает коготки выпускать, зубки показывать. На бестолковщину, известно, всегда отыщется управа — хворостина или ремень, а еще лучше, как ту очумевшую без яиц квохтуху, окунуть головой в бадью с водой и на несколько дней посадить в кладовку под замок. Но снова приходит вечер, Ядзюня, вернувшись с кирпичні, моется, натирается, прихорашивается перед зеркалом, а мать стоит в стороне и молчит: что же, старому старое, молодому молодое. Опять же, словно нарочно за огородом зацвел садик — как молоком облились яблоньки и сливы, розовым огнем вспыхнули вишни, и такой невыносимый запах плывет оттуда, что и в самом деле забудешь обо всем, кинешься хоть на край света, только бы не скучать одной в надоевшей хате.

И это здесь, на краю Малого Села, а что делается там, в деревне, где сады цветут едва не в каждом дворе и оскомистый аромат нагретого днем плодового цвета стойко держится над притихшей землей, пока в небе не засверкают первые звезды, пока где-то далеко густой мрак не перечеркнут яркие вечерние зарницы. Перед дождем с молнием и громом сады пахнут особенно долго,

устойчиво, и Ядзюня уже и сама не понимает, как оказалась между небом и землей, между сводящим с ума запахом яблоневых лепестков и ослепительными отблесками майских зарниц. И уже невозможно опуститься на землю, и невозможно вернуться назад, потому что в окрестностях Малого Села — на счастье или на беду — очень рано отгремела первая весенняя гроза, которая из всех ровесниц выбрала именно Ядзюню своей законной и вовсе не случайной жертвой.

Горячее сердечное чувство, как обычно у новичков, было неосторожным, необдуманным, и когда двое молодых людей бездумно шастали по ночам мимо чужих хат и дворов, со звездной выси их заметил сам бог любви, и, возможно, не все в их отношениях ему понравилось. Он с отвращением наблюдал, как неумело целуется эта малосельская шантрапа, и там же, на небе, тотчас было решено: нет, пока весна полна шала, с этим пустым занятием надо заканчивать, надо довести дело до конца. Ни Ядзюня, ни ее таинственный кавалер даже и не заметили, как над ними закружился мальчик с луком в руках, и два сердца, не прикрытые защитными панцирями или хотя бы какими-нибудь жестяными латами, в одно мгновение были пронизаны острыми стрелами Амура.

Посланец неба мгновенно исчез, как только из-за Горской ночную тьму прорезали слепящие пики молний и уже близко, над самой околицей, протяжно отозвался первый гром. Туча, закрыв ущербную луну и мерцающие звезды, надвигалась так быстро, что убежать от нее не было почти никакой возможности, а чтобы попроситься к кому-нибудь в хату, об этом не было и речи. Влюбленные как раз миновали Олиферов садик, по чужим огородам перебрались на Гаврилову селитьбу, и единственным спасением для них могло стать гумно, которое раз за разом выхватывали из тьмы огненные вспышки молний. У стены, под застрехами, было еще сухо и затишно, а вокруг уже ярилась, бушевала первая апрельская гроза. По старым бороздам вокруг гумна помчалась дождевая вода, и вдруг ожила, забурлила переполненная до краев старая канава в ольшанике.

Ветер, кажется, поменял направление, тучу как будто стало относить назад — дождь уже сечет с боков, льется ручьем с промокшей соломенной крыши. Уходя от дождя вдоль стены, ночные странники оказались перед широкими, двустворчатыми воротами. Стукнуло железо о железо, дужка замка вылезла из пробоя, одна створка приоткрылась, и горячая крепкая рука потянула Ядзюню в черную прореху. Она легко поддалась силе, пушинкой влетела в гумно — силу и власть этой загребущей руки она помнила еще с зимы, когда на заснеженной лесной дороге взмыленный Вороной зацепил возком старого растяпу Степана Олифера.

— Ой, мне страшно! — дрожала от сырости и волнения Ядзюня.

— Не бойся, если я с тобой! — сильно сжал ее локоть Алексей Хомутович.

Громоздкая створка дверей, закрывшись за ними, гулко стукнула о подворотню, и сразу, как только исчезла светло-серая щель, в гумне стало совсем темно, одновременно отдалилось грозовое громыхание, ослабел шум дождя. Однако по ярким вспышкам молний, что высвечивались сквозь щели в стенах, было видно, что гроза по-прежнему ярится и злобствует. Чужеземный Амур и наш языческий Перун, договорившись на небесах, видно, решили окончательно замучить влюбленную христианскую пару. Туча как будто нарочно зависла над гумном — ни туда ни сюда, глухо бубнит гром, раз за разом вспыхивают молнии, вода льется уже сплошным потоком.

Где-то под самой крышей, в развилках дубовых опор, услышав людей, неспокойно зашевелились какие-то живые существа. Это могли быть дикие

голуби, которые через маленькое окошко в задней стене спрятались здесь от непогоди, а скорее всего, там, вверху, зацепившись коготками за латы, висят ушастые ночницы — существа уродливые и отвратительные. Ядзюня вспомнила, как однажды на чердаке своей хаты впотьмах схватила руками сонную летучую мышь и от ужаса просто омертвела. Тот давний ужас и теперь овладел бы ею, но невидимые существа шевелились где-то высоко, у стропил, и, конечно, испугаться их могла бы только последняя трусиха. Да и выглядели миролюбивые ночницы безобидно в сравнении с действительно жуткой мерзостью, что с писком и шумом бросилась в разные стороны из-под ног. Ядзюня, поняв, откуда этот гадкий мерзкий писк, охнула на все гумно.

— Мне страшно, Алексей! Ой, что-то ногу пощекотало!

— Не пугайся! Это житники — полевые мыши. Теперь в полях пусто, так ищут около людей чем-нибудь поживиться.

Видит небо, ойкнула Ядзюня и в самом деле искренне — без притворства и обмана. В ином случае, если бы не бешеная апрельская гроза, если бы не коварство Амура и Перуна, дикий страх перед рыжими полевыми мышами ей и самой показался бы большой глупостью. И опять же, Ядзюня здесь ни при чем. Кто же знал, что по ночам в Гаврилово гумно нужно брать с собой сердитого и голодного кота, который в одну минуту на куски порвал бы писклявых житников, поглотал бы их живьем. Ядзюня даже дрожала от страха, потому что ее усатый полосатый защитник остался дома, и теперь вся надежда была только на Алексея Хомутовича. В минуты смертельной опасности хорошо, что рядом стоит такой красивый и плечистый парень с очень уж тонкими, деликатными манерами. Вообще же он не стоит на месте, а просто прилип к Ядзюне, мнет и комкает молодое упругое тело, и в горячем, прерывистом дыхании слышится опыт старого добытчика, который знает, что надо делать, чтобы рыжая трусиха еще больше дрожала и тряслась.

Конечно, это беда, если в чьем-то гумне разведется тьма ненавистных мышей, но для Ядзюни надолго останется тайной, почему в минуты ее наибольшего страха Алексей Хомутович не выдохнул ей в лицо: «Ах, моя красавица, если б ты только знала, какой я блудливый и шкодливый кот!» Сперва Ядзюня даже не поняла, по чьей вине ее ноги вдруг оторвались от твердого глиняного тока и беспомощно повисли в воздухе, а когда поняла и кожей почувствовала чужую сумасшедшую силу, то, перелетев бабочкой через высокую дощатую перегородку, оказалась уже в просторном сусеке, на куче пахучего прошлогоднего жита. Ей было и страшно, и противно, и стыдно, но, пускай видят люди, она так испугалась мерзких мышей, что почти ничего не помня, без оглядки отдалась на растерзание крепким рукам своего спасителя и своего мучителя.

Рожь в засеке, не один раз пропущенная через арфу, очищенная от куколя и головни, одуряюще, до головокружения пахла молодой расчиной, кислым тестом, свежеиспеченным хлебом. Кладовщик Миколай Гиляр, видно, готовился к каким-то очередным хлебопоставкам, потому что предусмотрительно бросил в засек десяток пустых мешков, и, едва коснувшись их спиной, Ядзюня почувствовала, что это очень хорошие — чистые и мягкие — льняные мешки. Она уже не прислушивалась к грохоту грозы над гумном, не видела блеска молний сквозь щели в стенах, у нее просто не было лишней секунды на размышления — сопротивляться или покориться, отдаться на волю судьбы. И уже совсем удивительно: в этот самый щемящий момент неожиданно прошептались обрывки давней, когда-то услышанной от матери девичьей присушки: «Лягу я, раб божий, помолившись, встану я, благословившись, пойду я, перекрестившись, пойду из ворот в ворота, выйду я в чистое поле, в зеленое

жито. Как солнце красное засияло, пригревает черные грязи, мхи и болота, так и ты, раб божий — Алексей, прибегай, присыхай ко мне, рабе божьей Ядзюне, глаза в глаза, а сердце в сердце. Вы же ангелы-архангелы, прилетите, мой страх, мою боль и тревогу заберите».

Как знать, даст ли хоть на каплю какой-нибудь пользы нехитрая, путаная присушка, но и на самом деле раба божья Ядзюня сперва молилась, потом просилась, потом раненой птицей затрепетала от муки и счастья, но наконец, изнемогла, успокоилась, покорно сроднившись с тем, что еще минуту назад казалось недостижимой девичьей мечтой и что теперь было близенько-близко, слышалось в ней самой, жило вольно и бесстыдно в ее молодом и здоровом теле.

Ангелы-хранители все же, наверно, прилетали — забрали у Ядзюни страх, боль и тревогу, понесли куда-то далеко, в глухие леса, на гнилые броды, на журавлиные болота. И сразу, словно по Божескому желанию, исчез и стыд, и отвращение, а немного погодя, когда грешная, разделенная на двоих любовь упивалась сладостью и уже была на седьмом небе от счастья, произошло и вовсе что-то невероятное: вдруг широко расступились стены гумна, сорвалась с дубовых опор и поплыла вдаль соломенная крыша, и там, где только что шумел проливной дождь, открылось бескрайнее зеленое поле. Бархатная зелень на нем крупнеет, растет просто на глазах, — сперва только вороне укрыться, затем человеку по пояс, а вот уже и всадник утопает с головой в густых и высоких хлебах.

Бескрайняя нива, синий туман на горизонте, откормленный жеребец посреди хлебного поля — все это было похоже на сказку, но даже самая чудесная сказка когда-нибудь заканчивается. Удивительное, сладкое марево начало исчезать в трепетной тьме, жизнь обрела реальные очертания, на свое место возвратились дырявые стены гумна, следом плавно опустилась с неба на дубовые опоры соломенная крыша. Тихо, ни шороха, ни звука. Не хлопают крыльями дикие голуби, не носятся над головой жуткие ночницы, не пищат в закутках мерзкие полевые мыши.

— Ой, Алексей! Что мне мама скажет? Волосы вырвет, — приходя в себя после пережитого, зашмыгала носом Ядзюня.

— Дура! Не скажешь, так откуда она узнает?

— Узнает! Прибьет! Искалечит!

— Не реви! Лучше о колхозном думай. Как, например, яровые посеять, — лежа на льняных мешках, вполне серьезно посоветовал Алексей Хомутович.

— А я и думаю. Трактористкой хочу стать. Как Нина и Яня.

— Нина и Яня! От них за версту соляркой несет.

— Алексей, ты меня не бросишь? Не сбежишь к своей Агате? — повеселела немного Ядзюня, освобождая ноги из пахучего сыпкого жита.

— Что еще за Агата?

— Та самая, от которой ты скакал на выездном, когда на Обуховичевой сажалке забил бобра.

— Нужна мне старая толстая колода! — недовольно проворчал Алексей Хомутович, шаря вокруг себя, чтобы подняться.

— Не бросишь? Правду скажи мне!

— Не брошу, не брошу! Вставай, однако. Пора уже и честь знать.

Все же грустно и печально, когда у чудесной сказки столь невеселый конец. Нужно подниматься и искать впотьмах туфли, что во время Ядзюниного полета через дощатую перегородку свалились с ног и упали неведомо где. Опытный соблазнитель и теперь подставил нагловатые руки, а дешевенькие сельповские туфли, присыпанные зерном, отыскались в углу сусека. Опять

скрипнула створка ворот, замок властно пересек дужкой железный пробой, нервно проскрежетал ключ.

Дождевая туча уже не висит над гумном, небо очистилось, появились крупные малиновые звезды, и только за темным лесом горизонт время от времени вспарывают последние робкие зарницы. Воробьиная ночь безжалостно отступает, за Горской полоска зари густо и сочно окроплена красной росой. Амур и Перун, завершив свое обычное дело, где-то спят в хрустальных дворцах сном праведников, а здесь на грешной и сырой земле ложатся рядом две пары следов: от Гаврилова гумна до моста, от моста в Копцы, и там, в мокром ольшанике, расходятся — и одному, и другому перед тем как заняться будничными человеческими заботами нужно хотя бы на минуту закрыть очумевшие от усталости глаза.

— Пока, Алексей!

— Пока, рыжая!

В эту грозовую ночь ничего трагического, разумеется, не произошло: просто парень полюбил девушку, просто на раскисшей земле остались их следы. Но именно после этой ночи один любознательный человек в Малом Селе серьезно задумался над казалось бы неразрешимой тайной. Едва солнце выкатилось из-за леса, совершая обычный утренний обход своих владений, к гумну притопал Гаврила Трофимчик. У подворотни он заметил свежие следы и тотчас сообразил: шли рядом здоровый бугай и молодая козочка в легких туфельках. Старый жук почесал нос и сделал неожиданный практический вывод: «Нашли, где прятаться. Гумно спалят, холерники!» Затем, немного погодя, за фуражом для свинофермы подъехал на телеге рассудительный кладовщик Миколай Гиляр. Этот тоже заметил непорядок: те же следы, свернутый набок замок, разбросанные в отсеке мешки, но хотя он знал, что запасной ключ от гумна есть у председателя колхоза, явное вмешательство в его хозяйственные дела осмыслить не смог. Нахмурившись, Миколай Гиляр молча отмерил сколько нужно фуражного зерна, вскинул мешки на воз и поехал, глубоко задумавшийся, растревоженный.

Но, наверно, самая большая загадка воробьиной ночи выпала на долю Федоры Чиркун. Утром, собираясь на работу, дочка выставила на крыльцо свои отсыревшие туфли, чтобы к вечеру их хорошенько просушили солнце и ветер. Бесконечно молчаливая и озабоченная, Ядзюня даже не заметила, что с помощью Алексея Хомутовича бессовестно обворовала малосельский колхоз: к мокрым стелькам прилипла горсточка общественного жита, и, когда молодая хозяйка ушла со двора, деликатесное угощение каким-то образом унюхала вечно голодная куриная орава. Вскочив на крыльцо, чубатки начали биться за каждое зернышко, и жадность их не понравилась бойцовскому петуху: мощными пинками длинноногий волокита разогнал свой прожорливый гарем и сам до последнего зернышка выклевал дармовое угощение. Глядя со стороны на куриный бедлам, Федора Чиркун невольно задумалась: еще не сеяли, не жали, откуда же в туфли насыпалось столько жита? Вечером об этой тайне она собиралась спросить Ядзюню, но день после ночной непогоди выдался теплым и солнечным — самое время заняться огородом. Перед окнами хаты, на пригреве, Федора вскопала две гряды, посадила лук, посеяла ранний салат и редиску, а когда вечером Ядзюня вернулась с кирпични, то, уставшая от лопаты, уже и забыла, о чем хотела поинтересоваться у дочери. Ядзюня, прихорашиваясь перед зеркалом, что-то схватила на один зуб и, ведомая молодым интересом, бегом помчалась из хаты.

— Ты, цурка, долго не гуляй!

— Ладно, мамочка, не буду!

Так уж случилось, так захотелось небу, что раба божья Ядзюня из-за своей чрезмерной влюбчивости стала жертвой первой весенней грозы: и легла она, помолившись, и побежала в чисто поле благословившись. Там заря-заряница — девичьему счастью помощница. Свети, ясный месяц, до видна, будь у Алексея женушка одна! Чары чарами, присушки присушками, а такое не приснится: слепящий блеск молний, ворчливые переборы грома, зловещий мышиный писк в тихом Гавриловом гумне. Пускай себе позже были иные, майские грозы, еще более могучие и яростные, но разве забудется та, первая, апрельская? Плакать захочется, а слез нет, грустить захочется, но и грусти нет. Да и какие слезы, какая грусть, если от края до края шумит-поет зеленая весна.

Зацвели и отцвели сады. Яблони, сливы, вишни пустили молодую завязь, и не успели еще опасть лепестки, как новое чудо — во дворах фиолетово взметнулась сирень, из темных недр на солнечные опушки выбежала белоснежная черемуха. Пришли такие прекрасные, нежные, ласковые вечера — с гудением майских жуков, с пиликаньем гармошки, с заливистым девичьим писком, со смешными — до упаду — остротами парней. И опять побег — в ночь, в тишину, под звездное малиновое небо. Там, в самых неожиданных местах, — то в Копцах среди орешника, то на лугу в ольшанике, то на молчаливых опушках, — уже не один раз повторялась удивительная, невероятная картина: волнуется рожь за деревней, пасется черногривый Вороной на краю поля.

Уставшая от дневной работы Федора Чиркун смотрит, как Ядзюня собирается на свои вечерние игрища, и ничего не понимает в поведении дочки: что цурке надо, почему ей не сидится в доме? Ах, помнила бы старость, чего ищет молодость! Но Ядзюня не виновата: это ведь, заблудившись на извилистых весенних стежках, в подслеповатые окошки покосившейся хаты на краю Малого Села постучалась сама любовь. Это на дикие болота, на глухие мшистые прорвы рано, слишком рано прилетели серые журавли.

2

Отец Ваньки Зайца когда-то считался большим чудаком: напьется или прикинется пьяным влежку и кричит: «Зося, ховайся! Большевики с Советами бьются!» В памяти людей еще свеж был сталинский поход в Западную Беларусь, и многие долго не могли понять, почему вместо одной власти при поляках стало теперь аж две: какие-то большевики и какие-то Советы. Какая разница между ними и как они делят свой начальнический хлеб, малосельцы, обессиленные вечной бедностью и непомерными налогами, даже не задумывались, и только Петрук Заяц не переставал болтать на свою голову. Испуганная дурацкими, бессмысленными шутками хозяина, Полежанка где только не пряталась: и в кладовке, и в истопке, и в зарослях малинника за хлевом, но однажды «большевики с Советами» приехали в Малое Село на черном «воронке», шутника забрали в Ганцевичи, а потом не очень деликатно переправили в далекую и морозную Сибирь.

Дело было перед войной, старый Заяц успел прислать короткую весточку — где живет, что делает — и умолк, наверно, навсегда: или умер в лагере на Колыме, или погиб на фронте в штрафном батальоне. Батьку своего Ванька помнит хорошо, хотя и не особо по нем печалится, а мать и вообще удивила соседей: прилюдно пустила слезу, приличия ради поохала, Бога вспомнила и тут же забыла, что был у нее когда-то болтливый и никчемный Петрук, — женщина с длинным как помело языком бегает от двора ко двору, от хутора к хутору, и горя ей мало. Укоры совести Полежанку не мучали, и оправданием сводницe, наверно, служит тот очевидный факт, что и манерами, и привыч-

ками, даже широким, до ушей, лягушачьим ртом Ванька удался в отца, взял у него все до капли, и теперь это было бы слишком — в одной хате, под одной крышей каждый день видеть и терпеть двух абсолютно одинаковых шалопутов, двух неисправимых шаромыжников и болтунов.

— Ванька, ты своего батьку жалеешь?

— Само собой, жалею. Хороший, говорят, был человек.

— Да, хороший. Царство ему небесное.

Старая Полежанка с тревогой и страхом думала, что баламутный сын пойдет отцовской дорогой, но случилось еще хуже: таких шутников и пройдох, как ее Ванька, еще и свет не видел, и люди не слышали. Петрука Зайца, при всех его чудачествах, не стоит слишком срамить и позорить: болтун, трепач, но не лодырь, весельчак, фокусник, но не тюхтяй безрукий. Жилистый и мастеровитый, он хорошо зарабатывал в панском имении, а своим столярным мастерством так понравился помещику, что тот совсем недорого продал ему хорошего строительного леса на хату. Так Полежанка стала близкой соседкой Тофили и Степана Олифера, а ее просторная, с сенцами, кухней и светлицей хата после войны немало послужила для шумных сборищ молодой малосельской шушеры. Время от времени, как только в мире стало спокойнее, во дворе Полежанки стрекотал движок кинопередвижки, а еще чаще, обычно в воскресенье и на престольные праздники, когда гнусил дождь или прижимал мороз, в ее хате едва не до утра пиликала, захлебывалась гармошка и гулко стучал бубен. В такие дни шут Ванька ходил перед друзьями гоголем, да и мать его распирало от спеси и гонора, потому что у кого еще в Малом Селе имеется такая большая и шумливая хата!

Ванькины штучки, возможно, и начались с того, что во время вечерних киносеансов он тихонько открывал окно в малой половине хаты и через запечье переправлял в светлицу своих небогатых приятелей. Киномеханик, не догадываясь об обмане, только дивился тому, что зрителей каждый раз оказывалось намного больше, чем проданных билетов, но о потайном лазе не догадывался. Ванька Заяц одержимо любил свою хату, когда на белом экране в пространстве между окнами гарцевали какие-то разодетые и сытые черти, до умопомрачения любил свое жилище и тогда, когда в углу непрерывно пиликала гармошка и весело звенели медные бляшки бубна, а разморенные духотой парни и девчата топали так, что тряслись стропила и стены ходили ходуном. Когда в хату набивалось гуляк до предела, хозяин-сморкач пробирался между вспотевшими существами в юбках и незаметно то одной, то другой сыпал за воротники платьев, жакеток, курточек ворсистые зерна шиповника. Затем, сидя на лавке у печи, с большим интересом наблюдал за поведением своих жертв.

Веселые танцорки, почувствовав неслыханный зуд, опрометью выскакивали из круга, прятались в затишные углы, но и там, в полутьме, не то что почесаться — боялись даже пошевелиться, чтобы, упаси Боже, не подумали, что их, чисто вымытых и нарядных, терзают вши. До утра, когда закончатся пляски, было еще далеко, а зуд становился невыносимым, и бедные малосельские панны тишком да бежком выметались из хаты, чтобы где-то за углом вытряхнуть из одежды жгучие семена, а затем как ни в чем не бывало вернуться под всепобеждающую власть хриплой гармошки и раскатисто громыхающего бубна.

Прекращать свое интересное, захватывающее занятие баламут Ванька не собирался, тем более что в окрестностях Малого Села растут сплошные заросли шиповника и, на горе девчатам, плоды этого колючего и кусачего кустарника не осыпаются даже лютой зимой, ярко и сочно рдея на фоне снежной белизны. Однако игры с девичьими воротничками показались бы детской

забавой в сравнении с тем, что произошло позже. Чернявый красавец Борис, он же и гармонист, он же сын Мартина Полозка, из своего угла, где выжимал жалостливые «Саратовские страдания», однажды заметил, как Ванька пощекотал его любовницу Анюту Сэлькову, и, когда та скоренько шмыгнула во двор, резонно подумал: ему, едва ли не первому деревенскому пройдохе, выросла подходящая замена. Выждав немного, Борис вывел охламона в сенцы, и гореть бы его ушам розовым цветом шиповника, если бы в кармане гармониста не зашелестел бумажный кулек с толченым красным перцем. Старый пройдоха простил малолетнему шельмецу Анюту, но приказал сейчас же, не откладывая, вернуться в хату и тайком, чтоб никто не заметил, рассыпать перец по полу. Не понимая, зачем зря переводить такую хорошую приправу к вареной капусте, бурачкам, а то и к мясу, Ванька все сделал так, как ему было приказано, сам же осторожно, со стороны стал наблюдать, что будет дальше: понравится танцорам острая «приправа» к музыке или не понравится?

В хате почти без передышки заливалась гармошка, бил бубен, звенели медные бляшки, а широкоротый балбес со страхом и удивлением таращился на хлопцев и девчат, словно сходивших с ума. Танец за танцем: полька, кадриль, краковяк, падеспань, — темп плясок становился все живее, все азартнее. Вот уже и пыль из-под десятков ног поднялась до потолка, пыль коромыслом, пыль столбом, сильнее затряслись стены, звонче задребезжали стекла в окнах. От пыли уже и совсем не продохнуть: она забивалась в каждую складку тела, щекотала ноздри, даже Ванька чихнул и раз, и два, и три. Он, вовсе не наивный подросток, конечно, догадался, что это сумасшествие от красного перца, и потому растерянно пялился на Бориса Полозка, который в своем углу, будто и не лысый, бешено перебирал лады и басы старенькой гармошки.

О Боже, как же понравилось молодкам плясать в сплошном бедламе, в пыли и дыму цигарок! Хоть бы на минуту вырвались из очумевшего круга славные трактористки Яня и Нина. Одна, раскрасневшаяся, как помидор, вихляя толстым задиком и потряхивая руками, начала на пятках выделывать такие интересные выкрутасы, что парни ахнули от удивления. Вторая, более стройная, умоляюще вращала бесстыжими млеющими глазами, обхватила кавалера за шею, просто повисла на нем — то ли от счастья, то ли в самом деле сомлела. Даже тихая, спокойная, всегда уравновешенная Анюта Сэлькова, искоса взглянув на своего черноволосого гармониста, нервно взмахнула косынкой и пошла, пошла по кругу то с подскоком, то с притопом, да с частушечкой, припевочкой:

Хлопец-зух, хлопец-зух,
Не хадзі да маладух,
А хадзі ты да мяне —
Ночка хутка праміне!

На дикий писк и жеребячий хохот с огромной, словно дот, печи, где каждый раз пряталась от слишком шумного сборища, спустилась, широко зевая, испуганная и удивленная Полежанка. Она не знала, что причиной этого веселья и необычайного согласия в любовных чувствах стали шуточки ее сына, и потому серьезно забеспокоилась: какая еще дурь свалилась на малосельских зелепух? С таким подъемом, с таким запалом бешеные пляски не закончатся, наверно, и к восходу солнца. Однако в рассуждениях своих встревоженная Полежанка неожиданно ошиблась. Первыми из хаты вымелись измученные вконец Яня и Нина — на пару с кавалерами. После них двери уже не закрывались: парни побежали за девчатами, девчата за парнями. В окнах было еще темно, в хлеву еще ни разу не кукарекнул петух, как хата, на удивление хозяй-

ки, опустела. Понемногу оседала пыль, жилищем овладела ночная тишина. Полежанка, вздохнув, покарабкалась на свой дот, Ванька погасил лампу и, уже лежа на кровати, глубоко задумался: чего этим поскакухам шиповник не нравится, а красный перец понравился, да еще как понравился? Он вспомнил, с какой нежностью Анюта Сэлькова на выходе из хаты сунула руку Борису в карман галифе, и вдруг все понял — захохотал так, что рот раскрылся до ушей.

Назавтра о бешеных плясках зеленой шушеры где только не говорили в Малом Селе. В эту ночь, оказывается, то тут, то там, трещали кусты, шуршала трава, под вербами, под березами слышался шепот-перешепот, ласковые слова, нежные вздохи, а в каждой деревне очень много любопытных и любознательных глаз. Да если бы только глаз — языков тоже. Не кто иной, как сам Борис Полозок разболтал, какую мерзость устроил Полежанкин Ванька, и сплетни с оговорами вокруг красного перца разгорелись с новой силой — кто искренне возмущался, кто злобно радовался:

— Гляди, что придумал босяк — перца подсыпал!

— Ай да Ванька, ай да молодец!

Запомнился малосельцам этот красный перец!

Назавтра мамки так хлестали своих любвеобильных дочек, что и хворостин не хватило — кого справедливо, по заслугам, кого для науки, за будущий грех. Но диво дивное: после массовой лупцовки девчата стали одна за одной выскакивать замуж, и родители, готовя свадебные столы, очень уж спешно гнали самогонку, кололи кабанчиков, резали телят, а глядишь, через какое-то время то в одной, то в другой хате уже кугукало малое дитя. К огорчению для девичьего подроста, со своей Анютой поженился и веселый гармонист Борис Полозок, деревенский задира, верховод, и пока у Ваньки Зайца пробились первые усики, он успел уже срубить себе хату на краю Малого Села, обжился, завел детей.

Из той компании, что среди ночи сходила с ума в Полежанкиной хате, кажется, без пары, девками остались разве что Яня и Нина. Поразмыслив, чем же они грешны перед Богом, Ванька сделал вывод: эти эмтээсовские ударницы слишком уж стараются на работе и от них за версту несет соляркой. Он теперь и сам не лучше славных трактористок: ходит в промасленном комбинезоне, в тяжелых кирзовых сапогах, а руки украшены закоревшими, несмываемыми мазутными пятнами. Морочить себе голову над книгами он не хотел, еще в пятом классе забросил учебники на чердак: зимой болтался по деревне без дела, летом пас скот, а когда подрос, выучился на тракториста, хотя свою вредную привычку — отчебучить что-нибудь веселое, смешное — так и не забыл.

— Вырос под небо, а дурак дураком, — глядя на сыновьи проказы, тишком вздыхает Полежанка. — Ну, точно батька, чирей ему в бок!

Как на добрый лад, сегодня Ванька Заяц должен служить в армии. Ничего плохого с ним в этой красной армии, наверно, не случилось бы, ну, посидел бы крюком в танке, ну, побывал бы лишний разок на гауптвахте, но в дела министерства обороны неожиданно вмешалась мать. Полежанка сбегала в военкомат и собес, обила пороги ганцевичских докторов и кое-как вытребовала блудному сыну отсрочку на два года — она и слабая, и одинокая, и такая бедная, хоть ложись и помирай. Друзья-ровесники с прошлой осени сидят на солдатских харчах, а Ванька, если выпадет божья неделька или какой-нибудь праздник, слоняется по деревне как неприкаянный, и водить дружбу ему не с кем, разве что с этим зеленым охламоном Збышеком, которого только весной из прицепщиков посадили на трактор — напарником к Ваньке. Поскольку на безрыбье и рак рыба, то Збышек очень уважал старшего товарища и служил ему преданно, как плюгавая дворняжка плюгавому хозяину. Еще с той позд-

ней осени, когда на поле возле хаты Федоры Чиркун они поломали тракторные плуги, он знал, что для Ваньки значит рыжеволосая Ядзюня, и по собственному желанию шпионил за ней, следил за каждым шагом, докладывая своему кумиру обо всех грешных и не очень грешных поступках Федориной панночки.

Возможно, именно по этой причине Ванька Заяц не прогонял явного подхалима: вместе хлопцы болтались по деревне, вместе в кино и на девичьи погулянки, а частенько — чего уж греха таить — брали даже по чарке. Двум таким здоровым лоботрясам одной бутылки водки обычно не хватало, а лишнего рубля в карманах не водилось, и тогда очень способный на выдумки Ванька, как средневековый алхимик, научился делать хмельную тюрю. В миску крошил хлебный мякиш, заливал самогоном, размешивал, и, сидя у стола, два балбеса ложками хлебали вонючую мерзость — не питье и не еда, а Полежанка, ничего не зная, всякий раз дивилась, почему алюминиевая миска отдает натуральной сивухой. Нахлебавшись чертовой гадости, хлопцы быстро пьянели, хмель по такой рецептуре держался долго и цепко. Первым сдавался Збышек, — известно, сморкач еще, молокосос, — то бледнел, то краснел от проглоченной мерзости и с каждой минутой становился все более болтливым.

— Ванька, слышишь? Вчера я твою рыжую видел в Копцах.

— Ну и что?

— Стояла в орешнике и целовалась с Хомутовичем.

— Что еще?

— Недавно Хомутовичев выездной был привязан на дворе у Чиркунихи.

— Не врешь?

— Вот тебе крест на пузо! — крестился захмелевший Збышек.

— Ну, гадина, я тебе покажу! — грозился пьяноватый Ванька.

Серые журавли, прилетевшие этой весной на Полесские болота очень рано — еще в середине марта, добавили неслыханных забот и волнений не только малосельским невестам. Своим вниманием Амур не обошел и Полежанкину хату: его крылатые посланцы с луками покружились, покружились, да и пронзили острыми стрелами Ванькино сердце, плохо защищенное старым промазученным комбинезоном. И какой здесь грех, если хлопцу самое время взяться за ум, оставить свои дурики, в чем заинтересована не только Полежанка, но, как видно, и вездесущий Амур. Это же правда — Ванька в минувшие годы уже не раз провожал Ядзюню к дому, даже целовался с ней в Копцах, и про лавку Мартин Полозок ничего не придумал: в самом деле поломали — гнилая была, трухлявая. Еще и нынешней зимой Ядзюня разрешала взять себя под ручку, но после первых весенних гроз что-то разладилось в их любви. Ядзюня почему-то сторонится Ваньки, убегает, а встретится на улице — глаза отводит.

Влюбленный тракторист, как тот индюк, что сидел на колодце, думал и так, и этак, но толку не мог добиться, сплетням он не верил, даже мать свою не слушал, а ему, Збышеку, поверил: вот откуда эта беда — от сильного соперника, от Алексея Хомутовича. Может, потому и не спится ночами Ваньке, может, чаще, чем надо, заглядывает он в миску с хмельною тюрей. Сам понимает, что это плохо, а совладать с собой нет сил: болит душа, сердце, пробитое Амуровыми стрелами, жжет ревность. Хорошо хоть, что есть рядом Збышек — и утешит, и посочувствует, и при острой необходимости рублем пожертвует. Во двор с Ванькиной хаты они вываливаются раскрасневшиеся, бредут по улице едва не зигзагом, а уже вечереет: небо на западе красное, солнце зависло над самым горизонтом, и, кажется, оно не стоит на месте —

дергается то вправо, то влево, то вверх, то вниз, будто и в самом деле купается в прозрачной небесной купели.

— Гляди ты, солнце купается, — остановился удивленный Ванька Заяц.

— Не, это в глазах двоится, — рассудительно возразил Збышек.

Они, два дурака, нализавшись хмельной тюри, совсем забыли, что завтра Иван Купала — древний праздник земледельцев, время разговления и расцвета природы. Накануне вечером и утром, как верят в народе, солнце играет, словно купается в небе, хотя прав и Збышек: от такого молодецкого напитка, которым они угостились, в самом деле запрыгают чертики в глазах. А сейчас впереди Збышека бредут, спотыкаясь, два Ваньки, и это очень хорошо, что у него такие надежные друзья, да вот беда: как их, двух негодников, напоить, если и на одного бутылки сивухи обычно маловато.

Рекой, чтобы пускать по воде купальские венки, Малое Село Всевышний обделил, и святого Яна малосельцы каждый год празднуют на покатом берегу древнего пруда, заросшего саблевидным аиром, колючей осокой и рыжим рогозом. Сюда захмелевшие хлопцы попали в самое время: на берегу пруда уже толпились группы парней и девчат, высоко, едва не до облаков, полыхал костер, в который малолетняя шантрапа натаскала всяческого мусора, тряпья, хвороста, пожелтевших березок, что валялись во дворах с Троицы.

Хорошая погода, если не льется с неба за ворот, в такие чудесные сказочные вечера ценится молодежью выше всего на свете. Можно до утра водить хороводы, ворожить, прыгать через костер, хотя для Ваньки Зайца этот древний обычай представляет сегодня немалый риск: уж очень легко угодить в костер и поджариться, как барану на вертеле. Принести в жертву какому-то святому Яну свое молодое тело хлопцу не очень хочется, и он, незаметно пошатываясь, стоит в стороне от трепещущего пламени, тем более что в таком непристойном виде не хочется показываться на глаза Ядзюне. А вот Збышеку и море по колено: повертелся около Маньки Тодорчиной, ущипнул за бочок Ледзю Гаврилову, а меж тем подкатил уже и к Ядзюне. Закончилось его пижонство тем, что рассерженная Ядзюня на стриженную под ноль глуповатую макитру Збышека с размаху насадила свой красивый венок из луговых и полевых цветов.

Смех, шутки, хохот. Молодежи хочется плясать, веселиться, молодежи хочется сходить с ума, рвать горло песнями, но коротка, как заячий хвостик, купальская ночь: вот-вот окропится малиновым соком восход, побледнеют звезды, над прудом поплывет туман, заквакают в аире лягушки. Опало яркое пламя костра, только в середине дотлевают остатки хвороста, угли на глазах затягиваются серой пепельной пленкой. Хлопцы и девчата нехотя расходятся по домам, кто-то топает в гордом одиночестве, кого-то ведут под ручку, а чаще идут гурьбой, группками, со смехом и песнями. Спохватившись, еще не протрезвевший Ванька Заяц догнал Ядзюню уже на мостике через гнилую канаву — рыжуха услышала позади топот сапог, повернула голову на шум.

— Не ходи, Ванька, за мной! Ты пьяный как грязь.

— Опомнись, Ядзюня! Всего ложек десять и хлебнул.

— Что, что? Десять ложек?

— Ну, десять.

— Ну и дурень! Кто же водку ложкой хлебает?

Стоп, Ванька, — проговорился! Едва не выболтал Федориному рыжему счастью большой секрет, едва не ляпнул про миску с хмельною тюрей — вот дурень так дурень. Они уже молча поднимались на Горскую, а вдоль полевого проселка остро, до умопомрачения пахло молодым люпином. В предрассветном мареве растений еще не было хорошо видно, но Ванька знал, что пахнет именно желтый люпин — сам сеял весной. Проселок, как только закончилось

колхозное поле, разделился на несколько дорожек, и одна из них, огибая Копцы, повернула к Ядзюниной хате. Через мокрый от росы орешник гордячка идет, высоко задрав голову, на незавидного кавалера даже не взглянет, словца не молвит.

И тут пьяноватого Ваньку, как иголка, пронзила крамольная мысль: «Куй, хлопец, железо, пока горячо». Конечно же, любая орешина в Копцах примет их, молодых-неопытных, приютит, побережет в обморочном беспамятстве, а для этого каким-то способом надо завлечь в кусты это гонорливое создание. К отчаянной смелости склоняет, кажется, и сама природа: тишина, покой, в орешнике начинают щелкать соловьи. Ядзюня, наверно, нутром почувствовала что-то недоброе — прибавила шагу, побежала, потом так помчалась, что неудавшийся насильник остался далеко позади.

Он все же успел вскочить на Федорин двор, но перед самым носом стукнула калитка, щелкнула защепка, и уже оттуда, из сеней послышалась сердитая девичья отповедь:

— Пьяница, лодырь! Чего приперся? Фигу тебе с маком, а не Ядзюню!

— Я так и думал. Хахаль Алексей Хомутович, видно, дороже.

— Дороже или нет, а не тебе ровня.

— Гляди, чтобы не заплакала, как бобриха.

— Не пугай, пуганая!

Красный после перепоя, а еще больше от оскорбления и стыда, Ванька поплелся с Ядзюниного двора. Позже он никак не мог вспомнить, как оказался около Имшечка, в высоком, до пояса, папоротнике. Плутая в зарослях, бедолага вдруг споткнулся, упал в росу, а когда поднялся, увидел около ног скруток тонкого стального троса. Этот трос мог потерять он сам, когда весной где-то поблизости делал техосмотр своего «натика», а мог потерять любой другой, не слишком аккуратный тракторист. Ржавый скруток проволоки Ванька держал в руке, и не был бы он, балбес, сыном балбеса, если бы в голове не возник мгновенно дьявольский, идиотский план. Он уже знал, как распорядиться, как наилучшим способом использовать неожиданную находку.

— Поплачешь, рыжуха, по своему хахалю!

Для Ваньки, как и для многих малосельцев, давно уже не было секретом, что на престольные праздники любитель выпить и вкусно поесть Алексей Хомутович проводит время у пухленькой Агаты Волосюк, и вот теперь, пока еще держится сумрак, Вороной с чиновным любовником в седле должен промчаться окружной дорогой, чтобы не заметили чужие глаза, вдоль Имшечка.

По прежним конским следам на другой стороне болотца мститель легко определил, где будет скакать Вороной, и невысоко — коню до колена — перегородил узкую дорожку стальным тросом, туго завязав концы на комлях молодых сосенок. Ванька Заяц сделал свое черное дело и, поеживаясь от стылого воздуха, двинул прочь. Вслед ему не то гневно, не то сочувственно что-то прошептали старые сосны: на Купалье, если верить легендам, и звери, и птицы, и каждое дерево обретают дар речи.

А сказочная ночь — ночь невероятных чудес — заканчивалась. В лесу стало совсем светло, над Имшечком, в низинах и ложбинах, расплылся молочный туман. Всходило солнце, но за высокими деревьями невозможно было разглядеть, как оно купается сегодня.

3

С трепетанием вечерних зарниц на горизонте, с едва слышным ворчанием грома где-то за лесами-за долами приходят на Полесье чудные летние

ночи. В синем небе зажигаются яркие малиновые звезды, умолкают в березовых перелесках певчие птицы, воробьи-забияки прячутся в теплые закутки, и только ушастые ночницы, кожаны, нетопыри в стремительном полете неутомимо сверлят воздух, настоенный на горьковатом аромате чабреца и вереска, багульника и можжевельника. И тогда, в тот самый час, когда в соседнем лесу и на полевых разлогах за Горской установится чуткая дремотная тишина, Ядзюня, спящая после тяжелого труда на кирпичне по-молодому крепко и беззаботно, оказывается в фантастическом театре бледных теней, блеклых образов, бестелесных призраков и привидений. Она то скачет верхом на белом коне, то гордой аистихой плавает в поднебесье, то ловит живую рыбу в чистой, а иной раз и в мутной воде.

На сцене этого фантасмагорического театра действующими лицами бывают и люди, и животные, и мерзкие насекомые, а декорации самые невероятные и противоречивые: царские дворцы и крестьянские развалюхи, лесные дебри и волнующаяся рожь за деревней, гиблое болото и медуничная околица вдоль малосельской канавы. В снах чудесно сочетается свет реальный и сказочный, день вчерашний и завтрашний, порой сны повторяются по нескольку раз за ночь, одни помнятся долго, а другие забываются сразу, как только Ядзюня проснется. После сказочно-загадочных спектаклей, что грезились до рассвета, она сидит на постели растерянная, покорная судьбе, и спросонья никак не может понять, что же с ней происходило на самом деле в эту теплую летнюю ночь.

— Мама, слышишь, мама, ты дома? — натягивая платье, зовет Ядзюня. — Знаешь, что я сегодняприснила?

— Откуда мне знать? — высовывает из двери кухни распатланную голову Федора Чиркун. — Сама приснила, сама и разгадывай.

— Послушай, мама. Будто лечу я над полем, лечу и лечу, а поле широкое, бескрайнее.

— Поле — доля, летать — в дорогу собирать, поле широкое — дорога далекая. Подожди, подожди, дочушка, а в какую такую дорогу ты собираешься?

— Да никуда я не собираюсь. Просто это сон.

— Тьфу ты! И правда, сон, — смущается мать и вполне серьезно интересуется: — А вода тебе, цурка, не приснилась?

— Не-а, не приснилась.

— Ну и хорошо, что не приснилась. Вода — это беда.

Толкователь дочкиных снов с Федоры Чиркун никудышный, все ее разгадки чаще всего малоправдивые, дальше рифмовки отдельных слов она не идет: вода — беда, ручей — ничей, полотно — молотно, если же случится сон, который никак не сочетается с благозвучными, певучими слогами, тут бедная предсказательница теряет дар речи, становится совсем беспомощной. Но, к счастью, девичьи мечты и грезы, даже самые невероятные и фантастические, не остаются без разгадки, без более-менее правдоподобного толкования, после которого у Ядзюни исчезают все причины грустить и горевать. В Круговичах, как раз в треугольнике между МТС, церковью и кирпичней, на берегу обрывистого и заболоченного луга, что тянется до Кудахи, под высокой березой живет всем известная вещунья, в самом деле талантливая толковательница снов тетка Прузына, а по-уличному еще интереснее — партизанка Зозуля. Неизвестно, что она делала там, в отряде, но из лесу Зозуля вернулась как бы немного очумевшая, со странным, а порой и непонятным поведением: красит, как семнадцатка, губы и щеки свекольным соком, брови мажет чем-то черным, наверно, сажей, и каждый день бегает на почту за своей нищенской партизанской пенсией, поскольку иных жизненных доходов у нее нет.

Ничего плохого она, конечно, людям не делает, хотя иной раз кричит и грязно ругается на всю деревню. Заброшенная, забытая властями и былыми сослуживцами профессиональная толковательница снов живет в маленькой, тесной хатке, подпертой с трех сторон бревнами, чтобы не кувыркнулась от ветра с обрыва, и если этой гнилой ведьминой хатке чего не хватает, так именно курьих ножек. Бедность, нищета, запустение снаружи, да и внутри не лучше: кривоногий стол, две расшатанные табуретки, деревянная кровать с дырявым рядном и тьмой клоповых точек на спинках. Ядзюня, как только приснится что-нибудь таинственное или тревожное, утром, торопясь на кирпичню, незаметно выбежит из девичьей стайки и, не постучав, влетает в раскрытую хатку знаменитой вещуньи.

— Это ты, Ядзюнька? — вылезает из берлоги, отбросив рядно, заспанная, расхристанная Зозуля. — Ну, заходи, заходи. Вот тебе табуретка. Садись, девка, и рассказывай, что тебе сегодня приснилось.

— Тетя Прузына, может, ничего интересного в этом сне нет, — волнуется Ядзюня, теребит пальцами уголки косынки, в которую завязан полдник. — Жито я жала. Серп острый-острый, а жито густое, рослое, как камыш.

— Как же ничего интересного? Радуйся, девка. Влюбилась ты по самые уши. Густое рослое жито — это любовь, а острый серп говорит, что любовь твоя горячая, большая.

— Ой, выдумаете, тетя. Никого я не люблю. Просто сон дурной, вот и все.

— Ага, если б дурной! По глазам видно, что кого-то любишь. И не красней, милая, какой же тут стыд? — утешает свою постоянную клиентку Зозуля, а ее голодные глаза задерживаются на Ядзюнином узелке с едой. — А яичко ты принесла?

— Ой, тетя Прузына! Простите, чуть не забыла, — смущается Ядзюня. — Вот принесла — и яйцо, и кусочек сальца.

— Будет что такое, так и завтра, девка, ко мне забегай.

— Спасибо, тетушка!

Сны, которые следует обязательно разгадать, снятся не каждую ночь. И если ночное видение не слишком впечатляюще и не тревожит Ядзюню, старая вещунья остается, конечно, без своего законного яичка и кусочка сала. Наверно, сама и виновата. Частенько забегая к Зозуле, рыжая шалохвостка многое переняла из ее опыта и более-менее удачно может и сама постичь тайный смысл ночных страхов и сказочных видений. Ядзюня теперь определенно знает, что сны бывают хорошие и плохие, пустые и пророческие, каким из них можно доверять, а каких следует опасаться. Сны сбываются и не сбываются. Берегись, шалая, снов, которые повторяются по нескольку раз за ночь, бойся, девочка, снов, что снятся под утро и после которых тотчас просыпаешься. Старая Зозуля всегда интересуется, под какой день недели привиделся сон, и из этого делает однозначный вывод: с четверга на пятницу сны пророческие, с пятницы на субботу очень серьезные, и их следует отвести, чтобы не случилась беда или какое лихо.

Вещунья, имея в виду Ядзюнин хотулек, и искренне помолится за нее перед образом святой Богородицы, и пошепчет на воду, и совершит еще какие-то чародейства, но невероятные, бессмысленные спектакли в бедной девичьей голове продолжаются порой до самого утра. Сны преследуют мечтательницу, огорчают, просто мучают, и она уже начинает ненавидеть прекрасные летние ночи, позже обычного забавляясь на вечерних гулянках среди верных подружек, которым тоже видятся молодые — и черно-белые, и цветные — сновидения, но все же не столь фантасмагорические, как Ядзюне.

На горизонте, едва опустятся сумерки, слепо поблескивают зарницы, где-то за лесом, переваливаясь с тучи на тучи, тихо ворчат ночные громы, однако

никто определенно не знает, почему в звездные и спокойные часы к малосельским красавицам являются в сновидения образы окрестной природы, тени живых существ, призраки и видения иной, нереальной, неземной жизни. Партизанка Зозуля очень доходчиво объяснила, что это могут быть отголоски материнских сказок и былин, библейских легенд и сказаний, но чаще всего это отголосок на самой же придуманный мир, на свои собственные страдания, волнения, тревоги. В последние ночи, такие же теплые и погромыхивающие, Ядзюне уже не раз снились кони — скакуны, рысаки, сивки всех пород и мастей. Гривастый табун с жеребятами то пасется у ольховой канавы, то галопом летит по деревенской улице, по проселкам. И вот к шальному табуну однажды присоединился, будто свалился с туч, еще один конь — конь вороной. Опять же, в сне все произошло самым чудесным и фантастическим образом. Где-то там, на небесах, Ангел, который удостоился Божьей милости, срывал с мудрой и священной книги семь печатей, и когда сорвал третью печать, Ядзюня будто бы услышала голос: «Иди, девушка, и смотри». И она пошла и посмотрела, и явился перед ней конь вороной и на нем всадник, а в руке у него полная мера хлеба. От старой Зозули Ядзюня знала, что конь во сне приносит надежду, а еще лучше — увидеть белого коня. По словам той же предсказательницы, белый конь — это успех, ехать на нем верхом — семейное счастье. В том буйногривом табуне, что уже не раз снился девушке, белых коней, кажется, не было, так вот на тебе — конь вороной! Горячий, как огонь, стремительный, как ветер, что он пророчит — радость или печаль? Ночной испуг, утреннюю тревогу и отчаяние необходимо было прояснить сейчас же, безотлагательно, и, пока суд да дело, поскольку к круговицкой вещунье далековато шагать, Ядзюня, как только пришла в себя от ночного кошмара, сразу побежала на кухню к матери. Толкователь снов из нее никудышный, но важно сочувствие, утешение, произнесенные в нужное время.

— Мамочка, ты не знаешь, что значит присниить вороного коня? Белого — я знаю, а вороного? Вороной приснился. И всю ночь гарцевал на нем кавалерист в латах, только что вместо сабли железной держал в руке соломенное лукошко-сеялку. Не помню только, с пшеницей или ячменем.

— Ой, дочушка! Говорить тебе или не говорить? Сбылся твой сон, видит Бог, как в руку.

— Что ты, мамочка? — испугалась Ядзюня, отступая к двери светлицы. — Беда какая?

— Беда не беда, а не слышно и добра, — раскрасневшаяся от горячей печи, горько вздохнула Федора Чиркун. — Недавно мимо нашей хаты пробегала Попиха-почтальонка, так она сказала, будто в лесу, за Имшечком, председателя колхозного, Лексея Хомутовича, нашли совсем искалеченного.

— Что это ты говоришь, мама? Как — искалеченного?

— Как, как — никак! В Ганцевичи на эмтээсовской машине Лексея повезли. Ногу сломал, руку искалечил, череп в кровь расквасил. Это же какой-то дурень дорожку в лесу тонкой проволокой перетянул, а председатель наш скакал, а конь не заметил этой проволоки. Споткнулся и — оба оземь. Лексея без памяти к дохторам повезли.

— А Вороной? А выездной Алексея? — вырвалось вдруг у Ядзюни.

— Холера его не возьмет, твоего Вороного! Вывихнул переднюю ногу, морду искровянил, но жить будет.

— Жалко их — и Алексея, и Вороного жалко.

— Жалко, жалко! — рассердилась почему-то Федора Чиркун. — Не так жалко, как невыгодно. — Она нервно разбила головешки в печи, поставила кочергу в угол. — Родились бы у вас детки малые — хорошо было бы.

А что теперь? Неизвестно еще, поправится Алексей, выкарабкается или нет, бедолага. А может, калекой останется? Какой тогда из него хозяин? У-у, как с калекой жить!

— Скажешь, мама! — зарозовелась маковым цветом Ядзюня, убегая из кухни в светлицу. — Замуж я не собираюсь — ни за Алексея, ни за Ваньку.

— Соберешься, цурка! Соберешься, когда своя вошь укусит.

Завтракала Ядзюня, как всегда, спехом, на ходу, делая вид, что ночное происшествие ее совсем не касается и не интересует. И по дороге на кирпичню, незаметно пристав к группе девчат, была слишком веселой и смешливой, как будто ничего не случилось, на самом же деле на душе кошки скребли, а перед глазами неотступно стоял дурной пророческий сон — буйногривый табун, вороной конь в стороне и на нем грозный, закованный в латы всадник. К партизанке Зозуле Ядзюня не забегала, потому что исчезла надобность: и так все ясно как белый день. Ужасная весть долетела до Круговичей, и даже на кирпичне только и разговоров было, что об Алексее Хомутовиче и его искалеченном выездном.

Колхозного председателя в окровавленном вереске утром подобрали малосельские трактористы, что напрямую через лес торопились к своим «натикам» и «универсалам». В полдень в Малое Село налетели милиционеры с ученой собакой, ходили по хатам, расспрашивали, может, кто что слышал. Выжлец след преступника не взял — утро было слишком росным, все запахи к обеду выветрились, а люди, оказывается, ничего не видели, ничего не слышали. Милиционеры с ученой собакой поехали в Ганцевичи ни с чем, потому что перегородить дорожку тросиком, дурачась, могли и дети, что и было очень похоже на правду.

У Ядзюни, когда мать вечером рассказала о милиционерах, екнуло сердце — это же он, злыдень Ванька Заяц! Шельмец, бестолочь, пьяница, он уже давно знает про ее с Хомутовичем встречи и вот, видишь, как отомстил сопернику. Опасаясь сплетен, разумная Ядзюня никому — ни матери, ни подругам — не призналась, что на Яна ее провожал домой Полежанкин Ванька, однако все последние дни чувствовала себя плохо, неприкаянно мыкалась по хате из угла в угол. На кирпичне, таская тяжелую тачку с глиной, молчала, и на загрустившую подругу все чаще бросали сочувственные взгляды Ледзя и Манька. Они, хитрухи, понимали, какая печаль мучает сердце Ядзюни, также и короткая летняя ноченька понимала, почему в тесной хатке у леса вертится с боку на бок, не смыкает глаз до утра какое-то всклокоченное рыжее создание. А тут еще, как на беду, заболел зуб — хоть волком вой, хоть на стенку лезь. Вообще-то Ядзюне очень хотелось, чтобы у нее заболел зуб, и он — даже непонятно какой — среди ночи заныл, задергал по-настоящему. Если бы кто-нибудь спросил у страдалицы, то она и сама удивилась бы необычному совпадению: там, в районной больнице, лежит перебинтованный Алексей Хомутович и там же, у ганцевичских окаянных докторов, надо рвать больной зуб.

— Болит, ох, болит! — держась за щеку, подхватилась с кровати Ядзюня. — Мамочка, помоги!

— Что же я, донечка, сделаю? Содой прополощи, сала несоленого приложи к зубу.

— Полоскала, прикладывала. Не помогает. Там дупло сделалось — сова спрячется.

— Терпи, может, само собой успокоится.

— Нет, мамочка, побегу, наверно, в Ганцевичи. Вырвут холерника, так и болеть не будет.

— Как хочешь. Слетай себе и в Ганцевичи, — догадываясь, что к чему, сказала хитрая, как лиса, Федора Чиркун. — Собирайся, а я в кладовку загляну — чего-нибудь отщипну на дорогу.

Непонятно где, в каких тайных закутках бережливая хозяйка хранила эти невероятно вкусные угощения — половину кольца сухой колбасы, кусочек полендвицы, добрый кусок ветчины. Хотулек с деликатесами оказался в Ядзюниной руке, и только когда крайние хаты Малого Села остались позади, рыжеволосая страдалица встрепенулась: вот оно что! Хотела, дурочка, обхитрить мать, а получилось так, что мать, не моргнув глазом, обвела доченьку вокруг пальца: так ловко подсунула передачу Алексею Хомутовичу, что Ядзюня и не заметила.

За деревней, едва только начались суходолы вперемежку с болотистыми ложбинами, перестал болеть и зуб — не ноет, не щемит. До Ганцевичей, если бежать напрямки, верст пятнадцать не наберется. Натоптанная тропинка вьется в ольшанике, бежит вдоль одиноких хуторов, за большим Огаревичским болотом выбегает на наезженный большак, а там, за извилистой речкой Цной, уже недалеко и до районной больницы. Одноэтажные больничные здания заняли на краю местечка молодую березовую рощу, и Ядзюня немало поплутала среди белокорых деревьев, пока нашла хирургическое отделение. Здание, в котором должен лежать Алексей Хомутович, она угадала легко, потому что с высокого крыльца на дорожку, посыпанную желтым песком, неожиданно спустилась толстая, как ступа, Агата Волосюк. Она узнала землячку, окинула пренебрежительным взглядом с головы до ног и не выдержала, чтобы не прошипеть, как гуска:

— И ты тут, рыжая с-сморкачка ? Даже и не думай — не возьмет тебя Алексей.

— Ничего я не думаю, — смутилась Ядзюня. — Зуб у меня болит.

— Зуб зубом, а припас в торбе ради чего?

— То мама на дорогу дала.

— Ого! Хорошему косцу на неделю, — усмехнулась зло Агата и показала куда-то за березы: — А зубы не здесь, а там, в амбулатории, лечат.

Можно было сгореть от стыда, от позора, провалиться сквозь землю, но спасибо белому березняку: он пожалел, спас бедную Ядзюню — принял в свои объятия Агату Волосюк, повел ее по желтой дорожке, спрятал ревнивую перестарку в густой зелени деревьев. Ядзюня засомневалась: идти в палату к Алексею или возвращаться домой? И тут опять дал знать о себе больной зуб — начал дергать, покалывать в десну. Заболел по-настоящему или показалось? Не зная, что делать, она растерянно топталась на деревянном крыльце и все же решилась: отважно рванула на себя двери хирургического отделения. При входе в коридоре за маленьким столиком сидела и что-то строчила пером дежурная медсестра. В глаза сразу бросилось, какая она красивая, эта молоденькая девушка, в белом как снег халатике. Аккуратный носик, губы, как вишенки, глаза большие, карие, брови черные и такие же черные, как смоль, волосы. Ядзюня, пораженная, вздохнула: ее рыжая краса перед этой черной красой ничего не стоила, и если бы она, Ядзюня, была хлопцем, то понятно кому отдала бы предпочтение. Карие глаза на минуту оторвались от бумаг, профессионально оценили робкую посетительницу.

— Ты к кому?

— К Алексею Хомутовичу. Он с коня упал.

— Сколько ж вас? — почему-то рассердилась чернявая красавица. — То одна, то другая, то третья.

— Брат он мне, — обманула Ядзюня и сама удивилась своему нахальству. — Да, брат двоюродный.

— Странно. Он светлый, ты рыжая. Не стой, иди. В седьмой палате твой брат двоюродный. По коридору налево.

Порог седьмой палаты, узкой, как кладовка, где лежал у белых стен искалеченный Алексей Хомутович, Ядзюня переступила с робостью и тревогой: только бы не подумал, что она стала слишком настырной, только бы не посчитал ее бесстыжей нахалкой. Малосельский председатель был весь в бинтах — и левая рука, и голова, а правая нога в гипсе, прямая как ружье, с помощью металлических грузил была подвешена к потолку. На тумбочке у окна белеют какие-то пакеты, может быть, Агатины дары. Кое-где упаковка порвалась и из прорех показался сушеный окорок, розовое с мясными прослойками сало. Ядзюня с удовольствием отметила, что ее гостинец будет выглядеть лучше. Хомутович такую гостью, наверно, не ждал — заметно заволновался, нервно дернулся, пытаясь сесть, но вспомнил, в каком он бедственном положении, и принял ее просто и скромно.

— Проходи, Ядзюнька, проходи. Вот на эту табуретку садись.

— Как ты жив, Алексей? Ну и похудел! Только глаза блестят.

— Так и жив, — виновато улыбнулся Хомутович. — Покалечился малость. Правая ходуля в трех местах треснула.

— Неужто хромать будешь, Алексейка? — помня материнскую тревогу, наивно спросила Ядзюня и сама же поняла, что сделала это плохо. — Ой, прости мне мою глупость. Не надо было об этом спрашивать. — Виновато подошла к кровати, прислонилось к груди, потом чмокнула Алексея в полные теплые губы. — Прости, миленький.

— Поправлюсь, не горюй. Голова уже почти не болит, рука заживет, ну и ходуля не должна подкачать. Одно плохо, что лежать долго.

— Ешь хорошо, выздоровеешь быстрее, — тепло, по-матерински посоветовала Ядзюня, развязывая котомку. — Возьми вот мясного на пробу. — И ревниво кивнула на тумбочку с бумажными свертками: — Ты, вижу, не скучаешь тут в одиночестве.

— Мать сегодня приходила, — нехотя буркнул Алексей Хомутович и перевел разговор на другое. — Как там мой Вороной, не знаешь?

— Видела, ходит по околице. Сытый, гладкий, но хромает сильно.

— И кому это понадобилось дорожку перегородить?

— Дети, может, баловались.

— Если б дети! А не этот ли фокусник, Полежанкин, устроил?

— Откуда мне знать? Или я хожу за ним?

— Ясно, ты здесь ни при чем.

Они разговаривали долго и бестолково, и белые стены понемногу привыкли к их тихим, немного грустным голосам. Они говорили обо всем и ни о чем, и уже два раза чернявая красавица недовольно приоткрывала дверь палаты, но эта ее настырность почему-то Ядзюню не смущала. Наконец рыжая гостья, удовлетворенная встречей, стала собираться домой — как-никак была середина дня, и в глазах Алексея Хомутовича, кажется, мелькнула то ли печаль, то ли сожаление, что не может проводить возлюбленную. О своем больном зубе Ядзюня забыла, когда выбегала из тени белых берез, не вспомнила о нем и тогда, когда напрямую мчалась через пригорки и низинки, вдоль молчаливых хуторов, и только уже в Копцах, на подходе к родной хате, заволновалась, поверит ли мать, что ганцевичские доктора сделал чудо: вылечили зуб не вырывая, и теперь этим зубом Ядзюня может даже орехи грызть.

О путешествии в Ганцевичи Федора Чиркун, занятая какими-то своими хлопотами, расспрашивала на удивление мало, безмолвно занималась хозяйством, а вечером вкуснее обычного покормила дочь и, усталую, измученную,

отправила спать. Спала Ядзюня крепко, как убитая, и диво дивное: в эту и все следующие ночи конские табуны ей больше не снились. Исчезли куда-то гнедые и черные кони, где-то там, в небесной конюшне, пропал и конь вороной. Зато тревожные девичьи сны едва ли не каждую ночь начал посещать горластый огненный петух. Проснется Ядзюня среди ночи и думает: то ли во сне петух прокукарекал, то ли в хлеву горланит на рассвете живой куриный кавалер? Утром на кирпичню Ядзюня бредет молчаливая, задумчивая, и девчата подружку не трогают, потому что все знают и о ее тайном походе в Ганцевичи, и о ночных спектаклях с огненным петухом на сцене.

«И что тебя мучает, дурочка?» — спрашивают хитрые Ледзины глаза.

«Зайди к Зозуле и не страдай», — советуют разумные Манькины глаза.

«Ну и зайду! Ничего со мной не случится», — отвечают печальные Ядзюнины глаза.

Партизанка Зозуля, когда Ядзюня скрипнула дверью убогой хатки, уже поднялась из своей берлоги, даже успела свекольным соком помазать щеки и щедро украсить сажей сивые выщипанные брови. Вещунья с тревогой взглянула на девушку, но увидела в ее руке торбочку с едой и сразу успокоилась. Так, не стой, молодица, у порога, садись вот на скамеечку, выкладывай, что там у тебя, и она, лучшая предсказательница в округе, увидит, где черное, где белое, точно определит, откуда идет лихо. Снился, говоришь, петух, да еще огненный, горластый? Ну, это, конечно, не беда. Петух в снах показывает на измену, но это просто смешно: какая измена, если Алексей Хомутович белыми шелковыми лентами привязан к больничной кровати? Не хмурься, панечка, твою беду руками разведу. Ого, кроме петуха еще и рыбы снились? Тут Зозуля и сама заволновалась, проницательно, удивленно уставилась на Ядзюню и, присев напротив около стола, устроила ей настоящий допрос:

— Какая рыба снилась — живая или тухлая?

— Живая.

— Замуж, девка, пойдешь. В какой воде ловила — в чистой или мутной?

— В чистой.

— Счастье тебе, девка, будет. Сама ловила рыбу или кто помогал?

— Кажется, был какой-то хлопец с удочкой, но кто — не помню.

— Рыбу ловить — дитя пеленать, — просто в лицо, без церемоний и лишних слов выдохнула партизанка Зозуля. — Будет у тебя, девка, дитя.

— Какое дитя? — едва не свалилась со скамейки Ядзюня. — На что оно мне?

— Сама нагуляла, сама и расхлебывай. А яичко все же давай.

— На, бери! Хоть подавись им, старая ведьма!

Соломенная крыша Зозулиной хаты, казалось, сорвалась с очепов, поднялась над дряхлыми стенами, отплыла в сторону, и небо раскололось — слепяще сверкнули молнии, глухо, раскатисто прогремел гром. Почти такая картина привиделась Ядзюне там, в Гавриловом хлеву, когда над деревней ярилась весенняя гроза. До мелочей, до последней минутки вдруг вспомнилась та сумасшедшая воробьиная ночь, и, не помня себя, красная от стыда и позора, заплаканная молодица выбежала на дорогу. За мокрыми от росы деревьями в белом тумане виднелись приземистые строения кирпичниı, высоко в небе торчала красная труба, еще через минуту послышался пронзительный зычный гудок.

Прекрасными летними ночами молодой влюбленной голове виделись в снах самые невероятные спектакли — печальные и тревожные, веселые и смешные, но трагедий пока не было.

4

Из бывшего панского сарая, в котором нынче могучий дизель, пыхтя дымом, крутит динамомашину, трактористы когда-то вытащили Обуховичеву добитую бричку, и она, никому не нужная, несколько лет ржавела под забором на пустой эмтээсовской площадке. Рессорную одноконную колымажку с мягким сиденьем для пана, деревянной скамейкой для кучера приметил сам начальник политотдела Большевик и принял его как подарок Всевышнего. Пока Алексей Хомутович лечится в больнице, районное начальство поручило партийному вожаку руководство малосельским колхозом — честь не бог весть какая, а деревня не малая, дворов на двести, и попробуй тут померь пешком, хоть и длинными, как у аиста, ногами, все окрестные поля. Тише едешь, дальше будешь, лучше медленнее, да спокойней: этот ветрогон Хомутович всему миру показал, как хорошо и приятно лететь кувырком с быстроногого горячего скакуна.

Бричку отремонтировали эмтээсовские умельцы: заменили планки кузова, поставили новые подножки и боковые щитки, на колеса натянули железные шины, и получился вполне пристойный выезд. Теперешний малосельский конюх, волоокий Есель, выбрал в колхозном табуне быстроногого, но спокойного норовом жеребчика, научил способного партийца пользоваться сбруей, и тот, когдатошний армейский офицер, стал почти безошибочно отличать дугу от чересседельника, набедрики от сыромятных вожжей, а при необходимости мог даже самостоятельно засупонить хомут. Бричка, покрашенная в весенние тона, застучала по корням придорожных деревьев, запылила по полевым проселкам, затряслась, как в лихорадке, по выбоинам Малого Села. Был бы Алексей Хомутович дома, не валялся бы в седьмой палате, если бы, глядя на своего временного преемника, увидел он, как легко решить вопрос собственной безопасности.

Шиком торжественного выезда стал голосистый медный звонок, который Есель услужливо прикрепил под дугой: динь-динь, динь-динь — едет Большевик! В знак особенного уважения к новому руководителю Есель хотел прицепить на шею мышастому жеребчику еще и бубенцы, но воспротивился сам начальник политотдела: он же не пан Обухович, чтобы перезвоном меди предупреждать малосельцев о своем приближении.

Сельские дороги, на первый взгляд, беспорядочно разбежавшиеся вокруг деревни, а на самом деле по очень нужным для малосельцев направлениям, знают Большевика всякого: и добродушного, и до неприличия злого, с носом нормальным и носом красным, как стручок мексиканского перца. Живет партийный вожак в эмтээсовском поселке, рядом с Франеком Живуцким, в чем тоже есть свои выгоды и преимущества. Бывший польский капрал увидит через окно прибытие сановного соседа, выбежит во двор, распряжет коня, затем одно едва живое существо затарабанит под мышки в хату, второе, не менее измученное, измордованное, заведет в хлев, бросит на ночь добрую охапку луговой травы-муравы. И на следующий день Большевику опять облегчение: проснется, а мышастый жеребчик уже в оглоблях и даже ворота распахнуты настежь. Иной раз временный колхозный руководитель добирается домой с оказией — на попутной эмтээсовской машине, и тогда утром за ним приезжает на бричке пучеглазый Есель.

С присвистом, с причмоком поворотливый кучер правит конем, ослабевший после перепоя Большевик молча корчится на холоде, и если что-нибудь сейчас интересует его, так всего лишь одна подробность: как там Вороной, лихо на него, — поправится или будет хромать? Есель молча косится: скоро

сам увидишь. На выезде из лесу и в самом деле открывается околица с овражком посередине, а вдоль овражка, припадая мордами к траве, уже рассыпался по ольшанику спутанный артельный табун. В стороне, ближе к полю, пасется на диком клевере Вороной.

— Видишь, какой гонорливый! — вываливаясь из колымажки недовольно проворчал Большевик. — Без фиги к носу не подходи.

— Не диво, — отозвался весело Есель. — У самого Хомутовича ходил под седлом.

Вороной время от времени отрывается от травы, чмыхает в ноздри, трясет черной гривой, тоскливо глядя вдаль: наверно, все-таки скучает без своего ненаглядного хозяина. В Малом Селе председательский выездной заслужил немало и косых, и сочувственных взглядов: для злопыхателей он — дармоед, нахлебник, для доброжелателей — страдалец, жертва неосторожности. На колхозном поле Есель уже выкосил для скакуна большой кусок клевера, кладовщик Миколай Гиляр каждый день расщедривается на пару гарцев овса. Заметно, что перепадает коню не только жесткая трава на околицах: сытый, откормленный, шерсть на нем блестит и лоснится.

Большевик настороженно подступился к Вороному, сперва почесал за ушами, взлохматил гриву, потом, присев на корточки, пощупал больную ногу. Жеребец не дернулся, не вздрогнул от боли, значит, идет на поправку: если не сможет скакать под седлом, станет в оглобли или будет производителем, что тоже не слишком скучное занятие, поскольку кастрировать Вороного еще не успели.

Поднявшись, Большевик довольно улыбнулся и с удивлением увидел стайку мальчишек со старыми дырявыми корзинами в руках. Он жевал губами, пытаясь что-то сказать, но перехватило дух, отняло язык. Вдруг Вороной откинул в сторону хвост, поднатужился, напрягся и в один момент сделал на траве огромную кучу. Мальчишки с гиком и смехом бросились наперегонки к куче, хватая, отнимая друг у друга горячие конские яблоки. Свежее дерьмо в минуту очутилось в корзинках, на траве осталось только мокрое рыжее пятно. Необычное, непонятное происшествие потребовало незамедлительного объяснения, и Большевик, бестолково моргая глазами, обернулся к Еселю:

— Что это такое?

— Дульки по-нашему. Ну, помет конский.

— Зачем?

— Свиней кормить. Размешают в воде, добавят какого ботвинья огородного и — кормят.

— Так это же противно. Чем такое сало будет пахнуть? — скривился Большевик. — И почему мальцы около Вороного толкутся? Вон вся околица конскими кучами завалена.

— Так те горемычные коники живут на одной траве, — вполне толково разъяснил Есель, — а дармоед этот жрет и овес, и клевер. Значит, и помет от него сытней.

— Свиней надо картошкой кормить. Мукой! Отрубями!

— Может, кто и кормит. А это же дети бедняков, плоть самых-самых бедных.

— Лучше работать надо на колхозных полях, тогда и бедняков не будет, — поучающе произнес длинноногий бамбиза и, уже не глядя на Еселя, двинул с околицы.

Он сел на мягкое кожаное сиденье и едва не впервые заметил, что коротенькая бричка никак не рассчитана на его длинные ноги, упершиеся под деревянной лавкой для кучера в переднюю стенку кузова. Конечно, беда эта

невелика, тем более что длины вожжей хватает, даже слишком. По-молодому весело взбрыкнул в оглоблях мышастый жеребчик, колымажка заколыхалась с боку на бок по ямкам и колдобинам. Затрепетал, зазвенел, как жаворонок, медный колокольчик. Динь-динь — под дугой, динь-динь — над дугой. Дался малосельцам этот голосистый, без меры нахальный и настырный звонок! Он многое успевает обзвонить за день: полевые дороги и сельские проселки, Танцеву кузницу и Гаврилово гумно, деревенские хаты и хуторские усадьбы. Там, на хуторах, где живут зажиточные, медный колокольчик, предусмотрительно спрятанный в густом ольшанике, бывает, подолгу молчит. Наконец, скрипит дверь хаты, гулко хлопает калитка. Динь-динь, динь-динь! Перезвон мелодический, приятный начальническому уху. Но слушать такую музыкальную дугу нравится не одному только Большевику, у которого после хорошего угощения влажно туманятся глаза, а нос-глюга опять напоминает стручок перца.

Куда бы ни ехал, куда бы ни направлялась бричка, по дороге его всегда встретит вечный странник, сельсоветский финагент Лакидон. Что ни день бродит он от деревни к деревне, мыкается от хаты к хате, его ненавидят лютой ненавистью, от него убегают, как от прокаженного, его постоянно поят и угощают самым лучшим, что найдется в кладовке, однако ему никогда не удается в срок собрать налоги, навести хоть какой-нибудь порядок в своих фискальных делах. Где подлизываясь, где хитростью, где просто силой Лакидон отнимает у полешуков их кровные рубли, хотя сам постоянно ходит с голодным блеском в глазах, с пустым желудком и старым обшарпанным портфелем, напакованным страховыми обязательствами, квитками на недоимки, облигациями государственных выигрышных займов. Не беда, что кургузый пиджачок протерся на локтях, к черту стоптались кирзовые сапоги — он, балагур и весельчак, никогда не падал духом, и за этот компанейский характер его очень ценит и уважает Большевик.

— Эй, Лакидон! Прыгай в бричку да выдай какую небылицу! Что-то грустно стало. Врать да языком молоть ты мастер!

— Так я тебе, Терентий Максимович, наплету сто коробов — за бока не удержишься, — довольно осклабился веселый сборщик податей, принимая у Большевика вожжи и кнут. — Н-но, пошел, волчье мясо! — Обернулся к хозяину колымажки, наморщил лоб. — Про что это я хотел? Ага, про Франека Живуцкого. Как женка выкупила Франека у немцев? Рассказать?

— Расскажи, — почему-то нахмурился Большевик. — Живуцкий — мой сосед, хоть посмеюсь когда-нибудь.

— Тогда слушай, Максимович. В первый месяц войны или, может, немного позже на станции в Ганцевичах остановился немецкий эшелон с польскими военнопленными. И стоял там почти сутки.

— Ну, стоял. Дальше что?

— Холера их знает, может, голодные были конвоиры, потому что всем, кто захочет, стали продавать пленных за гусей.

— Ну, начали.

— Услышала женка Живуцкого, что и ее Франек в этом эшелоне, двух гусаков под мышки и — на станцию.

— Ну, прибежала. Ври дальше.

— Не вру я. Ей-богу, чистая правда. Сам Живуцкий подтвердит, — побожился Лакидон. — Словом, нашла она нужный эшелон, увидела в окне своего Франека и — к немецкому офицеру. «Паночек, вон тот в окне — мой муж!» — «Муж? Кто он — рус, поляк?» — спросил офицер. «Рус, паночек, рус». — «За рус — цвай гус», — показал немец два пальца. «О не, паночек!

Поляк он, поляк!» — поняла свою промашку женщина. «Поляк? — презрительно скривился офицер. — Айн гус!» — и приказал солдатам забрать у дурочки обоих гусаков.

— Ну, приказал. Потом что?

— Сам же офицер и полез в вагон. Сперва вытолкнул Франека, затем вытащил за ворот еще одного военнопленного. Говорит: «Забирай, фрау! Цвай гус — цвай поляк».

— Болтай, Лакидон, да меру знай, — даже и не подумал смеяться нахмурившийся Большевик. — Польша теперь дружественная нам страна.

— Терентий Максимович, так не я же продавал польских солдат, а фашисты.

— Все равно, поосторожней. Не успеешь и пикнуть, как в Сибирь загремишь. Тогда, наверно, и гусиной стаи не хватит выкупить болтуна у чекистов.

— А и правда — не хватит, — вздохнул обиженно Лакидон. — Да и кто захочет выкупить такого дурака, как я?

— То-то! Кому нужен никчемный финагент?

В дороге, пускай себе и близкой — из Круговичей в Малое Село, Большевику часто бывает скучно, не с кем ни словом перемолвиться, ни поругаться на крайний случай, а мышастый жеребчик рысит в оглоблях, и нет ему дела до тревог и печалей своего хозяина. Теперь же, после удачной шутки о гусиной стае и чекистах, Большевик заметно повеселел, по-свойски подмигнул Лакидону и без задних мыслей или намеков почесал переносицу. Финагент, однако, понял этот жест как известный и требовательный знак: ослабил вожжи, дал мышастому волю, и на выезде из лесу у темного ельника конь послушно повернул на Горскую. Там, на Горской, обычно меньше шатается людей и там же, в бедняцких хатах не старых еще вдов, финагенту чаще, чем где-либо, перепадает на губу. Хитрый, как змей, в каждой подвластной деревне у него есть свои доносчики и шпионы. Зоркие глаза и чуткие уши есть у него и здесь, на Горской. Шпионы или, точнее, наводчики сегодня, к счастью, дома: сидят на завалинке, переговариваются, но вот вблизи, в кустах, послышался заливистый медный звонок, и малосельские шляхтичи испуганно подхватились на ноги. Еще с той весны, когда милиция устроила им хорошую выволочку, пан Винцусь и пан Бронюсь, кажется, боятся собственной тени, хотя о шляхетском форсе и гоноре не забывают.

Б о л ь ш и й. Пан Бронюсь, глянь, сам Большевик едет.

М е н ь ш и й. Пан Винцусь, а с ним голодный Лакидон.

Б о л ь ш и й. Прятаться надо.

М е н ь ш и й. Поздно, да и зачем? Не теперь, так в четверг все кишки выкрутит.

Если по правде, то выкручивать шляхтичей нет особенных причин — сами перебиваются с хлеба на квас. Это при царе и «за польским часом» они были далеко не последними хозяевами в Малом Селе: имели свои хутора, не одну десятину земли, держали немало живности. Но если человеку хорошо, всегда приходит беда и изо всех сил старается, чтобы человеку стало плохо. Как же не сгореть их хуторам, если по Полесью прокатился огненный смерч войны? Как не остаться без земли, если она нужна загребущему колхозному начальству? Без жен, погибших в лихолетье, без детей, что, повзрослев, разбежались по белу свету, пан Винцусь и пан Бронюсь поселились вдвоем в хатке-развалюхе и уже сколько лет живут в ней тихо-мирно, как родные братья.

Малосельцы заметили, что к старости обнищавшие болотные шляхтичи стали робкими и пугливыми, как серые лесные зайцы. С того време-

ни, как милицианты хорошо посчитали им ребра, самогонный промысел они забросили насовсем, зато, целыми днями шляясь по деревне, точно знают, у кого завелась теплая сивуха, и даже могут сказать, какой она крепости и из чего сделана. Такие точные сведения имеют несомненную стратегическую ценность, и не удивительно, что сельсоветский финагент, заглядывая в Малое Село, первым делом наведывается в старенькую хатку на окраине Горской.

— Шляхетству наш привет! — останавливая жеребчика, еще издалека крикнул Лакидон, а когда те подошли ближе, по-хамски спросил: — И куда ж вы, шаркуны, собрались?

— В Имшечек пойдем лозу драть, — сказал пан Винцусь.

— Надо же какую копейку сбить на хлеб, — уточнил пан Бронюсь.

— Надеюсь, и недоимку за хату будет из чего выплатить?

— Какая хата — одни дырки, ветер свистит.

— За такое гнилье налог грех брать.

— Ладно, подожду. Вы вот, панове, скажите лучше, где тут можно горло промочить? — нахмурился Лакидон.

— У Луцеи Подгайской может быть, у Тодорки Дрозд тоже бывает.

— Пан Винцусь, а у Чиркунихи? Вчера Федора змеевик несла от Мартина Полозка. Сам видел.

— Пан Бронюсь, ошибся ты. Не вчера, а позавчера.

— Оно и лучше. Самогонка готовенькая стоит.

— Чиркуниха для начальства и сала не пожалеет. Вкусное у нее сало — со шкуркой.

— Как это ей удалось?

— Ее кормника весной забил Мартин Полозок. Тайком осмалил в Имшечке, чтоб не лупить шкуру, так со шкуркой и нарезал сала.

— Это непорядок! — законно возмутился финагент. — Свиные шкуры предписано сдавать государству.

— Не кипятись, Лакидон, остынь, — нетерпеливо зашевелился на кожаном сиденье Большевик. — Бери вожжи да поехали.

Застучали по камням колеса, забренчали тяжи, запрыгал под дугой голосистый медный колокольчик. Хаты Луцеи Подгайской и Тодорки Дрозд с маленькими темными окошками и зелеными от мха крышами, стоят неподалеку, впритык одна к другой. Однако, как говорит Степан Олифер, «хай Бог п*а*нам боронуе». Информация захиревших шляхтичей, хотя и не по их вине, на этот раз оказалась неточной и недостаточно стратегической. Дома у Луцеи Подгайской оказалась только беженка Агриппина, женщина суровая и неприступная. Самозваных гостей она даже не пригласила в хату, буркнула с порога, что хозяйка понесла в кузницу к Костусю Танцу зубить серпы, поскольку не сегодня завтра надо начинать жать. Где Луцея, там и Тодорка — это как пить дать, и веселый, болтливый финагент поник головой, опечалился, загрустил не меньше Большевика.

Жатва жатвой, серпы серпами, но есть, наверно, и иная причина, почему в крестьянских дворах не видно ни одной женской души. По дороге, еще в Пчельнике, Лакидона обогнала с пузатой почтальонской сумкой краснощекая Попиха, так что малосельцы уже знали, что нечистый ведет в деревню настырного, крикливого сборщика налогов. Лохматые ведьмы, понятное дело, кинулись кто куда, разбежались в леса, спрятались в конопле, в спелом жите, в густом малиннике за хлевами. Только мышастый жеребчик, может быть, не понимает, что деется в этом дурном мире: цокает да цокает копытами, потряхивает гривой, равнодушно фыркает в ноздри.

— Остановись, Лакидон, — вдруг попросил Большевик. — Вон через поле мать Алексея Хомутовича бежит. — И когда та, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, подошла ближе, сочувственно спросил: — Откуда вы, тетка Алена? С какой такой дороги?

— В Ганцевичах была. Алексея своего проведывала. Франек Живуцкий в Круговичи на эмтээсовской «летучке» завез, а тут напрямки — через лес, около Имшечка.

— И как там мается Алексей?

— А ничего, хорошо мается. Голова зажила, гипс с руки уже сняли, а к осени, говорят доктора, и на ноги станет.

— От холера, надо было бы и самому как-то наведаться в больницу, — повинился Большевик. — Все некогда.

— И правда, надо. Алексей так ждет своих, так ждет!

— Вот в воскресенье и съезжу. Тетка Алена, садитесь, подвезем.

— Не надо, мне тут близенько. Вон за полем моя хатка видна.

— Тогда двигай, Лакидон.

Проселочная дорога подымается все выше и выше, мышастый жеребчик уже не бежит — идет мерным, спокойным шагом. На самом гребне горы немалый кусок земли заняли Копцы, заросшие старым орешником. Здесь Большевик приказал остановиться, вылез из брички и резво пошагал на высокий курган. Лакидон, словно привязанный, потащился следом. Из Копцов хорошо видно Малое Село — побуревшие сады, хаты, хлевы и единственное на все село Гаврилово гумно. На Кругляку, между колхозным двором и Столпищами, ходят широкие волны золотистого, почти созревшего жита. Час, однако, не ранний, солнце ушло уже далеко за полдень. Густым синим маревом подернуты жито, сады, ольшаники в окрестностях, вся необъятная даль за деревней.

— Черт возьми, красиво тут у вас! — проворчал Большевик. — А все равно мне скучно. — И вдруг признался: — Я же строевой офицер. Дак нет, списали из армии, послали в эту дикую глухомань.

— Партия, она знает, что делает.

— Оно так. Только какой из меня вожак, какой я знаток в ваших крестьянских делах?

— Не горюй, Терентий Максимович, — посочувствовал бедняге Лакидон. — Вот заедем к Федоре Чиркун, и на сердце сразу повеселеет. Федора, между прочим, виновата мне целую кучу недоимок.

— Гляди сам. Горькоту, однако, в бутылке не утопишь.

Если бы они знали, что сейчас, как раз в эти минуты, в Федориной хате начинается разборка, свара, неслыханное колотье, так, конечно, повернули бы назад, поехали искать добычи в ином месте. Но в жизни, к сожалению, случается так, а не иначе. Своих непослушных детей час от часу приходится учить уму-разуму — когда ласковым словом, а когда хворостиной, ремнем. Хорошо, если не поздно — не то и само небо не поможет, хоть ты упади на колени и молись дни и ночи напролет. То, что Федора Чиркун услышала в деревенском магазине, куда ходила за спичками и хлебом, было как гром с ясного неба, как молния среди зимы. У Федоры увяли уши, она едва не сомлела, едва устояла на ногах. Не помня себя, выскочила из магазина — подальше от злых и любопытных глаз, как бежала через деревню, как взбиралась на Горскую — тоже запомнила плохо. Вконец опозоренная, униженная, оскорбленная, она бурей влетела в хату, стукнула дверью так, что в окнах забренчали стекла, ходором заходили стены.

— Где ты, цурка? Пришла с работы?

— Дома я, мамочка, дома, — нутром почувствовав беду, спряталась за печь испуганная до смерти Ядзюня.

— Сучка бесхвостая, слышала, что сплетничает по всему Малому Селу широкоротая Полежанка? Будто у тебя пузо уже на нос полезло! Говори: правда или нет, или я тебя искалечу!

— Не знаю. Кажется, правда.

— С кем? Когда? Признавайся, гулена, а я твоего хахаля секачом засеку, ножом зарежу!

— Алексей Хомутович меня взял. В Гавриловом гумне, когда гроза была.

— О Божечка! Час от часу не легче, — просто свалилась, упала на табуретку Федора. — Только не думай, что я тебе шкуру не спущу. Где эта веревка, где прут крепкий?

— Мамочка, не бей — больше не буду! — заголосила, заекотала Ядзюня.

И все же есть на свете высшая воля, божеское предопределение. Повезло неразумной рыжухе, еще как повезло: уцелела нежная кожа, не разбежались наискосок по спине кровавые рубцы и жертвенных слез пролилось меньше, нежели могло после справедливого материнского наказания. В счастливую минуту Федора Чиркун глянула в окно и со страхом увидела, что у замшелых шул, что только и остались от былых ворот, остановилась начальническая колымажка. На фоне шул и незваные гости почудились какими-то деревянными — шест и обрубок. Шест остался в бричке, а обрубок вывалился на траву и, прижимая портфель к боку, покатился в хату. «Недоимки приехал требовать», — подумала Федора и опрометью, охая и проклиная, бросилась навстречу — громко стукнула клямка, скрипнули завесы. Обрубок на крыльце — едва успел отхватить руку, чтоб не ударила дверью.

— Зря ты прикатил, рвач! Нет у меня грошей и не скоро будут!

— Думаешь, я за недоимками? Нет! — отступил в сторону Лакидон. — Видишь, начальник политотдела в бричке? Голова у него болит — так на солнце напекло.

— От же болтун! Ладно, есть у меня капля, — Федора Чиркун метнулась в кладовку, вынесла и, как в прорву, кинула в бездонный карман диагоналевого галифе литровую бутыль, заткнутую куделью. — Подожди. Скоромного отщипну и хлеба дам, а лука ты сам вырви.

— Со шкуркой скоромное?

— Какое сало без шкурки?

— Добро, такое сало и я люблю.

Наглого вымогателя Федора не провожала — стояла на поломанном крыльце и ждала, когда непрошеные гости уедут. Динь-динь под дугой, динь-динь над дугой. У Федоры вдруг екнуло сердце, болью отозвалось в груди. Она узнала эту скрипучую, дребезжащую бричку, в которой по молодости не раз сидела, прислонившись к могучему плечу пана Обуховича. Бричку, конечно, подновили, освежили зеленой краской, но вид у нее прежний и такой же мелодично-грустный медный перезвон под дугой. А еще она вспомнила о щедрости рыжего помещика, о его богатых подарках — цветастых сарафанах, кофтах, платьях, и на глазах измученной женщины выступили слезы, и ей перехотелось наказывать свою Ядзюню. Может, и правду говорят — яблоко от яблони недалеко падает. Пусть будет как будет — как-нибудь утрясется, перемелется, понемногу сгладится и дочкин, и материнский позор. Размышляя так, Федора Чиркун чутко прислушивалась к звукам и шорохам, долетавшим из лесу, и ей еще долго казалось, что у Имшечка, куда завернула бричка, стучат по корням деревьев колеса и отзывается голосистый медный колокольчик.

Примерно за неделю до яблочного Спаса белые аисты начали собираться в стаи, готовясь к отлету в теплые края. Горделивые птицы, оставив свои раскидистые гнезда на коньках крестьянских хат, похоже, изо всех окрестных деревень собрались в Имшечке, и оттуда, из березовой россыпи и лозовых кудрей, целыми днями слышался их печальный прощальный клекот. Когда аисты, и старые, и молодые, кучкуются в глухих малолюдных местах, тут уж нечего спрашивать: осень близко. Спас — лето шасть! Багрянцем умирающей красоты оделась природа — сыпнули желтолистьем березки, первая прозолоть загорелась на кленах, на опушках лесов выступили опечаленные статные рябинки, опахнутые, как цыганки, густыми плахтами ярко-красных гроздей.

Перед Спасом по ночам часто и гулко падали на землю перезревшие малиновки, и в праздник старые люди впервые в этом году попробовали пахучих, будто медом налитых, яблок и сочных груш-спасовок, накануне, поутру, освятив их в Круговицкой церкви. После такого божественного угощения, или, точнее, божественного причащения, многим полешукам, которые непоколебимо и жертвенно стоят на страже народных поверий, наверно, вспомнилась давняя дедовская поговорка: «Старый Спас — сивенький дедок, на осень садил, жито молотил». И то правда: длинная, на несколько пролетов, колхозная рига едва не до стропил забита толстыми снопами молодого жита, его дурманящий аромат вьется из Гаврилова гумна вольно и легко, и, избыв свою августовскую заботу, облегченно дышит усталая полесская земля.

Этим летом небо по-доброму помогало колхозникам: жара, суховеи не высушили вконец песчаную почву, дожди не сгноили тучный колос, непогодь не слишком мешала горячей жатве. Малому Селу, возможно, повезло еще и потому, что Большевик в дела хлеборобов особенно не вмешивался — у него болела голова разве что за политотдельскую газету да за красные флажки на радиаторах тракторов. Он не мог дождаться, когда снова начнет руководить хозяйством законный малосельский председатель Алексей Хомутович. В конце августа его и в самом деле выписали из больницы, но узкий, как пенал, председательский кабинет больше не увидел своего былого хозяина. Несколько дней Алексей Хомутович провел дома, изредка, сильно прихрамывая, топал по двору, а вскоре уехал на учебу в партийно-советскую школу не то в Витебск, не то в Могилев, куда его отправило районное начальство, надеясь, видно, что, подучившись, молодой ветрогон не будет так нелепо падать с коня.

Замена Большевику нашлась здесь же, в Ганцевичах. Председателем колхоза в Малое Село примчался инструктор райкома партии Глеб, фигура колоритная и приметная уже только своим сталинским костюмом. Человек среднего возраста, он ходил в крепких яловых сапогах, диагоналевых бриджах и зеленом френче с накладными карманами, напялив на лысую голову белый полотняный картуз. Из всего небогатого наследства, оставшегося от прежних руководителей, Глебу больше всего понравилась рессорная бричка, но, поездив день-два, приказал Еселю снять с дуги медный колокольчик, потому что и сам владел на удивление зычным и басовитым, как у крупной дворняги, голосом.

— Слышишь, Луцея, как лысый Глеб забрехал? Эхо на всю деревню.

— И чего ты, Тодорка, волнуешься? Пускай брешет, абы не кусался.

Уже давно Малое Село равнодушно, без всякого интереса и лишних слов воспринимает всякие, даже приятные, перемены в своей жизни. Перестал мозолить глаза длинноногий Большевик, то и хорошо. Поехал из деревни Алексей Хомутович — скатертью ему дорога. Прислал Бог этого лысого крикливого приставалу — как-нибудь переживем. Но порой и здесь, в полесской

глубинке, происходили события, которые заслоняли собой все другие, даже не менее важные и злободневные, но все же без ярких примет международного скандала. За неделю перед Покровами нежданно-негаданно к Степану Олиферу приехала из Польши дочь Стефа, правда, одна — без своего Язепа и детей. Ого! Малое Село несколько дней только и говорило о том, какие богатые подарки вольная полячка привезла своим родным и близким.

Немного загордившаяся от жизни за границей Стефа подарила батьке хорошую каплю польского спиритуса, и Степан Олифер подивился не столько крепкому напитку — хоть блох трави, сколько мудреной бутылке с эластичной резиновой пробкой, прикрепленой к рыльцу проволочной пружинкой-скобой. Старый чудак раз за разом щелкал пробкой, показывал чудесную вещь соседям, а позже по-хозяйски приспособил невиданную посудину под обычную самогонку. Стефина мать в тот же вечер, когда встретила желанную и далекую гостью, надела новое платье, обернулась цветастой кашемировкой, на ноги насунула какие-то заграничные фасонистые топтуны, и все, не узнать уже бедную Марку — невеста да и только. Одна Попиха, по слухам, осталась недовольна сестринскими подарками: во-первых, мало, во-вторых, саржевая кофта, как заметила утром, оказалась поношенной, стираной-перестираной. Умная Альжбета, однако, губы не надула, потому что, как известно, дареному коню в зубы не смотрят, да и отблагодарить Стефе нечем — в хате пусто и голо, как летом в колхозном амбаре.

Глаза у Попихи загорелись, если сказать правду, разве что на большой заграничный чемодан с блестящим замочком, который сестра предусмотрительно запихнула под деревянную кровать. Оказывается, даже поездку к родителям Стефа повернула в свою пользу. Хотя и ее, беднягу, надо было бы пожалеть: руки, наверно, поотрывала от Зеленой Гуры, где живет, таща на себе столько груза. Но уже назавтра, когда заграничная гостья выспалась и хорошо отдохнула, в хате Степана Олифера началась бойкая торговля. Первыми, конечно, прибежали ближайшие соседки, с не абы каким гонором Стефа вжикнула перед ними блестящим замочком-молнией, и соседки ахнули от удивления. Ах, Боже ты мой! Какой только материи нет в этом чемодане: ситец, сатин, штапель, шелк, саржа, крепдешин! Все не наше, сразу видно: текстиль в пальцах словно льется, а краски, а цвета, а узоры! Те же розы, те же васильки, ну просто живые — будто только что с поля, с солнца, с росы. Тут уж, бабонька, не стой крюком, доставай свои кровные рубли, а ты, Стефка, пожалуйста, отрежь три метра саржи, да не торопись — ровненько, ровненько режь!

Кто первый, тот и пан: ему и розы, и васильки, и иные красивые пустоцветы. Но и поздним птичкам — с Горской, с хуторов — тоже кое-что перепало: кому штапеля, кому ситца. Только глубоким вечером стало тихо в Олиферовой хате, перестали стучать двери. Стефа, раскрасневшаяся от удачного торга, налила в бадью теплой воды, заварила щелок, чтобы взяться за стирку, сама же присела у окна, на светлое место, и стала срезать пуговицы с грязных кофточек и платьев. Степан Олифер глядел, глядел на дочь, чмыхал в ноздри, разъяренно пыхал трубкой, и, как говорят, в тот вечер между ними, как между чужеземцами, состоялся почти дипломатический разговор.

О т е ц д о ч е р и. Стефка, а на холеру ты гузики срезаешь? Ниток не наберешься заново пришивать.

Д о ч ь о т ц у. Ойцец, то ж гузики из бумаги, размокнут в воде. Они только сверху краской покрашены. А нитки и иголку я взяла с собой.

О т е ц д о ч е р и. О, Езус Мария! Видишь, гузики из бумаги! У нас и то костяные. Что, дочушка, может, в вашей Польской не сладко живется?

Д о ч ь о т ц у. Ойцец, пшыедь — сам побачишь. Мы с Язепом актар своей земли маем. Есть у нас и шинка, и менца, и кэлбаса суха. Едим от пуза с горчицей. Тут, коли помнишь, я батрачкой была, а там я — пани. Я пани, и Язеп мой — пан.

О т е ц с а м с е б е. Хай Бог п*а*нам баранує. — И еще тише: — Хоть бы на спробу привезла этой горчицы.

Легко вообразить, как весело и празднично будет выглядеть Малое Село, когда следующим летом женщины или их дочки-невесты оденутся в наряды из замечательных польских тканей. Хорошие куски на обновки успели ухватить и Тодорка Дрозд, и Луцея Подгайская, одна только Федора Чиркун не осмелилась пойти в хату к Степану Олиферу, хотя и у нее имелся какой-то рублик на хороший кусок штапеля или крепдешина. Сдержал страх: еще подумают сплетницы, что пришла расспрашивать про пана Обуховича. А если подумать серьезно, то зачем он, рыжий, старой, слабой, изработавшейся женщине, а что было — то сплыло, быльем поросло, в яр закатилось.

И все же они встретились, Федора и Стефа, встретились лицом к лицу у входа в церковные ворота, на Покрова. Люди пришли в церковь из всех окрестных деревень, и, когда закончилось богослужение, Федора Чиркун едва протолкалась из плотной толпы. Здесь, у ворот, и почувствовала на себе чей-то проницательный, любопытный взгляд. Подняла глаза: Попиха! Полная, покрасневшая от холодного ветра. Однако Попиха высокая, толстая, а эта, с проницательным взглядом, меньше ростом и одета совсем не по-нашенски: меховое полупальто, вязаная шерстяная кашемировка, кожаные желтые сапожки. Ну конечно, Стефа Неверовская — сталинская ссыльная, польская гражданка, удачливая торговка. Бросились навстречу друг другу, обнялись, поцеловались. Не гора с горою — человек с человеком.

— Это ты, Стефка?

— Да, это я.

— Как здоровье, пани?

— Дзенькую, добже.

— У пани большая семья?

— Я, муж, два сына и една цурка, — оживилась, утирая слезы, Стефа Неверовская.

— У меня тоже една цурка, — вздохнула, всхлипывая, и Федора Чиркун.

После столь долгой и страшной разлуки две подруги, наконец, встретились, и кажется, не знают, о чем говорить. Возможно, они и не понимают друг друга — все-таки два разных государства, два разных уклада жизни. Стефа, похоже, начисто забыла родную речь, матчину мову, а Федора смогла вспомнить не больше трех десятков польских слов, с чем в пристойный разговор не вступишь. За церковью женщины шлепали по грязному заулку молча, погруженные в невеселые думы. Справа забор и слева забор, справа, за забором, вишневый сад, спортплощадка, здание средней школы, слева — серый луг с гнилым ручьем, который где-то там, за лесом, впадает в Кудаху. Перед лугом вырвался на пространство темный гривастый ольшаник, а в просветах между деревьями вдруг показалась матовая, словно оловянная, гладь Обуховичева пруда.

Впрочем, ясно, почему молчат Стефа и Федора. За прудом панское имение, маёнтак, где прошло их девичество, где пролетели лучшие молодые годы, и сегодня, наверно, каждой есть что вспомнить — пускай хорошее, пускай печальное. На жилом доме помещика, что стоит в окружении приземистых толстых берез и дуплистых вязов, густых зарослей сирени и акации, заметны приметы запустения, признаки старости — влез в землю и стал ниже, начал

загнивать, круглые бревна стен затянулись сухим зеленоватым лишайником. Как ни странно, уцелел, стоит там, где и стоял, панский флигель, молитвенная, сарай, хлевы, — оттуда долетает непрестанный грохот железа, гул дизеля, лопотание тракторных двигателей.

— Стефа, а вон твоя бывшая хатка, — показала на флигель Федора Чиркун. — Теперь там директор эмтээса Федотов со своей хеврой отаборился. Но я все помню: и тебя, голубка, и Язепа твоего. Помню, как вас и семью Обуховича солдаты забирали. Зима, метель, мороз. Не помню только, кому я свою теплую свитку на сани бросила — тебе или пани Терезе.

— Болит у меня голова, — как простонала Стефа Неверовская. — От холода, наверно.

— Понятно, что болит. Только не от холода. Вспомнила ты, голубка, тот лихой день, вот и пошла голова кругом, — посочувствовала Федора и вдруг спохватилась: — Что ж это я болтаю? Давай-ка лучше в магазин заглянем. Может, купим какую-нибудь трасцу.

— Где этот магазин?

— Да вон же. В пристройке, где когда-то панская челядь жила.

За последнее время в эмтээсовском магазине мало что изменилось: тот же деревянный, в хлебных крошках, прилавок, те же облупленные счеты, те же по-птичьи клювастые весы с целым выводком больших, малых и самых маленьких гирь. Товаров тоже не стало больше. На полках лежат запылившиеся свертки бязи, годами ржавеют никому не нужные скобяные изделия — вилы, мотыги, замки, ножи, печные причиндалы, один на другом громоздятся ящики с макаронами, печеньем, халвой. Отдельно, ближе к прилавку, стоит ситро; лавровым листом, перцем и морем остро пахнет традиционная для деревенских магазинов того времени большая селедочная бочка. Не поменялась и продавщица — та же нахальная, сытая и раскормленная, с хитрющими глазами и обвисшим, как торба, пузом. В магазине пусто, ни души, наверно, потому, что день сегодня не хлебный и, ожидая хоть какого-нибудь лядащего покупателя, Лизавета Каэтановна, кажется, даже вздремнула, пристроившись на скамеечке у окна. Ее разбудил стук клямки, скрип двери, и она моментально оказалась у прилавка, спросонья не понимая, чего хотят от нее эти две болотные цитры с красными от холода носами и, надо думать, тощими кошельками. Но велико было удивление и возмущение продавщицы, когда она своими ушами услышала вопрос, какого уже давно не слышала от своих, даже самых настырных и нахальных, покупателей.

— Прошэ чтэры бохэнки цемнэго хлеба, — не зная местных порядков, попросила Стефа Неверовская.

— Какой хлеб? Нет хлеба. Ни цямнэго, ни бялэго, — взвилась едва не до потолка Лизавета Каэтановна.

— Прошэ шэсьць булэчэк.

— Нету булочек. Своим раз в год привожу, — налилась краской продавщица.

— Прошэ пенць штук вэнджоных сьледзи.

— Сьледзи есть, но не копченые. В бочке с рассолом.

— Пеньць штук.

На лице Лизаветы Каэтановны презрение, ненависть, гнев: это же надо — хлеба попросила! Чтоб тебе, цитра болотная, повылазило, если ослепла, если не видишь, что хлеба *ниц нема,* чтоб у тебя, овца приблудная, язык отсох, как ты посмела про булочки спрашивать. Нет булочек, а привезу, все равно не дам. Селедки — вот это бери, хоть всю бочку. Насупив черные брови, продавщица покопалась в пузатой бочке, взвесила *пенць штук*, завернула

в толстую бумагу, назвала цену. Из тайных глубин мехового полупальто Стефа Неверовская вытащила кошелек, и от удивления глаза у Лизаветы Каэтановны полезли на лоб, презрение, ненависть, гнев исчезли тотчас. Таких больших, разбухших кошельков она давным-давно не видела в руках местных бедняков. И все же, сохраняя достоинство, магазинщица без слов пересчитала деньги, сдачу деликатно положила на прилавок.

— Чи поличила пани пенёндзэ добже? — спросила Стефа Неверовская.

— Хорошо, хорошо поличила!

— Прошэ поличить еще раз.

— Да не ошиблась я! Пять рублей сорок копеек.

— Згадза се.

— Интересно! — опять налилась гневом Лизавета Каэтановна, и две молнии из ее глаз, казалось, навылет пронзили надоедливых покупательниц. — Одна сучка обозвала «блядной», а эта вообще — гадиной.

— Не говори, Лизка, дурное, — вмешалась в ссору Федора Чиркун, стоявшая до сих пор молча. — Стефа сказала: *правильно*. Правильно ты, Лизка, посчитала.

— Ишь ты, иностранка нашлась! А разве то не дочка Степана Олифера, что целыми днями по эмтээсе крутится? Слышно было — из Польши явилась.

— Ну, она — Степанова дочка.

— Видишь, какая пани! Не успела пшикнуть в этой Польше, а уже родную мову забыла. Прошэ хлеба цямнэго, прошэ сьледзи вэнджоных! — пошла в наступление разозленная магазинщица. — А ну, полька, вспомни хоть одно наше слово! Ну, похвали меня, обругай!

— За что ж тебя хвалить, ступа? — неожиданно даже для Федоры Чиркун произнесла на чисто белорусском Стефа Неверовская и, уже отходя к двери, запустила, словно горохом: — Сорок скул тебе на толстую задницу! Пускай лопнет твое брюхо! Гром с молнией в твой магазин!

Вконец опозоренная и оскорбленная, раскрыв от удивления рот, Лизавета Каэтановна уронила свое необъятное чрево на прилавок, а Федора и Стефа наперегонки кинулись к выходу, поскольку обе одновременно и резонно подумали, что окаменевшая продавщица вот-вот оживет, схватит с прилавка килограммовую гирю и запустит вдогонку. Но именно она, рассытевшая круговицкая Юнона, не догадываясь об этом, возвратила горделивую чужестранку из одного государства в другое, опустила с неба на землю, причем, на землю родную, родительскую, где тотчас должны были вспомниться и чудесная полешуцкая песня, и нежная материнская колыбельная.

Наверно, это был нервный стресс, необычное нервное возбуждение, потому что как только Стефа Неверовская по-настоящему искренне выговорила первые белорусские слова, у нее тут же пропала обида на свою искалеченную судьбу, на сталинские порядки, хотя бы на некоторое время забылась лютая зима сорокового года и нищенская, голодная жизнь в казахстанской ссылке. Она потому и разговаривала по-польски, что подсознательно ненавидела большевистское Полесье, так несправедливо обошедшееся с ее семьей. Теперь к Стефе постепенно, незаметно возвращалась любовь к землякам, и Федора Чиркун, пыхтя рядом, радовалась такому неожиданному божьему чуду. Пока они бежали мимо эмтээсовской усадьбы, вынужденная путешественница и великая мученица еще путала белорусские и польские слова, а когда добрались до Пчельника, под голые кроны вековых дубов, все чужеземное начисто выветрилось из ее памяти — осталось свое, родное, кровное.

— А хорошо я выдала ей, — рассмеялась Стефа Неверовская.

— Ага, хорошо сказанула, — отозвалась в тон подруге Федора Чиркун.

— Аж челюсть у паскудницы отвалилась.

— Ага, обвисла.

— У нас, в Зеленой Гуре, и то такой важной барыни не увидишь.

— Ага, не увидишь, — охотно подтвердила Федора Чиркун, хотя за всю свою жизнь дальше Ганцевичей нигде не бывала. — Однако скажи, голубка, как ты в Зеленой Гуре оказалась?

— Мой Язеп чистокровный поляк, — вздохнула Стефа Неверовская. — Очень обиделся он на Советы, что раскулачили его, богатея в латаных штанах. Ну, был панским объездчиком. Был, но вреда никому не делал... Там, у тех раскосых людей, корочки хлеба собирали, конские мослы варили. После войны, как только стало возможно, мы и выехали в Польшу.

— И пан Обухович?

— И пан Обухович. С дочкой Малгоськой. Пани Тереза еще в Казахстане от голода умерла.

— Как он там живет?

— Один живет. Молгоська его уже где-то в Варшаве учится. Обухович к нам в гости часто заходит.

На стылом порывистом ветру разговаривать было трудно — пересыхали, запекались губы, и дальше женщины топали молча. Холодный покровский ветер дует, кажется, с севера, и это значит, что зима грядет суровая, снежная и морозная. За дубовой грядой, как только начался густой смешанный лес, стало немного тише, но уже не было охоты что-либо вспоминать. Хотелось тишины, тепла. Смешанный лес — сосонник, ельник, березнячок — тянется вообще-то недолго, несколько минут быстрой ходьбы, и лесная дорога выбегает на сельский простор, раздваивается поворonткой на Горскую. Здесь надо прощаться — Федорина хата, наверно, скучает без своей хозяйки, а хата Степана Олифера, конечно же, грустит по долгожданной чужестранной гостье. Подруги остановились, чтобы сказать очень нужные, искренние и нежные слова. Но что сказать? Ни Федора Чиркун, ни Стефа Неверовская об этом не задумывались: добрые, сердечные слова созрели давно, они есть, они сами просятся с языка. Пускай уж до позднего вечера погрустит хата Степана Олифера, зато в Федориной хате до вечера будет вдвое веселей.

— Стефка, пошли ко мне в гости. Хоть полешуцких вкусностей попробуешь. У нас даже заведено так: на Покрова свояков и близких забирают из церкви к себе в хату. Помнишь?

— Помню, почему же не помнить?

— Я петуха большого зажарила. Не думай, что дохлый певень был. Хорошо курочек топтал, не какой-нибудь каплун.

— Я и не думаю, пойдем, Федора, к тебе. Как раз при мне и презент пана Обуховича твоей дочушке.

— Какой презент?

— Свадебное золотое колечко.

— О Боже!

— Я хитрая! Спрятала колечко в такое место, что и на таможне не догадались.

— Ага, ты хитрая, — вздохнула Федора Чиркун. — Но зачем свадебное кольцо моей Ядзюне?

— Как — зачем? — удивилась Стефа Неверовская. — Будет выходить замуж — как найдешь.

— Уже вышла. В положении она, дитя ждет.

— Соблазнил какой-то проходимец?

— Алену Хомутович знаешь? Так это ее сынок, Алексей. Колхозным председателем был в Малом Селе. Испортил девку, а сам куда-то на учебу сбежал.

— Колечко, однако, возьми. А вдруг пригодится.

— Так и быть, возьму. От подарка грех отказываться.

Гостевание удалось на редкость: под чарочку хорошо пошел и петух, и кислый огурчик с разваристой картошкой, и жирная селедка, щедро пожертвованная Стефой Неверовской на праздничный покровский ужин. Вот только грустно было в Федориной хате. Располневшая, с предродовыми пятнами на лице, Ядзюня только показалась в двери, поздоровалась и надолго спряталась в светлице. О золотом колечке она ничего не знала, потому что Федора Чиркун завернула Обуховичев подарок в бумагу и спрятала под балкой — пусть полежит в затишке до лучших времен. Пришли Покрова, но девке голову венцом не покрыли. Плачет порой Ядзюня, ходит с красными глазами, не надо ей знать о свадебном колечке, еще сильнее расстроится, бедная, еще больше разбередит душу и сердце.

Поздно вечером, когда землю укрыл осенний сумрак, хозяйка провела гостью едва не до самой хаты Степана Олифера, на прощанье пожелав давней подруге крепкого здоровья и счастливой дороги. Стефа Неверовская поехала за Буг, в Зеленую Гуру, а Федора Чиркун еще несколько дней провожала ее: выходила в Копцы, долго стояла в ольшанике, среди древних курганов, печально вглядывалась вдаль. После Покровов почти постоянно дули холодные сибирские ветры, и близкая зима пугала женщину не только метелями и морозами, но и неизвестностью.

Часть четвертая

1

На краю поля, как раз между лесом и Копцами, в сырой, еще не вполне просохшей земле свежо чернеют глубокие конские следы. Кто здесь проскакал галопом, можно только догадываться. Старики, возможно, сказали бы, что на рассвете, осматривая весеннюю ниву, по полям на белом коне носился сельский опекун, бог солнца и урожая Ярила, парень чрезвычайно серьезный и очень красивый. Но если смотреть на вещи более реально и рассудительно, то загадочным всадником мог оказаться и кто-то из местных лоботрясов, к примеру, Алексей Хомутович. Ходят слухи, что он уже несколько дней живет у родной матери, нигде не показывается, а на рассвете, когда люди еще спят, выводит из колхозной конюшни коня и по былой председательской привычке совершает верхом несколько кругов вокруг Малого Села.

Конские следы вблизи своей хаты Федора Чиркун заметила, возвращаясь из Имшечка, где рвала поросятам лопушистый бобовник. Кто-кто, а она убеждена: конь под всадником был вовсе не белой масти. Как раз на рассвете в колыске зашевелилось, заплакало дитя, и Федора, жалея измученную Ядзюню, вскочила с кровати, на бегу отвела занавеску, взглянула в окно и успела выхватить в утреннем тумане стремительный полет развевающейся черной гривы. Тут и думать нечего — Вороной! На сытных харчах за зиму председательский выездной, говорят, окончательно поправился, от хромоты не осталось и следа, и будто бы на статного, красивого жеребца уже положил глаз лысый Глеб. Но до чего же, люди, суровая и голодная выдалась зима — с постоянными метелями, окаянными морозами! В Столпищах, куда из кол-

хозной фермы опять таскали падаль, еще и теперь, весной, по ночам жутко воют сытые, откормленные, очумевшие от счастья волки.

Малое Село испокон веков славилось тем, что все слухи — и придуманные шутниками ради забавы, и правдивые, скоро подтверждались — если не в первый, то на другой день. Любопытные, вопросительные глаза соседок вынудили Алену Хомутович признаться: да, женщины, дома он, мой Алексейка, а что на людях не показывается, то забота у него большая. Вчера теленка зарезал, сегодня самогонку гонит — видите, дымок вьется над крышей? Кто его знает, может, и подсвинка придется пустить под нож, хотя только и слово — подсвинок, изголодался за зиму, шкура да кости.

На своем дворе Алена Хомутович порхает то радостная, то печальная: это же не шуточки — свадьба на носу! Стыдно, если станут люди обговаривать: бедная Алена, до того бедная, что даже сыну приличную свадьбу не справила, поскольку никто не объелся в ее хате, никто пьяный покатом не валялся. Тут ведь один Федотов, эта, извините, свиная ряшка, вольет в свое брюхо четверть горелки да годовалого теленка оприходует. А Большевик с лысым Глебом, а Лакидон с Франеком Живуцким — начисто, холерники, опустошат столы, и еще мало им покажется. Обжоры, объедалы бессовестные, а все же приятно, почетно хозяйке: не просто гости соберутся — интеллигентные, грамотные, все из коммунистов да большевиков. Может, поэтому Алена ни словом не возразила сыну, когда свою свадьбу, чтоб угодить местному начальству, он назначил на первомайские праздники. Не признает молодой ни Пасхи, ни Троицы, так пусть уж будет как хочет, прости Боже его, грешника.

Любопытные соседки, услышав Аленину исповедь, мигом разлетелись по Малому Селу — вот новость так новость! Алексей Хомутович поумнел, собрался жениться. И не беда, что, заскучав в своем партийном училище по Вороному, однажды он вывел окрепшего жеребца из конюшни и на рассвете галопом проскакал по окрестностям Малого Села. Теперь, пожалуй, не проскачет: ветрогона самого как пить дать взнуздает молодая и посему норовистая женушка. Сколько дней подряд ближние соседки докучали Алене Хомутович толковыми и бестолковыми советами, набиваясь в помощницы к горячей, полыхающей печи. Однако умная и прозорливая хозяйка не захотела иметь с ними дела, поскольку ни дрожащего телячьего студня, ни подрумяненных свиных котлет, ни самого рядового, простецкого винегрета гости не попробуют, если у голодноватых помощниц такие огромные, разбитые бульбой желудки. Советы и поучения тоже не приняла — сама с головой.

По давнему, возможно, еще дедовскому, обычаю накануне свадьбы маломельцы разделились на два лагеря: одни за что-то хвалили и возвеличивали жениха, другие кляли и позорили его за то же самое. Оба непримиримых лагеря нашли согласие лишь в том, что время для своего законного брака Алексей Хомутович выбрал очень удачное. После апрельских дождей, что шли без гроз, но обильно и часто, наконец установилась теплая, солнечная погода. За какие-то сутки подсохли дороги, зазеленел рыжий ольшаник, клейкими листьями обсыпались березы, ароматным бело-розовым цветом вот-вот вспыхнут яблони, груши, сливы. Как раз в такие теплые и солнечные майские дни на Западном Полесье испокон века зацветают сады.

Календари, разумеется, не врут: если май, то май, если праздник, то праздник, и в этом еще раз Федора убедилась, заметив на тропинке возле своей хаты шуструю стайку школьников-малолеток, которые из сосняка вокруг Имшечка несли по охапке пышной вьющейся дерезы. Зеленой дерезой по новой традиции дети украсят самый большой школьный класс и вечером покажут родителям праздничный концерт: споют песенки, расскажут стихо-

творения, разыграют смешную пьеску про американских шпионов или колхозных воров. В полдень, когда Ядзюня угомонила крикливое дитя и, измученная бессонными ночами, задремала у колыски, Федора сбегала в магазин Володи Белого, купила фунт кускового сахара и пару селедок для дочери — кормит грудью, нужно хорошее подкрепление, себе же выпросила даром у магазинщика бутылку густого рассола из почти пустой уже бочки-селедочницы: развести водой — ого, как пойдет с горячей картошкой, словом, напихала нищенскими покупками холщовую торбочку и только теперь, возвращаясь домой, в облике Малого Села заметила приподнятое праздничное настроение.

Над правлением колхоза, на углу начальной школы и даже на сельском магазине трепетали на свежем ветру красные флаги. Кроме того, еще направляясь в магазин, на школе она прочитала по слогам знакомый революционный лозунг: «Да здравствует 34-я годовщина Великого Октября!» Теперь же на том самом месте под гонтовой крышей висел уже иной злободневный лозунг: «Да здравствует Первое мая!», фиолетовой краской написанный на длинном, словно обоина, листе. Федора постояла, дивясь мгновенным переменам большевистских праздников, однако ничего не поняла, хотя объяснялся такой конфуз очень просто. Учителя, не имея в запасе толстой и крепкой бумаги, пригодной для лозунгов, один и тот же лист использовали несколько раз: с левой стороны писали весенний, первомайский лозунг, с правой — осенний, октябрьский, при необходимости на нем изменялась только одна цифра. Малограмотные, далекие от политики балбесы-переростки, которым директор приказал повесить первомайский лозунг, перепутали праздники, и прошлогодний революционный призыв красовался на школе почти полдня, пока какой-то деревенский грамотей не заметил бессмыслицу.

Потом говорили, что всю следующую ночь начальная школа тряслась в ожидании неминуемой сталинской кары, однако обошлось без жертв, районное энкавэдэ в деревню не заявилось, поскольку Малое Село перестало бы себя уважать, если бы в нем кишмя кишели, как вьюны в грязной канаве, доносчики и провокаторы. Счастливой судьбе местного учительства, возможно, способствовало и то, что малосельцы жили ожиданием завтрашней свадьбы и очень многих дармовая чарка и шкварка интересовали куда больше, чем серьезный педагогический просчет в политическом воспитании тупоголовых послевоенных переростков.

Федора Чиркун, теперь вынужденная домоседка, еще из давнего Ядзюниного рассказа догадывалась, кого берет в жены этот блудодей и обманщик, а ближние соседки Алены Хомутович едва ли не в самые последние дни спохватились: в конце концов, кто же она, та не наша царевна, из-за которой ходором заходило Малое Село? Может, и не достойна она такого всеобщего внимания, может, хватило бы для нее на угощение и одного теленка, а то ведь слышно было, как накануне в соседском хлевчике на рассвете немо взвизгнул и тотчас затих лычастый подсвинок. Теперь в просторной печи многое варится, парится, жарится, и поварихи, приглашенные из самых доверенных родичей, не успевают выносить готовые блюда в холодную истопку. Так кто же, в конце концов, она, та изнеженная царевна, та, извините, горбатая болотная жаба? Кто как думает про Аленину невестку, а сама Алена сперва отмалчивалась, отнекивалась, но в конце концов поняла, что шила в мешке не утаишь, и выдохнула горделиво: «Ганцовчанка она. Из дохтаров!»

Ну, конечно же, Ядзюня как в воду глядела, потому что во время своего визита в районную больницу хорошо запомнила настороженный взгляд и ехидные вопросы чернявой медсестры, ее частые заглядывания в седьмую палату, где лежал искалеченный Алексей Хомутович. Видишь ты, снюхались,

слюбились, хотя, что тут говорить — красивая будет пара. На удивление, у Ядзюни нет ни зависти, ни злости — осталась только обида. Сама виновата: доверилась проходимцу, крутелю, к тому же, много старше ее. Нет злости, нет зависти, но где-то в уголках души уже поднимается, шевелится, колется, как заноза, молодая девичья ревность. Ядзюне это чувство еще малознакомое, оно пугает, тревожит, Ядзюне нужны теперь как никогда сочувствие, ласка, мудрый совет, и несчастная, покачивая колыску сына, раз за разом поглядывает в окно — вот-вот от соседок должна возвратиться мать.

На дворе начинает вечереть, солнце все ниже и ниже склоняется над Малым Селом, а здесь, на Горской, в хате Луцеи Подгайской, никак не закончится большой женский совет. Нахмурившаяся хозяйка сидит в красном углу за столом, рядом у окна на широкой деревянной лавке молчаливо горбятся Тодорка Дрозд и Федора Чиркун, а немного в стороне, приткнувшись на низкой кровати, сосредоточенно чешет переносицу беженка Агриппина. Думают женщины, морщат лбы, тяжко вздыхают от бессилия. Хоть лопни, хоть тресни, хоть кровь из носа — надо разладить завтрашнюю свадьбу. И способов сделать это довольно много, вот только не все они гуманные, человечные.

Предложение Луцеи Подгайской было конкретным, но слишком суровым — перебить молодой ноги дубовой долбешкой. Решение Тодорки Дрозд оказалось еще более жестоким: выжечь жениху глаза кислотой. Мысли же Федоры Чиркун, как личности потерпевшей, были даже с определенными признаками гуманности: поймать ночью шкурника, повалить на землю, защемить его паскудство в зажимы и кастрировать, как вонючего хряка. Высокий совет полностью одобряет и поддерживает Федору Чиркун, высокий совет ценит мудрость обездоленной подруги и соседки, но вот незадача: кто осуществит акт кровной мести, эту законную акцию справедливой божеской расплаты? В поисках исполнителя милостивого приговора насупилась Луцея, глубоко задумалась Тодорка, трет пальцами густые брови Федора, и вдруг их блуждающие взгляды останавливаются на беженке Агриппине. А что? Баба она здоровая, широкая и мощная в кости, сильная, как лошадь.

— Не хочу и не буду! Это же самосуд, это же тюрьма, это черт знает что! — догадавшись, о чем почти одновременно подумали три старые заговорщицы, вскочила с кровати встревоженная, испуганная Агриппина. — Я вам не витинар, я и крови боюсь. И как, скажите, такое паскудство в руки взять?

— Так и возьмешь. Или не брала никогда? — усмехнулась Тодорка Дрозд. — А гидишься — рукавицы дадим. И нож.

— Не надо рукавиц! Не надо нож! У нас, на Брянщине, свадьбы наговорами расстраивали. Чарами и наговорами.

— Какого же лиха, женщина, ты молчала? — едва не рассердилась Федора Чиркун. — Мы сидим тут, головы мучаем, а ей все равно.

— Так не молчи, говори скорей, что это за чары? — с укором сказала Луцея Подгайская. — Сколько лет живешь у меня, а ни разу не призналась про свое чародейство.

— Нужды не было. И все, милая, так просто. Пускай кто-то из вас возьмет по клочку волос с головы старого вдовца, у немолодой вдовы да еще у бабы гулящей. Пускай оторвет тряпочку от платья бабы бездетной, завернет волосы в тряпочку эту, потом отнесет к болоту и бросит в трясину на всю ночь. Утром, еще до солнца, узелок этот нужно забрать, а как начнется свадьба, пускай кто-то из вас кинет этот узелок под ноги молодой и скажет: «Тебе замужем не бывать, тебе деток не рожать». Вот и все чары. Быть не может, чтобы не испортилась свадьба.

— И правда, это же так просто, — удивилась Луцея.

— И что, удаются такие чары? — засомневалась Тодорка.

— Ну что вы. Еще до войны у себя, на Брянщине, я таким наговором, может, свадеб десять расстроила, — засмеялась гордо Агриппина.

— Твои бы слова да Богу в уши, — вздохнула Федора.

Удивительную силу имеют иной раз обычные сухие числа. Не одно, а целых десять свадеб, которые беженка Агриппина когда-то расстроила где-то там, на далекой Брянщине, окончательно убедили старых заговорщиц, что их кровавые и бесчеловечные способы мести абсолютно ничего не стоят перед людской мудростью, перед могучим чародейством. Не нужны, оказывается, ни дубовая долбешка, ни кислота, ни зажимы с острым ножом, и поскольку с такими легкими чарами совладать может даже дитя, исполнить приговор взялась сама Федора Чиркун. Ей повезло: половина вещей, необходимых для чародейства, нашлась тут же, в соседской хате. Без всякого сожаления ладный кусок от своего поношенного платья отхватила бездетная Луцея, клок русых волос со своей головы безжалостно вырвала беженка Агриппина. Но хлопот осталось почти столько, сколько и прежде: пока еще светло, надо найти старого вдовца и гулену-бабу.

С вдовцом проще: недалеко от Федоры живет Мартин Полозок, и его густой чуприны хватит, наверно, чтобы расстроить в Малом Селе не менее тысячи свадеб. Однако въедливый и глазастый злыдень решит, что такой большой клок волос нужен нахальной соседке для дурного дела. Федора подумала, подумала и нашла простой и надежный способ, как обмануть одинокого хитреца. От Луцеи она выбежала, немного пошатываясь, посреди дороги ее уже крепко водило слева направо, и она шла зигзагом, а когда гремела клямкой Полозковой хаты, была уже пьяна как грязь. Двери оставила раскрытыми настежь, с порога, веселая и беззаботная, сразу бросилась к удивленному хозяину, что сидел на табуретке и печально поглядывал в окно на красное вечернее небо.

— Мартин, ты помнишь наше детство?

— А чего ты про него спрашиваешь?

— Не забыл, как барсук детей гладит?

— Кто его знает, может, и забыл.

— Давай напомню, трасца твоей матери!

— Охолонись, женщина! Все волосы выскубешь мне. От дела! Надо же так напиться!

— Обижаешь, Мартин! Если я пьяная, то пойду. Сиди тут один, как трутень.

То, что Федора провела рукой по его голове по-барсучьи грубо, против шерсти, от лба до макушки, Мартин Полозок понял как глупую шутку. Дернула и раз, и другой, скубнула так, что слезы выступили на глазах, но он не обиделся: чего хорошего ожидать от пьяного человека. Опять-таки, Мартинову догадку подтвердило дальнейшее поведение соседки: не попрощалась, оставила дверь открытой, на крыльце, как раз перед окном, где сидел Полозок, еще пошаталась, притворяясь, а когда оказалась за углом хаты, нагло захохотала во весь голос. Знал бы он, обманутый, ограбленный злыдень, какой клок волос она выхватила в его молодецкой чуприне, то, конечно, побежал бы за нахалкой с железной кочергой. Федора захохотала и тут же поперхнулась своим гадким смехом. Солнце уже заходит, рассыпает в окрестностях последний золотой блеск, а до темноты надо еще найти гулящую, развратную бабу. Иным деревням очень даже везет: распутниц там сколько хочешь, и старых, и молодых, чего не скажешь, к сожалению, о Малом Селе.

Совсем протрезвевшая после вынужденного притворства, Федора Чиркун перебирала в памяти всех своих овдовевших подруг, незамужних молодиц и не припоминала никого, кто бы открыто, на глазах у людей, не опасаясь сплетен и оговоров, гонялся за вонючими мужскими штанами. Уже неподалеку от родной хаты она вдруг спохватилась: так ведь гулена, распутница — вот она, тащится по выбитой стежке, измученная, опечаленная, все еще держа в руке клок жестких, как проволока, чужих волос. В одно мгновение вспомнилось все: горячие, безудержные ласки Обуховича, его богатые подарки, тайные прогулки в лес на панской карете. Как тут иначе скажешь — разврат, распутство, пускай и давние, однако Федора Чиркун поблагодарила Бога, что в нужную минуту дал память, усталая женщина сразу повеселела, обрадовалась неожиданному везению и, уже открывая дверь хаты, справедливо подумала: где же еще взять те чародейные волосы, если не на своей блудливой голове?

Это грешное и деликатное дело когдатошняя блудница совершала, стоя перед темным зеркалом на стене, прячась от Ядзюни и крикливого внучонка. В потемках она, кажется, надежно затаилась от родных и дорогих существ, повернувшись к ним спиной, но вдруг, немного отклонившись в сторону, заметила в поблекшем серебре зеркала чей-то печальный, укоризненный и такой знакомый взгляд. Федора отшатнулась, резко повернула голову и сразу поняла, что с увеличенного фотоснимка в простенке между окнами смотрел в зеркало ее муж, бывший панский батрак Левон Чиркун. Много лет он тихо и молчаливо присутствовал в хате, не узнавая ни женки, ни Ядзюни, ничего не зная о горластом Ваське в липовой колыске, и вот чудо: в самую неподходящую минуту дал о себе знать. Мертвый, убитый на войне неизвестно где, Левон, возможно, только теперь обо всем догадался, и потому в его глазах столько печали, обиды, укоризны. Федора почувствовала, как от стыда и позора наливается краской лицо, как по горячим щекам катятся запоздалые слезы, не сдержалась — горько всхлипнула, тяжело вздохнула и опрометью, не помня себя, выскочила из хаты.

Волнение, возбуждение, чувство непоправимой вины перед Левоном не проходили долго. До наступления темноты Федора успела сбегать в Имшечек, оставила там на приметном месте ведьмовский узелок с чужими и своими волосами, назавтра, еще до рассвета, забрала чары из болота, но все время, куда бы ни шла, о чем бы ни думала, в глазах стоял Левонов печальный и укоризненный взгляд. Рано утром, когда доила коровку, когда кормила визжащих поросят и ненасытный куриный выводок, Федора Чиркун думала о своей неудавшейся, горькой жизни, обо всех бедах, что сыплются на ее голову, как из дырявого мешка, и немного успокоилась только поздним утром, когда солнце поднялось высоко и начало хорошо греть весеннюю землю.

Навестить Ядзюню, как обычно в свободные дни, прибежали ее лучшие подруги Манька Тодорчина и Ледзя Гаврилова — покачать, потискать, пощекотать Ваську-толстуна и тем самым немного подбодрить опечаленную, заплаканную рыжеволосую страдалицу. Федора Чиркун обрадовалась гостям, забегала возле них, а когда дочь на минуту отлучилась из хаты, она, стыдясь, попросила девчат взять узелок с чарами, незаметно бросить его под ноги невесте, научила, какие произнести заклинания.

— Тетка Федора, все сделаем, как просите, — сказала Манька. — Кто же рад этой дурной свадьбе?

— Да, не сомневайтесь, — подтвердила Ледзя. — Мы и наговор запомнили слово в слово.

На Горской, в Федориной хате, девчата оставались долго, качали и тормошили толстенького малыша, не торопились, потому что свадьбы в Малом

Селе обычно начинаются в полдень. Весенний и летний день долог, до вечера можно сто раз напиться и проспаться, а это не сказать, что выгодно хозяйкам. Во дворе Алены Хомутович, куда заглянули после обеда Манька и Ледзя, уже толпились самые любопытные малосельцы. Парни и девчата с хохотом, с шутками тусовались вблизи крыльца, люди пожившие, такие, как Попиха и Полежанка, тихонько жались к гнилому, зеленому от мха забору. На жердях, на пряслах с редкими штакетинами повисли любознательные, неугомонные мальцы, немного в стороне, около кухни, чувствуя сводящие с ума запахи мяса, важно расселись голодные, облезлые коты. Манька и Ледзя сразу присоединились к компании своих сверстников, сквозь густую толпу пробились к самому крыльцу. Несмотря на еще довольно ранний час, в Алениной хате слышен звон стаканов, гомон, все более громкие выкрики: «Горько!» Свадьба, для кого-то в самом деле горькая, для кого-то очень сладкая, началась.

Из хаты в истопку и обратно раз за разом снуют взмокшие кухарки и распорядительницы столов, несут горшки, миски, тарелки с едой, кошелки, с верхом наполненные бутылками самогонки. Время от времени из двери схватить свежего воздуха высовывается раскрасневшийся, потный сват Костусь Танец, перевязанный через плечо длинным расшитым полотенцем. В хате, видно, что-то произошло, гомон, выкрики на минуту притихли, а на крыльцо неожиданно вышла сама хозяйка под ручку с каким-то сказочным, белоснежным созданием. Белое платье, белая накрахмаленная вуаль, белые туфли-лодочки, лишь венок зеленый на черных волосах. Боже, это же она — ненашенская царевна, болотная жаба, красавица-жена Алексея Хомутовича! Свекровь и невестка о чем-то пошептались, покосились на людное подворье и вознамерились возвращаться в хату, не замечая, что белые туфли-лодочки топчут ведьмовской узелок, невинную на вид тряпочку со всемогущими чарами.

— Тебе замужем не бывать, — прошептала первые слова заклинания Манька Тодорчина.

— Тебе деток не рожать! — закончила Ледзя Гаврилова.

Серую тряпочку с чудодейственными волосами вдовца, вдовицы и бабы гулящей мгновенно растоптали, размяли и растолкли по крыльцу элегантные туфельки молодой, неуклюжие башмаки кухарок, грубые, огромные, как колоды, сватовы сапоги. Стоя среди подруг, Манька и Ледзя с тревогой и волнением ждали радостной минуты, когда нелюбая свадьба начнет разлаживаться. На крыльцо вот-вот выскочит побледневшая как полотно царевна-жаба, следом вылетит веник-голень, колючим гузырем воткнется ей в плечи, с вилками в руках вылетит разъяренная Алена Хомутович, и полумертвая от страха приблуда под дикий хохот жениха и шаферов, свата и сватьи, приглашенных гостей и посторонних зевак прямиком через болота и суходолы понесется обратно в свои Ганцевичи. Манька и Ледзя тайком стреляют глазами по раскрытым окнам, чутко ловят каждый звук и выкрик, долетающие оттуда. Ну, слава Богу, начинается!

В хате вдруг стихли свадебные песни, начался невероятный шум, застучали лавки, скамейки, табуретки, и во двор первыми вывалились захмелевшие, счастливые, как черти, музыканты — баян, скрипка, бубен. Манька взглянула на Ледзю, Ледзя на Маньку: что же это такое, почему не действуют чары? На скамейке под старой раскидистой яблоней взвился голосистый звукоряд перламутрового баяна, заплакала, запиликала обшарпанная скрипка, забухал, загремел медными тарелками сердитый бубен. И сразу на зов громкой музыки из хаты, как бульба из коша, посыпались молодые свадебные чины: шаферы и шаферки, бояре и боярки, за ними важно, с достоинством стали выходить приглашенные гости: свои, местные, и приезжие, ганцевичские. Люди рассту-

пились, образовали широкий круг, и зашелестела под десятками ног молодая трава-мурава на подворье.

Зевак, особенно женщин, выкрутасы и выходки дурашливого молодняка пока интересуют мало. Люди будто бы и глядят на веселые пляски, но глаза косятся на дверь: когда же выйдут сват и сватья с богатыми угощениями? И они, наконец, вышли. Две банки с самогонкой, решето с хлебом, большая миска с мелко нарезанными кусочками мяса, колбасы, сала; минуя молодых, направляются к пожилым, уважаемым соседям и соседкам. Угощением заправляет сама Алена Хомутович. Кивнет головой, и Костусь Танец наливает кому одну, кому две чарки — сколько кивков, столько и чарок. Полежанке один кивок, Попихе аж три. Возвращаясь в хату с еще не опустевшим бидоном, сват уже собственной властью налил веселой женщине и четвертую чарочку. Попиха зажевала самогонку хлебом с колбасой, покраснела, осмелела и в знак благодарности за королевское угощение затянула знаменитую полешуцкую песню:

Каля рэчанькі, там, каля броду,
Крынічанька б’е.
Там сабралася бедна басота
Ды гарэлку п'е.
Пілі гарэлку, пілі вішнёўку,
А цяпер — віно.
А хто з вас, хлопцы, будзе смяяцца —
Будзем біць таго.
Ой, прыйшоў дзядька, дзядзька багаты,
Насміхаецца:
— А за што ж гэта бедна басота
Напіваецца?

С благозвучным голосом Попихи пытается сплести свой писклявый и трескучий голосок Полежанка, но язык ее не приучен к песням, ему больше подходит бессмысленная болтовня, а в результате — одна-единственная чарка на угощение. Услышав запев про «бедну басоту», многие сочли для себя постыдным молчать, и вот уже в разных концах двора голоса удваиваются и утраиваются, причем, в дружном хоре изо всех сил стараются и свадебники, и посторонние зеваки. А те бедолаги, которым медведь на ухо наступил, вдруг вспомнили: а где, интересно, интеллигенты и грамотеи, коммунисты и большевики, про которых перед свадьбой каждому встречному-поперечному говорила Алена Хомутович?

Вопрос по рядам людей дошел до двери и вернулся обратно с ответом: здесь они, уважаемые, сидят за столами и жрут, как с голодного края. Бедная Алена! Недаром жаловалась: обжоры, объедалы бессовестные. Тем временем кто-то заглянул в окно, и в толпе загулял новый слух: неправда, обман это! Начальники не пьют, не жрут — пляшут и выкомариваются сами с собой на кухне. Точнее, пляшет один Большевик, а ему хлопают в ладоши Федотов, лысый Глеб, Лакидон, Франек Живуцкий да кто-то еще из района. То ли захмелели и стыдятся выйти во двор, то ли не с руки им, удостоенным высоких должностей, толкаться вместе с простолюдинами.

Хмель все-таки взял верх над стыдом, опять же, не годится на великий первомайский праздник, как тараканам, прятаться по углам, и чиновные гости вскоре выползли из хаты на солнечный пригрев, на свежий воздух. Следом за начальством свою белоснежную гордую кралю, держа за руку, вывел с иголочки разодетый Алексей Хомутович. В гомонливой толпе он сразу заметил Маньку и Ледзю, проходя мимо, даже замедлил шаг, словно хотел что-то сказать, но девчата опередили обманщика.

— Ядзюня поздравляет со свадьбой и желает большого счастья, — глядя на ненавистную молодую, выдохнула Манька Тодорчина.

— Спасибо, спасибо.

— И Агата Волосюк с Круговичей тоже поздравляет, — ехидно добавила Ледзя Гаврилова.

— Спасибо, спасибо.

Захмелевший и немного ошалевший жених не сразу раскумекал, что две сморкачки просто издеваются и насмешничают над ним. Он понял это, когда, нахмурив брови, на него сурово из-подо лба взглянула невеста. Разъяренный Алексей Хомутович плюнул, словно от омерзения, потащил свою кралю за собой, опять надолго спрятался в хате — есть что объяснить молодой жене, есть в чем покаяться. Манька и Ледзя через силу усмехнулись: не подействовали чары, так хоть таким способом отомстили бессовестному обманщику и негодяю. Однако почему не удалось чародейство? Может, что не так сделали, может, не те проговорили заклинания? Надо было бы побежать на Горскую, повиниться за свое неумельство. Но на Горской, слыша громовую музыку с усадьбы Хомутовичей, три заговорщицы — Луцея Подгайская, Тодорка Дрозд, Федора Чиркун — уже догадались о неудаче и теперь готовы были живцом проглотить беженку Агриппину из-за ее никчемного чародейства. Баян и скрипка здесь, на Горской, слышны слабо, а грозный гул бубна эхом разлетается по Копцам и даже дальше — за Федориной хатой, в Имшечке.

Ничего не слышит, ничего не знает одна только Ядзюня. Сидя на кровати, она легонько покачивает сынову колыску, почти беззвучно напевает ему материнскую колыбельную, и никакого страдания на лице, и ни одной слезинки в ее глазах. Еще днем Федора Чиркун достала из-под балки золотое колечко, показала дочери, надеялась, увидит — утешится, и, может быть, отойдет ее сердце. Ядзюня посмотрела, надела на палец, сняла, как ненужную вещь, и молча положила на стол. Каким-то образом, не кот ли постарался, заграничный подарок скатился на пол и, никем не замеченный, остался лежать посреди хаты. Под вечер брызнули в окна солнечные лучи, осветили все уголки, и от блестящего колечка на побеленом потолке зайчиком отразился загадочный золотистый ободок.

2

Однажды метельной ночью, на третьем году войны, Луцею Подгайскую разбудило непонятное поскребывание в окно. Хозяйка испуганно прислушалась. Это, конечно, были не полицаи и не партизаны: и те, и другие не очень церемонятся, бьют сапогами и прикладами винтовок в двери так, что стены дрожат. Возможно, это скрипел и терся об окно намерзшими ветками раскидистый клен, росший около хаты. Вскоре скрип повторился, затем кто-то слабенько постучал в раму окна. Луцея зажгла свечу, набросила телогрейку на плечи, вышла в сени и сняла защепку. В дверь, бухая как в бочку, просто вползла на четвереньках вконец обессилевшая и измученная женщина — в снегу, мокрая с головы до ног. Хозяйка стащила с нее рваные одежки, дала переодеться, посадила на теплую печь, укутала двумя дерюжками, сверху накрыла еще и суконной сермягой. Потом разожгла грубку, согрела липового чая — выпьет бедняга горяченького, пропотеет, и простуду как рукой снимет.

— Брянская я. Уже год, как в беженцах, — когда немного пришла в себя, начала рассказывать нежданная ночлежница. — Нас, арестантов, везли в Германию, а партизаны напали на эшелон. Мы и побежали куда глаза глядят.

— Слышала я, слышала, — вздохнула Луцея. — Немцы теперь бесятся, как собаки, чтоб их корчи крутили.

Сон скоро сморил несчастную, еще не старую женщину. Всю ночь бушевала вьюга, не утихла и назавтра. Беженка собралась было уходить, но Луцея не отпустила. Куда идти, если такая вьюга, света белого не видно. Приблудная гостья так и осталась жить в подслеповатой старенькой хатке, что приютила в ту страшную морозную ночь, согрела горячим липовым чаем. Места на две души хватало. Луцеин Миколай умер еще до войны, детей у них не было, и Луцея от души порадовалась, что теперь будет перед кем поплакать, исповедаться, утешить изболевшееся от одиночества сердце. С того времени, когда беженка Агриппина, так она назвала себя, поселилась в неприметной полесской деревне, уже не один раз белыми цветами, как фатой, укрывалась черемуха и не один раз, печально курлыкая над Имшечком, отправлялись в теплые страны журавли. Две горемычные женщины, которых, наверно, не случайно свела обидная несчастливая судьба, на удивление сварливым соседкам жили дружно, и это было одновременно и хорошим примером, и непонятной загадкой для всего Малого Села.

Хата, что дала в лихолетье Агриппине надежный приют, стоит на склоне горы под роскошными кудрявыми кленами. Деревья посадил Луцеин Миколай, когда был еще молод, и с того времени они разрослись, подняли густые пышные кроны. Каждую весну, все еще не привыкнув к полесским пейзажам, беженка дивится: разве клены бывают такими красивыми? И ходит около них, пьянея от запахов молодой листвы, — угнетенно, неприкаянно. Но больше всего беженка любит осенние — багряные — клены. После ночных заморозков на пожухлую траву сыплется золотисто-красная, с темными прожилками листва, разлетаясь в ветреные дни по всему двору. Агриппина берет грабли и чисто подгребает двор, а листья носит в хлев — на подстилку скотине или укрывает ими копцы картошки. Если работы нет, подолгу стоит в конце двора, опершись на грабли, молча глядит вдаль. В низине ткется вечерний туман, за деревней над суходолами и кустарником висит низкое солнце, обжигая края небес непривычно холодным красным огнем. Агриппина стоит и смотрит вдаль — поникшая, сутулая, с какой-то нечеловеческой печалью в глазах.

— Идем, работничек, ужинать. Картошка стынет.

— Иду, иду. Вот только грабли брошу в сарай.

В мире все просто и удивительно повторяется: зеленые клены — золотистые клены, зеленая листва — золотистая листва. Повторяется клочковатый туман над низиной, повторяется чарующий закат солнца за деревней, повторяется, наконец, даже этот божеский крестьянский ужин. На столе в чугунке дымится горячим паром картошка, в миске с верхом — с коптуром — лежат соленые огурцы, стоит в горлачике рассол, приправленный укропом и мелко нарезанным чесноком. Две поседевшие женщины, измученные, измордованные жизнью, ужинают молча, будто они давным-давно обо всем переговорили и нет у них ни сил, ни желания о чем-то еще вспоминать. Но какой умник сказал, что не повторяются одни и те же человеческие думы, что со временем слабеет боль, забывается печаль? Агриппина вдруг бросила огрызок огурца, припала головой к столу и затряслась от плача.

— Что с тобой? — заволновалась Луцея. — Успокойся, не рви сердце.

— Не могу больше! — Агриппина подняла голову, уголком платка вытерла заплаканные глаза. — Увидела, как заходит солнце, и душа зашлась от жалости. У нас, под Брянском, веришь, аккурат такие закаты.

— Верю, конечно, верю.

— Через год обязательно поеду. Денег бы только собрать, и — поеду.

Как обычно Луцея Подгайская начинает утешать бедную Агриппину, хотя знает, что и в следующем году она никуда не поедет. Уже не первый раз нападает на нее неизбывная грусть по родительской земле — далекой, но не забытой. Уже не первый раз, как только близилась осень, Агриппина ходила на заработки: копала картошку людям, бегала в лесничество сажать молодые деревца. Когда денег на дорогу было достаточно, собирала мешок и приготовлялась ехать. Однако приходил день отъезда, и беженка на глазах менялась, чего-то пугалась, откладывала поездку еще на один год.

Кто ее близко знал, не удивлялся. Туда, в Брянск, Агриппине просто не к кому было ехать, никто ее там не ждал. Единственный сын Юрка погиб еще в начале войны, а другой родни у бедняги не осталось. Однажды она послала на родину письмо, не надеясь, что кто-то вспомнит о ней, но очень скоро краткой весточкой отозвался ее бывший сосед Евхим Березняк. От него Агриппина узнала, что хата ее сгорела, колодец давно обрушился, а на старом печище построили колхозный клуб. Женщина поплакала тихонько и решила, что не стоит ехать домой. Встретив на чужбине человеческую доброту и ласку, ей, наверно, не хотелось менять новых подруг и соседей на неведомое в далекой, пускай и дорогой сердцу, сторонке.

— Поезжай, милка, поезжай! — убирая со стола, советует Луцея. — Разве можно так надрывать сердце?

— Денег только если б собрать на дорогу, — вздыхает Агриппина. — Хорошо тем мериканцам. У них денег, говорят, куры не клюют.

— И правда, милая. Не клюют.

День за днем, неделя за неделей, и листьев с кленов падает все меньше. Наконец приходит время, когда деревья стоят голые — серые, ребристые, как скелеты. Взвей-ветер подхватывает сухую листву, гонит ее по двору. Затем в воздухе начинают кружиться белые мухи, и скоро снег совсем укрывает голую и черную землю. Зимой Агриппина ходит в овин тереть и трепать колхозный лен. Домой возвращается в темноте, вся в костре и потерухе. Поужинав, сразу берется за веретено. Крутится-вертится веретено, тонко жужжит кудельная нить. За окнами гуляет вьюга и гулко, наверно, к морозу, потрескивают стропила. Долгими зимними вечерами женщины допоздна прядут кудель.

Изредка, если не болен, в хату заглядывает Мартин Полозок. Сидит, притихший, у грубки и беспрерывно смолит злой самосад. В хате аж синеет от едкого дыма.

Пока Мартину еще ничего не удалось выяснить насчет своего сватовства, и, может, поэтому весь вечер он сидит задумчивый и озабоченный. Агриппина слюнявит меж пальцами пряжу, отводит в сторону руку с веретеном и порой бросает взгляд на своего сивенького жениха. Все же она жалеет Полозка, думает о нем, а что ответить на его предложение — еще и сама не знает. А тот сидит у грубки, белый как лунь, думает о чем-то своем, не сводя с огня пристальных глаз. Наконец, поднимается с табуретки, отрясает с колен обрывки газеты, табак и пепел.

— Так я пошел, — Полозок берется за клямку, однако приостанавливается, в сером сумраке хаты ищет кого-то взглядом. — Это ж я хотел спросить, Агриппина, пойдешь за меня или не? Может, решилась уже? Если боишься, то зря: я сильно жалею баб.

— Ой, не знаю, что и сказать, — краснеет, как семнадцатка, Агриппина. — Правда, не знаю.

— Ты подумай еще. Не молодой же я, чтоб за тобой бегать.

— Подумаю. Как надумаюсь, то и скажу.

Гулко бухает дверь, за стеной слышится шорох слежавшегося ноздреватого снега. Женщины ложатся спать. Луцея спит на горячей печи. Засыпает сразу, поскольку, понятное дело, натупалась, набегалась за день. Агриппина зимой спит за грубкой, на жестком полку из сосновых ополков. Ее, наоборот, мучает бессонница: ворочается с боку на бок, вздыхает, что-то шепчет впотьмах. Видит Бог, тут и молодуха не поймет: игра это или правду говорит Полозок? Сватовство его тянется уже не первый год. Агриппина уже и забыла, когда Полозок начал ходить к ней: в прошлом году или в позапрошлую осень? Тогда она обрадовалась, что на старости лет, если заболеет, будет кому подать стакан воды. А теперь боится Анюты, Полозковой невестки. Та на всю околицу объявила: беженку-нищенку и на порог хаты не пустит. И Агриппина испугалась, остыла, разуверилась в своем запоздалом женском счастье. Языкастая Анюта не даст житья, загрызет, поедом будет есть.

Вот потому и не спится Агриппине — в ночной тиши решает свою судьбу, под шум метели думает свою горькую думу. Наконец пришло утро — серое, мрачное, морозное, и она не смогла подняться с мулкой лежанки: переутомилась, видно, или сквозняк прохватил в холодном овине. Затупала, засуетилась встревоженная Луцея Подгайская: вот я тебе, милка, яичницу со шкварками на всю сковородку, вот я тебе чайку липового! Суетилась, волновалась и не услышала, как в сенях зашаркали сапоги, заскрипела дверь.

— Ой, как скрипит! — удивился, остановившись на пороге, сутуловатый, давно не брившийся Мартин Полозок, словно раньше не знал, что в этой горемычной хате всегда что-то скрипит, что-то ломается. — Надо завесы гусиным жиром смазать.

— А черт с ними! — махнула рукой Луцея. — Ты чего не проходишь?

Конечно, это не лучшая привычка: прежде чем пройти в светлицу и сесть на скрипучую лавку у стола, сперва потоптаться на пороге, скромно покашлять в кулак. По-разному заходит к Луцее Федора Чиркун — то тихо, то с причитаниями, по-разному заходит Тодорка Дрозд — иной раз с плачем, иной — с дурным смехом, а Мартин Полозок, черт лохматый, не меняет своих привычек. По натуре не очень говорливый, сегодня он, увидев на полку за грубкой больную Агриппину, вообще умолк надолго. Расстегнул поношенный кожушок, поскольку в хате было жарко, и смолит суслу за суслой, не замечая, что бабы давно перхают от едкого табачного дыма. Перед глазастым соседом Луцея занемогшую Агриппину нарочно накормила бы медами-солодами, не пожалела бы и птичьего молока, если б знала, где его взять. На припечке, к сожалению, шкворчит только бедная яичница, дымится горячим паром картошка и стынет в кружках чай, заваренный на душистом липовом цвете. Какие уж тут разносолы, если из кладовки мыши убежали.

— Может, и ты, соседик, позавтракаешь с нами?

— Спасибо, дома от пуза наелся. Сюда я по другому делу пришел.

— И чего пришел?

— Хочу сказать Агриппине, что весной думаю свою хатку пересыпать. Мне, как фронтовику, Глеб обещал помощь.

— Пересыпай, Мартин, — отозвалась из-за грубки слабым голосом Агриппина. — Решилась я — будем старость вместе доживать.

— От и хорошо! Бывайте, бабы, я пошел, — весело поднялся на ноги Полозок. — Поправляйся, Грипка. И ты, Луцея, будь здорова.

— Заглядывай чаще.

Отшумели белые зимние метели; холодноватый март гостеприимно принял в лесах, на болотах и озерах перелетное птичье царство, с тихими и частыми ливнями прошел слякотный апрель, и только в начале мая, когда

после Хомутовичевой свадьбы дружно и обильно вспенились малосельские сады, лысый Глеб прислал к Мартину Полозку Гаврилу Трофимчика со всей его знаменитой плотничьей бригадой. Дней десять тюкали топоры на Горской, звенели пилы. Хилую, вросшую в землю хатку растребушили до земли, заменили нижние бревна и наново пересыпали сруб. Каждый раз — после того, как ставили окна, очепы, стропила, гонтом крыли крышу, — Мартин Полозок, как требует обычай, преподносил плотникам добрый магарыч, и они показали, на что способны их острые, как бритвы, топоры.

Однажды на Горскую, как бы случайно, заглянула Агриппина и не узнала старую развалюху: стоит хата, как куколка, помолодевшая, с новыми полами и потолком, с покрашенными красной краской рамами окон. Теперь, когда плотники ушли, на дворе возился только хозяин: обрезал свежий мох в пазах, присыпал завалинки, китил окна, таскал землю на чердак, чтобы зимой сквозь щели не уходило тепло. Порой отцу помогает Борис, порой, возвращаясь мимо с работы, к новоселу по старой памяти заглядывает Ванька Заяц. Корзина с землей тяжела, еле поднять, и обратно с чердака Мартин Полозок слезает по лестнице медленно и устало. Садится на завалинку отдохнуть и тяжело отдыхивается, пытаясь справиться с хрипом в груди.

— Болит что-то нутро. Как огнем жжет, — жалуется он. — Наверно, надо бросать паскудное курево.

— Выпивать легче бросить, чем курить, — со знанием говорит Ванька Заяц и утешает старика: — А это, в груди, пройдет. Простуда, это точно.

— Э, не знаю, если б простуда.

Никому больше Мартин Полозок не пожаловался — ни соседям, ни Агриппипе. Он вообще не умел и не любил жаловаться: бывает, расскажешь человеку о наболевшем, о том, что гнетет и мучает, и не услышишь в ответ даже слова сочувствия и утешения, будто так тебе и надо, тюхтяю и неудачнику. Стояли тогда на удивление ласковые и теплые майские дни. Зацвела в палисаднике сирень, белоснежной черемухой, словно фартучком, укрылась опушка перед Имшечком. Вернулись из теплых краев ласточки, и две щебетуньи, пролетая над Горской, сразу заметили чудесные перемены на Полозковой усадьбе. Ласточки покружились вблизи и скоро убедились, что теперь им, таким красивым и работящим, будет совсем не стыдно слепить свои гнезда на этом обновленном домике.

Уже с раннего утра белогрудые птицы суетились и щебетали под застрехой, и, любуясь ими, Мартин Полозок начисто забыл, что на май и под кустом рай — своя хатка все же лучше. До Троицы, несмотря на предательскую слабость во всем теле, он упорядочил двор: убрал из-под ног истлевшую древесину, собрал щепки, перетащил под крышу остатки старых досок. Накануне праздника отправился в лес, принес ношку зеленого мая: кленовыми ветками убрал красный угол, две белые березки вкопал по обе стороны ворот. Теперь можно смело звать в хату и хозяйку, но прошла ночь, начался новый день, а Полозок нигде не показывался — ни в деревне, ни на своем дворе.

Заволновалась Агриппина, побежала по соседям и вернулась к Луцее с тревожной новостью: Мартин неожиданно заболел и лежит в районной больнице. Хорошо еще, что Борису вчера вечером пришло в голову навестить отца — как предчувствовал недоброе. Агриппина изнервничалась за день, забыла даже, что сегодня люди празднуют Троицу. А назавтра, хотя и мучалась бессонницей всю ночь, она испекла белых пампушек и напрямки через Агревицкое болото пошла навестить больного. По дороге думала о том, что не ко времени эта Мартинова болезнь. Только бы не затянулась она. Самое лето начинается, хлопот полон рот, а если жить вместе, то надо было бы

и о кое-каком хозяйстве позаботиться. Зато из Ганцевичей она возвращалась повеселевшая. Мартину стало лучше от уколов, и доктор успокоил: через неделю-две можно будет выписать домой.

— Как он, сивоголовый? — даже за калитку выбежала навстречу Луцея Подгайская.

— Поправляется Мартин. Перегрелся, говорит, и холодной воды глотнул.

— Хорошо, что поправляется. Летняя простуда, она, зараза, цепкая.

— А еще Мартин сказал, чтобы перебиралась в его хату, — краснея похвалилась Агриппина.

— И перебирайся. Я тебе, милка, и ситца дам на занавески.

— Не, подожду уж, когда хозяин из больницы выпишется.

За событиями последнего времени, которые, к счастью, были благоприятными, а не печальными или трагическими, произошло нечто удивительное: беженка Агриппина опять забыла, что этим летом собиралась обязательно, не глядя на вечное безденежье, слетать на Брянщину, хоть одним глазком взглянуть на родное гнездо, а вернется ли обратно — это как Бог-отец даст. Приступы тоски и печали у нее давно не повторяются, а осенью, когда с кленов опадает золотистая листва, она уже не стоит неприкаянно и угнетенно у забора, вглядываясь до боли в глазах в синюю мглу, в туманную даль. Занятая переселением, Агриппина, благодаря Луцеиной щедрости, пошила беленькие занавески, пересмотрела свои вещички: кое-какую обувку, ношеную-переношеную одежку, и добро это собралась занести в хату бедного горемыки. Осмелилась, попросила у Борисовой Анюты ключ от Полозковой хаты, за один день побелила печь и грубку, чисто вымыла полы и окна, повесила занавески. Бездомная Луцеина подсоседка на птичьих правах, Агриппина осматривала свое собственное теперь жилище, но — удивительно — еще не сознавала себя полноправной хозяйкой. Для полного семейного счастья ей, наверно, не хватало поросячьего хрюканья в хлеве, куриного гама во дворе. Вернется Мартин из больницы, так пускай лежебока расстарается хотя бы кота, чтобы в хате не велись мыши. Сморившись, Агриппина ночью спала как убитая, спала и не знала, что уже стоит в головах большая, непоправимая беда. Назавтра, едва утро набрало силу, к Луцее Подгайской прибежала Анюта — всклокоченная, испуганная, без кровинки в лице.

— Слышали? Это же мой свекор помер.

— Как помер? Что ты несешь?

— Так тилиграму из Ганцевичей отбили. Борис в эмтээмс побег машину просить.

— Ах, Божухна мой!

— Когда привезут покойника, придите к нам. Надо же будет молитвы говорить.

Сама едва живая от ужасной вести, Луцея Подгайская спасала Агриппину: била по щекам, давала понюхать нашатырь, а когда та наконец пришла в себя, долго не могла понять, что случилось. Еще несколько минут назад она была самая счастливая и богатая в мире: имела хорошего хозяина и пристойную хату, растила поросят и кур, был у нее даже собственный котик, который за одну ночь переловил, порвал на куски всех домашних мышей, но, на беду, прибежала эта дурочка Анюта, и от большого богатства не осталось и следа. Агриппина никак не могла поверить в свою бедность и нищету, пока в полдень из Круговичей не докатился через лес печальный церковный звон. Малое Село вздрогнуло: не стало на земле еще одного доброго человека.

Отпевали его, доброго и безобидного, в Борисовой хате, и когда на другой день везли гроб на кладбище, Агриппине хотелось крикнуть: поднимись,

Мартин, посмотри, сколько здесь людей, и свояков, и соседей, послушай, как они тебя любят и уважают. Но молчун и есть молчун: не отозвался, даже и бровью не повел на ее горячие слезы. Вслед за батюшкой и певчими траурная процессия спускается в низину, двигается мимо последних хат Малого Села. Встречные мужчины и мальцы поспешно снимают шапки, женщины и бабульки истово, торопливо кланяются. День не дождливый, не сырой, но прохладный, ветреный. Раскачиваются верхушки деревьев, на песчаной дороге поднимаются легкие бурунчики пыли. В стороне от молчаливой толпы, спотыкаясь на колдобинах, бредут опечаленные Тофиля и Степан Олифер.

— Жалко Мартина. Если помирать, то пускай бы помер меж Пасхой и Троицей — сразу попал бы в рай.

— Что ты плетешь, бестолковая? Смерти человеку пожелала.

— Разве я сама придумала? Люди так говорят. Кто помер после Троицы — в ад, в пекло попадет.

— Да какой Мартин грешник?

— Правда, хороший был человек, только смерть не назначает, кому когда помирать и за какую вину мучиться на том свете.

— Так, Тофилька, так. Хорошо помню, как Полозок просился, чтобы рядом со мной лежать.

— А теперь ты у него просись, дурень.

— Тьфу! Хай пан Бог п*а*нам барануе.

Судьба или не судьба, возможно, это просто ужасная случайность — воспаление легких, но смерть надо принять как неизбежное. С поминального ужина Агриппина вернулась заплаканная, всему чужая, равнодушная ко всему. Было уже не рано, вечер все плотнее укрывал печальные окна. Прислушиваясь, как неспокойно спит Луцея, она мыкалась по хате, натыкаясь впотьмах на табуретки и скамейки. Потом задремала и сама, но спала не долго — проснулась и стала думать, за что завтра ухватиться, к чему приложить руки? Да, завтрашний день еще не был осмыслен разумом. И этот день все увереннее заявляет о себе: в окнах посветлело, в редком березнячке одержимо защелкали соловьи.

Луцея Подгайская поднялась много позже, вышла во двор и испугалась. Под кучерявыми кленами, у покосившегося забора в конце двора стоит, сгорбившись, беженка Агриппина, молчаливо и печально вглядывается вдаль, и по тому, как вздрагивают ее поникшие плечи, видно, что она горько и безутешно плачет.

3

По обе стороны улицы, вдоль заборов и около посадок деревьев, в начале июня незаметно и скромно, совсем не так гордо, как полевые васильки, зацвели ромашки, и странно, что ярче, чем где, цветут они напротив двух седых, замшелых валунов, знаменитых на все Малое Село. Небольшенькие росистые цветы с белыми лепестками и желтыми головками, покачиваясь на высоких стеблях, как бы просятся: мы не очень броские с виду, но можем пригодиться хоть на лекарства, хоть на душистый чай. Бодрым прохладным утром у своего потрескавшегося камня стоит Тофиля, и на лице ее блуждает добрая усмешка — зацвели ромашки. В самом деле, пока не осыпались лепестки, почему не запастись на какую-нибудь важную зимнюю надобность? Тофиля нагнулась, набрала в горсть цветущие растения, а когда выпрямилась, увидела, что около горбатого Олиферова валуна, ближе к колодцу, ромашек много больше. Несколько десятков неторопливых шагов, и она уже на той стороне улицы. Но

не успела сорвать даже стебелек, как по воду приплелся заспанный сердитый Степан Олифер.

— Ты чего рвешь мои румянки? Своих мало?

— Твои лучше. И сочней, и цветы крупнее. Стою и думаю: почему так?

— Так колодец рядом. Значит, в земле сырости больше.

— Вон что! — раскрыла рот удивленная Тофиля. — Везет тебе, сосед.

— Ат, рви, сколько тебе надо, — разрешил Степан Олифер, набрал воды и, собираясь идти, уже добрей спросил: — Что на свете слышно?

— А что там слышно! Борис Полозков батькову хату продал. Беженка, Луцеина подсоседка, к себе, в Россию, поехала и вряд ли вернется. А еще говорят, что лысый Глеб хочет Гаврилово гумно разобрать. Перевезут на ферму и вымудрят курятник.

— Давно пора! Чужие пуни и гумны Трофимчик разобрал, а свое оставил. Думал, хитрей всех.

— Так и есть, хитрей.

Из хаты под пышными вязами сердито закричала Марка, чтобы он, старый елупень и копуша, скорее нес воду. А соседи и еще поговорили бы в охотку, поболтали языками, а может, и поругались бы, хотя ссориться и ругаться особенной причины нет. Проблема кривобокой потрескавшейся березы — чья она и чей черед весной пускать сок — за невзгодами и заботами сама по себе отошла на второй план, да и береза, не один раз безжалостно просверленная, начинает чахнуть и сохнуть. Но так не бывает, чтобы малосельские задиры жили тихо, спокойно и миролюбиво. Цветут вдоль дороги желто-белые ромашки, на своем гладком валуне пыхает люлькой Степан Олифер, бежит к колодцу Тофиля. Опустил клюв скрипучий журавель, гулко загремело деревянное ведро о трухлявые стенки сруба. Тофиля вылила воду и вдруг пожаловалась:

— Опять песка зачерпнула. От если б кто почистил колодец, совсем криничка забилась.

— И тын пора менять, — в тон ей отозвался Степан Олифер. — Как будет свободное время, созову толоку.

Чистили колодец утром, всей улицей. Но предшествовали этому необычные обстоятельства. Неисправимые деревенские задиры как бы поменялись местами. Тофиля сидела на своем плоском камне, а Степан Олифер вышел по воду с люлькой в зубах. Он черпал воду, гремел ведром, а Тофиля — типун ей на язык — издалека взяла да и поздоровалась:

— Добрый день, Степанка!

— Добрый день, Тофилька!

И тут люлька — красивая, с медными ободками на мундштуке — выпала из зубов, булькнула в колодец. Послышался тихий всплеск. Степан Олифер вскипел от гнева, бросил ведро и пошагал через улицу, чтобы покарать соседку, невовремя распустившую язык. Однако на камне Тофили уже не было. Отбежав на свой двор, она боязливо выглядывала из-за угла.

— Ах ты, кобыла скалозубая!

— Степанка, не хотела я, — просит прощения Тофиля. — Чтоб мне язык отсох, если я хотела плохого.

— Иди и доставай люльку. Как хочешь, так и доставай.

Испуганная Тофиля не осмеливается ссориться с норовистым соседом, помнит, на чьей стороне улицы стоит колодец. Набросила платок на плечи, побежала вдоль заборов, и со дворов, где на минуту исчезал красный платок, смеясь выходили мужчины. Малое Село привыкло видеть Степана Олифера с большой люлькой в зубах, Малое Село не хотело, чтобы он страдал без этого утешения.

— Ай да Тофиля! — смеялись мужчины. — Надо же так!

И вот уже заскрипел журавль, кто-то спустился в колодец, начал подавать ведра с мутной водой. У забора разлилась большая лужа, выросла куча желтого песка. А из-под земли, как с того света, долетел по-дьявольски веселый, радостный крик:

— Нашел!

Люльку, словно золотой самородок, бережно достали из ведра. Степан Олифер едва не плакал от радости и уже готов был простить соседку, но последние дни никто не видел ее на камне. Посидев в одиночестве на своем валуне, он начал беспокоиться. Ему уже не хватало соседки, ему было скучно, а Тофиля не выходила из хаты, время от времени выглядывая из окна. И терпение у Степана Олифера лопнуло. Как только в окне напротив опять шевельнулась занавеска, он крикнул:

— Тофиля, выйди на улицу! Мириться будем.

Тофиля, казалось, только и ждала этих слов, чтобы занять свое законное место на плоском камне. Села боязливо, настороженно, голос тихий, виноватый.

— Звал, Степанка? Или показалось мне?

— Конечно, звал. Скучно что-то стало. Ты уж, Тофилька, не сердись.

— Это ты не сердись. Я все наделала.

— Забудь, Тофилька. Даже и хорошо, что так вышло. Хоть колодец почистили.

Недавние враги сидели на своих камнях такие добрые, такие ласковые, что, казалось, теперь они никогда не поссорятся. Поговорили о деревенских событиях, о завтрашней погоде. А время было уже не раннее: солнце пряталось за лес, в пруду у школы квакали лягушки. Где-то неподалеку жалобно запиликала гармошка. Степан Олифер прислушался, и в прищуренных глазах старика запрыгали веселые молодые чертики.

— Ну что за молодежь пошла? — презрительно искривились его губы. — Даже играть не умеют. От мы, бывало!

— Ага, Степанка! У нас веселей было.

— Я хорошо помню наши гулянки, — значительно сказал Степан Олифер. — И тебя, Тофилька. От девка была — румяная, сочная!

— Правда, Степанка? — Тофиля, казалось, подросла на камне.

— Была, была! Неужели не помнишь, как мы на лугу сено гребли?

— Помню, Степанка.

— А как сено в копы бросали?

— Помню, Степанка.

— А помнишь, какое там сладкое сено было?

— Что ты сказ-з-зал? — Тофиля вдруг вскочила с камня, покраснела, одернула юбку.

— Как — что? Сено было сладкое. А потом ты плакала, чтоб замуж взял.

— Дурень ты, Олифер! Это что ж ты болтаешь? — рассердилась Тофиля. — Дурной как сапог. Кто-то подумает, что и правда.

— Гы-гы! Я еще и сегодня могу накосить сена. Слышишь, Тофиля?

— Ах ты, пес старый! С тебя уже труха сыплется.

Степан Олифер поперхнулся и перестал дурачиться, потому что в Тофилиных сравнениях не все ему понравилось. Подхватился с валуна, растоптал желтые головки ромашек, что росли у камня, плюнул с возмущением и отвращением. Будто трясучка на него напала — топнул ногой, брызнул слюной.

— Если я, по-твоему, сапог, так кто ты, Тофилька? Ага! Лапоть с левой ноги! Вот кто ты!

— Пускай и лапоть, — побелела Тофилька. — А ты болтун! Это же такое выдумать! И свет не видел, и люди не слышали. — На всякий случай она отступила к калитке, стукнула клямкой. — Пустодомок ты! Может, забыл, как в колхоз не хотел записываться?

— Дурень был. Сперва не понял, что к чему, а когда понял, то и коня, и телегу завел на общий двор. А ты что завела? Ага, голодранка ты, вот кто! У тебя задница больше твоего хутора.

Такого оскорбления Тофиля уже не могла стерпеть, но и ссориться с дураком рискованно. Тофиля спряталась в сенях. Оттуда послышался грохот, громко стукнула дверь. Сварливый, мстительный Степан Олифер, затаив обиду на соседку, несколько дней не показывался на улице, и два валуна, один — роскошный, блестящий, как царский трон, другой — бесформенный, серый, долго пустовали. А у Тофили тоже своя гордость: бежит по воду, так даже и не взглянет на окна немилой Олиферовой хаты.

Ладно, пускай злится, надувает щеки. А если толком разобраться, особой беды не случилось. Поссорились и поссорились, ничего тут не попишешь, ничего не поправишь. С кем не бывает, а бывает такая напасть чаще всего у людей, которые жизнь прожили рядом, хата с хатой, и за долгий век до чертиков надоели друг другу. Старая гордячка, может быть, справедливо гневается, но не потому, что у соседа ромашки выросли гуще, чем у нее. Степан Олифер и сам заметил за собой странный и неприятный факт: после смерти Мартина Полозка характер у него изменился, причем, не в лучшую сторону. Хоть кого он может теперь оскорбить, обидеть ни за что, и если Марку свою еще жалеет, то к Тофиле ни грамма жалости нет. Он видит в окно, как обиженная Тофиля черпает воду, и вдруг вспоминает, что давно уже не обходил колхозные поля и, конечно, заслужил хорошую трепку от лысого Глеба. Одна минута, и Степан Олифер собрался, готов в поход. На улице ничего не изменилось, все на месте: посадки, колодец, валуны, только вот у соседки почему-то калитка распахнута настежь. Впрочем, калитки для того и ставят, чтобы они время от времени открывались и кто-нибудь выбегал или выходил.

— И куда ж ты, Степанка, бежишь спозаранку?

— Забыла? Я ж полевой сторож, на службе. Пойду гляну, как там посевы. Эти хлопцы, негодники, взяли моду пасти скотину у поля.

— И правда! Коровы не понимают, все потопчут, и картошку, и жито. А когда ты, Степанка, вернешься?

— Не знаю. Может, днем, а может, под вечер.

— Зайди! Капля гари у меня с Троицы припрятана.

— Зайду, Тофилька, зайду, если не забуду.

Не торопясь Степан Олифер бредет извилистой малосельской улицей и не перестает удивляться: ромашки еще не отцвели, не осыпались белые нежные лепестки. Их много — вдоль заборов, в садах, в промежинах между хатами и хлевами. Ромашки пахнут лекарствами, и поэтому многие их не любят. Другое дело — синие полевые васильки. В сущности, и от одних, и от других одинаковая польза, но отношение к невинным растениям у людей разное. Ромашки держатся дорог, пустошей, человеческого жилья, а васильки растут в жите или на межах около него, и может быть, за такое постоянство и верность от вековечной славы жита и им, василькам, перепадает немало любви и нежности.

За день, обходя колхозные поля и луга в окрестностях Малого Села, Степан Олифер отбил, стоптал ноги и пополудни оказался на Горской, где в этом году тоже была посеяна рожь. Из Копцов как на ладони виднелась широкая низина, густо уставленная хатами и хлевами. Минуту-другую он любовал-

ся родной деревней и вдруг растерянно заморгал: в деревенском пейзаже, ярко освещенном еще жарким солнцем, недоставало одной примечательной и характерной детали. Сперва он не понял, что это такое, подумал было, что — обычный зрительный обман, но присмотрелся и понял: в Малом Селе таинственно исчезло, словно по волшебству пропало Гаврилово гумно, квадратные стены которого и соломенная крыша еще недавно возвышались над приземистыми крестьянскими строениями.

— Ого, и до тебя добрались, хитрый жук! — вслух произнес Степан Олифер и подбегом стал спускаться с Горской.

Издалека можно было и ошибиться: гумно исчезло, но не полностью. Нет соломенной крыши, нет стропил, наполовину разобраны стены. Плотники — все те же, из строительной бригады Гаврилы Трофимчика — облепили остатки сруба и, чтобы угодить своему бригадиру, делают вид: смотри, как мы нехотя, неохотно рушим твое кровное добро. А тот стоит в стороне и едва не плачет. Гавриле, может быть, не так уж жалко гумна, как неприятно, противно ловить на себе ехидные, насмешливые взгляды. Сюда, на разгром, посмотреть, как лысый Глеб терзает известного хитреца, собралось почти полдеревни. Преимущественно это те люди, у которых несколько лет назад Гаврила Трофимчик и его ловкая команда без жалости разрушили пуни, овины, гумна. Прихромал с костылем в руке Яков Певник, явились откуда-то Луцея Подгайская и Тодорка Дрозд, немного с опозданием показался на пригуменье Степан Олифер, да и вообще многие заявились. Ну, с этими все ясно: обиженные, но какого черта в толпе толкутся и похихикивают малосельские шляхтичи пан Винцусь и пан Бронюсь?

— Шли бы вы отсюда да людей не смешили! — тихо, чтоб никто не услышал, злобно гонит прочь бродяг Гаврила Трофимчик.

— Не волнуйся! Времени у нас хватает, постоим еще немного, — невинно улыбается пан Винцусь.

— Помнишь, говорили мы: недолго ты своим гуменцем будешь тешиться, — уже серьезно укоряет хитреца пан Бронюсь.

— Да пошли бы вы туда, куда Макар телят не гонял! — взрывается наконец Гаврила Трофимчик и исчезает где-то на своем дворе.

Плотники, кажется, и не очень торопятся, но дело идет как по маслу: стены раскиданы до последнего венца, выкопаны боковые шула, выкорчеваны из земли дубовые опоры. Нетронутым остался только глиняный ток, но он, понятно, лысому Глебу не нужен. Теперь строители грузят бревна на телеги, и длинный поезд с Гавриловым гумном медленно ползет по деревенскому проселку к колхозной ферме. На гумнище легкий ветерок поднимает пыль, мелкий мусор и щебень, сметает с гладкого, как стекло, тока перья и пух. Растерявшиеся ласточки носятся над головами людей, испуганно верещат, им, бедным, непонятно, куда делись их теплые гнезда вместе с таким большим и уютным гумном? Разруха на Гавриловом дворе, кажется, меньше всего волнует серых воробьев: обсыпали кусты малинника, что вырос когда-то на меже, и сидят спокойно, хотя и в их чириканье изредка слышатся нотки тревоги.

Пригуменье завалено досками, жердями, кучами гнилой соломы, всяческим барахлом. Степан Олифер постоял, потоптался среди людей и решил идти домой. Не его дело жалеть Гаврилу Трофимчика: хотел оказаться хитрее всех, так на тебе — остался, браток, без гумна. Перед уходом еще раз окинул взглядом опустевшее чужое пригуменье и удивился: нечто знакомое мелькнуло в глазах. Ромашки! Заполонили всю площадь, и здесь они даже более густые, чем вокруг его блестящего валуна. Дай бог памяти: там с утра была

гостеприимно раскрыта Тофилина калитка! Это — калитка, а что уж говорить про кухонный стол, застланный скатертью?

— Лыкни, Степанка, еще хоть чарочку.

— И лыкну, Тофилька. Но скажу: слабая у тебя самогонка. Вода!

— У меня — вода?

— Ага, у тебя вода.

— Вот тебе и раз. Посади свинью за стол, а она и ноги на стол.

— Издеваешься, Тофилька. Век в твою хату не ступлю.

— И не ступай. Очень ты мне нужен.

К таким мелким и незначительным ссорам Малое Село давно привыкло и не обращает внимания как на пустое чудачество. Эти деревенские задиры иначе, наверно, уже и не могут: тихо живут, тихо враждуют и затем так же незаметно мирятся. Назавтра после щедрого ужина Тофиля и Степан Олифер, заскучав в одиночестве, начали искать примирения. Каждый из них взял на себя долю вины, и, забыв о взаимных оскорблениях и обидах, вскоре соседи опять сидели на знаменитых валунах и разговаривали, как будто вчерашней свары вообще не было, а над ними плыли облака, багряные от вечернего солнца, а над околицей под комариный звон стлался нежный белый туман.

— Славная погодка стоит! — набивая в люльку табак, сказал Степан Олифер. — Как сено косить, так лучше и не надо.

— И туман низко стелется, — радовалась Тофиля. — Грибы станут расти. Как комарно, то и грибно.

— Какое тебе «грибно», если дождей нет.

— Ага, сухо в лесу. Но черники много.

— Кому ее собирать?

В один из таких июльских вечеров Тофиля сидела молчаливая и печальная. Как-то виновато поглядывала на соседа и не решалась высказать ему свою жгучую боль. Но все-таки решилась, сказала, что на год или на два поедет к младшей дочери в Корлафинск, и Степан от неожиданности даже подпрыгнул на своем гладком валуне.

— А когда поедешь?

— Скоро, может, через неделю. Дитя у нее появилось. А у самой Гельки здоровья нет. Вот и поеду. Буду смотреть обеих — и ее, и дитя.

— Раз так, то надо ехать, — вздохнул Олифер, и в его глазах блеснули слезы. — Кто Гельке поможет, если не мать?

Прощались они долго и сердечно, понимая, что могут никогда больше не увидеться. С большим мешком на плечах, а еще и с авоськой в одной руке, другой рукой Тофиля утирала красные, заплаканные глаза. Степан Олифер стоял рядом, посреди улицы, и голос его тоже дрожал:

— Поедешь, Тофилька?

— Поеду, Степанка, — виновато улыбнулась она.

Постояла, помолчала и выдавила сквозь слезы:

— Как же ты теперь будешь? Не дай Бог, если что с Маркой, один останешься как пуп.

— Э, проживу как-нибудь, — попытался пошутить он. — Загулялся я на этом свете. Мартин Полозок на три года был моложе меня.

— Не плети дурное! Тебе еще жить да жить, — Тофиля круто повернулась и уже на ходу сказала: — Ну так бывай, Степанка.

— Бывай, Тофилька!

— Жди, я вернусь еще!

После Тофилиного отъезда Степан Олифер вечерами сидел у колодца один, печалился, грустил. Он на глазах постарел, сгорбился, веселые искрин-

ки в глазах погасли, рыжие, прокуренные усы обвисли, и только люлька — большая, тяжелая, с медными ободками на мундштуке, конечно, не изменилась. Валун на другой стороне улицы пустовал. Перед отъездом Тофиля сдала хату в аренду местной школе, а новая молодая учительница, что поселилась в ней, не могла оценить все достоинства громоздкого камня.

— Видишь, как повернулось, — вздыхал Степан Олифер и тихо поругивался сам с собой: — Хай Бог п*а*нам баранує!

Он, пожилой, мудрый человек, хорошо представлял, какая судьба со временем суждена их старым хатам — его и Тофилиной. Сперва они опустеют, потом долго будут стоять с забитыми окнами, потом их хаты, вконец истлевшие, молча, без сожаления разберут на топливо. Напротив один другого, через улицу, останутся лежать эти вечные валуны — плоский и горбатый. Они, конечно, обрастут седым мхом, вокруг поднимется бурьян, чертополох, густая крапива, и около замшелых камней не найдется даже кусочка земли для обычной пахучей ромашки.

Но этим летом ромашки хорошо цвели, цвели долго, пока не началась затяжная жара. Ромашки увяли, и теперь у валунов печально рыжеют их пожухлые, сухие головки.

4

Немилосердная жара, как Божье наказание за тяжкие людские грехи, навалилась с середины лета на Западное Полесье. Утро еще как следует не войдет в силу, еще над трубами малосельских хат вьются струйки белесого дыма, а уже нестерпимо жарко, душно, нечем дышать. С пастбищ, выгоревших и выбитых, голых, как бубен, в хлевы, задрав хвосты, убегают коровы: донимает заедь — все эти кусачие и наглые оводы, слепни, мошка. Порой из-за леса выплывают одинокие серые облака, но они никак не сольются в грозовую тучу, хотя вечерами, когда немного остынет запекшаяся земля, где-то далеко, за Огаревичским болотом, глухо ворчит гром и неспокойно трепещут на горизонте огненные зарницы.

На краю деревни в пересохшей до дна канаве потрескалась затвердевшая корка глея, обмелел около школы глубокий пруд, оголив искривленные, змеевидные корни аира, а грязный брод, что на добрую версту тянется по канаве вдоль Столпищ, теперь можно, не замочившись, перейти в сандалетах. Над суходолами за колхозной фермой, над речкой и луговинами в середине дня висит дрожащее марево, и в разогретом, синеватом воздухе остро слышится горьковатый запах дыма.

Горят леса и торфяники. Что ни день вдалеке то над Кудахой, то над Огаревичским болотом, то уже совсем близко — за Столпищами — взвиваются в небо черные дымные столбы. В давние времена сказали бы, что это в своей подземной огненной кузнице одержимо работает, кует железо бог огня и кузнечного ремесла Жижель, и потому над разогретой землей установилась затяжная жара. Горят леса и торфяники, больше месяца нет дождя. В молодых сосновых лесах и притихших рощах вокруг Имшечка от знойного солнца запеклась черника, захирели лопоухие лисички, что выкинулись было в конце июня. Сушь такая, что достаточно одной искринки, чтобы в смешанном старолесье и хвойном молодняке вспыхнуло неукротимое пламя. Над Малым Селом время от времени, как добрый дух, оглядывая с высоты пожухлые и почерневшие от засухи леса, кружится красный пожарный самолет. Лесные пожары всегда нагоняют на людей страх, и малосельцы с тревогой поглядывают и на самолет, и на далекие зловещие клубы дыма — вот же как разъярился Жижель!

На ржаном каменистом поле, что опускается от Копцов по склону горы едва не до деревенской околицы, трудятся жнеи — в светлых одежках от горячего солнца, в белых косынках. Здесь попытался было пристроиться эмтэ-эсовский комбайн, но при первом же заезде сломал в жатке несколько зубьев и налегке, с пустым бункером, покатил на более свободный от камней Кругляк. Серпы, хорошо назубленные в древенской кузнице — Костусь Танец это тебе не Жижель! — быстро разбежались вдоль пожелтевшей колосистой нивы. Рядом с Федорой Чиркун жнут свои загоны Полежанка и Алена Хомутович, еще дальше низко кланяются земле Тодорка Дрозд и Луцея Подгайская, за ними гнут спины самые молодые здесь жнеи — бывшие трактористки Яня и Нина. Испугавшись, что дочерей не берут замуж, матери силой вырвали их из железного ада, и теперь закоревшие от солярки девичьи руки по крайней мере пахнут хлебом, васильками, горячим продымившимся ветром. Хоть какая, а матерям радость.

Засуха не очень повредила хлебам, и ничего удивительного в этом нет: жара началась, когда рожь уже отцвела. Снопы тугие, тяжелые, только перевязать перевяслом. Жнивье за жнеями уставлено беспорядочными пышными бабками, на диких грушах посреди поля кричит встревоженное воронье. Возможно, стервятников пугает блеск острых серпов, мелькание во ржи белых платочков, неуклонно приближающихся к колючим дичкам. У Федоры Чиркун пересохли губы, от усталости гудят руки и ноги, ноет поясница — разогнуться бы, хоть минуту постоять свободно, но рядом жнет Алена Хомутович, и, признаться, не хочется каждый раз ловить на себе ее виноватый, извиняющийся взгляд. Свадьбу своему прощелыге, что и говорить, она справила по теперешней бедности громкую и шикарную — Попиха еще и сегодня хвалится, какое богатое и щедрое угощение получила из рук свата Костуся Танца. Обида и вина, обида за обманутую дочь, вина за обманщика-сына после Первомая ни разу не встречались так близко, лицом к лицу, глаза в глаза, пожалуй, и сейчас не было бы этого трудного, щемящего душу разговора, если бы не слишком разборчивая бригадирова «коза» отмерила им загоны в разных концах поля.

— Федора, ты все еще злишься на меня? Только при чем тут я? — перестала на минуту жать Алена Хомутович. — Мозги своему Алексею я не смогла вправить. Захотел эту, из дохторов, и хоть кол на голове чеши. Забрал в Могилев и там живет теперь.

— Собака не возвращается туда, где нагадила. Но Бог ему судья, — с облегчением выпрямила спину Федора Чиркун. — Не пропадет моя Ядзюня. И внучек поднимется. Еще я и сама не калека. И здоровье, и сила есть в руках.

— Когда-никогда и я, чем смогу, буду помогать.

— Не надо, Алена. Я не нищенка.

— Федора, а разве я не говорила тебе: пускай идет Ядзюня за моего Ваньку, — навострила уши любопытная, горластая Полежанка. — Хлопец мой не лодырь, вон сколько жита зарабатывает каждое лето.

— Да разве я была против? Слово сказала плохое про твоего Ваньку?

— Не хвалилась бы, Зося, своим шалопутом, — отозвалась с соседнего загона Тодорка Дрозд. — Моя Манька не сказать, что красуня, а все равно я ее не отдала б за твоего выпивоху.

— Ты видела, как он пьет? Ты видела?

— Видела, не раз. Идет — чуть на ногах держится. И еще, говорят, хлебом в горелку макает.

— Замолчите! — подошла к ним Луцея Подгайская. — Сейчас начнется свара на все поле.

Поссориться, а то и схватиться за волосы причина есть, и не одна, но нет уже времени. С пастбища гонят стадо, надо скорее бежать домой — доить коров, кормить поросят да и самим не повредит похлебать чего-нибудь жидкого. Про обед, как и обычно в будние дни, очень кстати напомнила и Круговичская кирпичня. Резкий, захлебывающийся гудок перекатился через лес и, удвоенный эхом, висит над головами, закладывая жнеям уши. На диких грушах громче закричало воронье, вдоль поля ржи не поблескивают острые серпы: полдень и для них полдень. Гудок как начался, так и увял, растворился в млеющих перелесках. У подножья горы, над околицей, еще долго дрожит мглистый, словно напитавшийся синькой, воздух.

Однако в небе с редкими белыми облаками снова нет тишины и покоя: из-за Столпищ стремительно вылетел красный «кукурузник» и, тарахтя, направляется к Горской. От его нарастающего рева исходит и вызывает страх некая угроза, Федора Чиркун, недоумевая, оглянулась и даже охнула: вот напасть! Вдали, между ее и Полозковой хатами, там, где торфянистый Имшечек и боровой лесок, поднимается черно-белый столб дыма. Наверно, какой-то бродяга, чтоб у него губы распухли, бросил в лесу окурок. Женщины еще не видят, как сжалась, побелела Федора. Это же так близко — боровой лесок и ее жилище. Упаси Господи, если долетит хоть одна искорка! Однако первый испуг прошел, и уже спокойней она подумала: нечего пока волноваться, сильного ветра нет, а черно-белый столб дыма висит все же далековато от ее усадьбы. И Федора опять услышала близкий гул пожарного самолета.

— Бабы, глядите! — крикнула вдруг испуганная Полежанка. — Человек упал с неба!

Послушайте, что она мелет языком: какой человек, какое небо? Человек не апостол, чтобы спокойно странствовать с облака на облако, а если кто-то там и упал, то, видно, таков уж неудачник и бестолковщина. Женщины, посмотрев вверх, успели все же заметить, как от самолета отделилась серая точка и в то же мгновение над ней резко, с выхлопом, расцвел белый подснежник парашюта. Ветер там, вверху, видно, сильный, гонит парашютиста прямо на Горскую. Перед ним на небольшом расстоянии снижается и трепещет что-то очень яркое, как потом стало ясно — красный вымпел, знак беды, призыв к вниманию. Яркая лента упала где-то в Копцах, а парашютист опустился на ржаное поле, едва не зацепившись стропами за колючую дичку. Коренастый мужчина в синем комбинезоне и летном шлеме с большими очками, пока сбежались люди, уложил парашют в паковочный брезентовый мешок, из планшетки, что висела у него на боку, достал топографическую карту и начал в ней что-то уточнять, сверяясь с местностью.

— Очаг возгорания там! — показал он на столб дыма. — Будем тушить.

Красный «кукурузник» сделал над Горской несколько кругов, покачал на прощание крыльями и исчез за Столпищами, уверенный, что все будет хорошо. В глазах людей, что сбежались поглядеть на чудо со всей деревни, крепыш в синем комбинезоне выглядит не иначе как героем, поскольку испокон веков никто в Малое Село не заявлялся на парашюте. Бабы оставили жатву, забыли и про недоенных коров, и про голодных свиней. Вот кто упал с неба! И даже подумать грешно, что перед ними неудачник и бестолковщина, хотя, разумеется, ходить по облакам и он не умеет. Кое-кому из малосельцев стало неловко и стыдно. Чужой, незнакомый человек прилетел неведомо откуда спасать их добро, а они, местные лежебоки и лодыри, даже не потрудились взглянуть, откуда же, в конце концов, ползет этот черный зловещий дым.

А горел торф на Имшечке, горел боровой лесок рядом с ним, где однажды милиционеры, как зайцев, гоняли по снегу самогонщиков пана Винцуся и пана Бронюся и где Полежанчин Ванька, перетянув дорожку проволокой, в прошлом году, на Яна, спустил с жеребца Алексея Хомутовича. Под командой отважного летчика малосельцы, в основном безусые хлопцы и неугомонные подростки — этим только бы приключение — кинулись тушить лесной пожар.

Кто сбивал пламя еловой лапой, кто засыпал землей дымные кучи сучьев и хвороста, а сам посланник неба затаптывал кирзовыми сапогами тлеющий вереск и хвою. Огонь еще не взялся в полную силу, добрался только до старого пожарища и, не найдя здесь хорошей поживы, начал слабеть. Густо, неукротимо, без пламени дымит Имшечек. Здесь огонь пошел глубоко в торф и теперь будет тлеть, пока спорые дожди не зальют выгоревшие ямы и впадины. Остро пахнет дымом, разогретой смолой. Из Круговичского лесничества запоздало притарахтел гусеничный трактор и большим однолемеховым плугом вспахал пожарище — через широкую и глубокую борозду огонь вряд ли перекинется на уцелевшие боровые недра. Страшно подумать, что было бы, если бы пламя шугануло от Имшечка до Кудахи: там, за Круговичами, уж если бор, так это бор, если роща, то это роща!

Мурзатые как черти, удовлетворенные своей работой, под вечер укротители огня возвращаются в деревню. Малосельцы отмыли пожарника-парашютиста от сажи и пепла, накормили, напоили и спать уложили, а утром эмтээсовской машиной с почетом отправили в Ганцевичи на железнодорожную станцию. По всему видно, в свой летный отряд небесный человек добрался успешно и счастливо, потому что на следующий день над Малым Селом снова кружил красный «кукурузник», совершая развороты как раз в той стороне, где все еще дымит Имшечек. Огонь спрятался от любопытного самолета в глубокое подземелье, и никак его оттуда не выпаришь и не погасишь.

Жара тем временем пошла на спад, но дождей по-прежнему нет. Рожь на Горской давно свезена. Женщины, возможно, и не вспоминали бы смелого парашютиста, что спустился прямо под ноги, если бы не этот горький, надоедливый дым. Тот, кто живет у леса, с дымом ложится спать, с дымом поднимается утром. Если ветер веет с Имшечка, в Федориной хате стоит одуряющий запах горелого торфа и бересты — живой деготь да и только. Но к вонючему дыму, как и ко всему на свете, можно, в конце концов, привыкнуть. Не обращает внимания на примесь гари в воздухе озабоченная Федора Чиркун, не обращает измученная бессоными ночами Ядзюня, а болотце неподалеку дымит и дымит, потому что где-то в подземной огненной кузнице одержимый Жижель и его челядь все никак не прекратят ковать свое проклятое железо.

Утро настает снова дымное, душное и не обещает облегчения, ничего хорошего от него не стоит ждать. На заре, опережая росу, Федора Чиркун подхватилась с кровати, быстренько управилась по хозяйству, чтобы Ядзюня не слишком переутомлялась с неспокойным малышом, а сама побежала на льняное стлище, которым временно, может быть, на месяц, стал широкий выгон за деревней. Лысый Глеб, леший на него, гоняет колхозниц поскорее стлать лен под августовские росы. И правильно, конечно, делает: полежав в холодной росе, лен станет шелковистым и волокнистым. Но какой этим летом лен: прихватила жара, уродился он тонким и слабым. Роса, напротив, крупная, густая. Крупная, как бобы, роса — первая примета, что вскоре похолодает, пойдут дожди.

Незаметно приближается осень. В те годы аисты уже собирались в стаи, и на болотце за Федориной хатой подолгу слышался их печальный прощальный

клекот. Теперь на Имшечке стоит тревожная тишина, лесная болотина затянута прогорклым дымом и холодным утренним туманом. Интересно, где перед отлетом нашли себе приют обиженные малосельские аисты?

Сами по себе чужие проблемы Ядзюню волнуют мало: своих полно. Она стоит на берегу Имшечка в молодом березняке и режет вишневого цвета ветки. Не смешно ли: взялась подмести хату, а нечем: веник вытерся в голень. Есть у Ядзюни и посерьезней печаль: сынок растет сиротой при живом отце, а тут еще этот мерзкий веник. С досадой швырнула остатки веника в кочережник, нашла в ящичке стола тупой нож и выбежала во двор: что-что, а веники вязать мы умеем!

Она стоит в березняке, высматривает самые пышные, самые разлапистые деревца и неожиданно чувствует на себе чей-то любопытный и внимательный взгляд. Испуганно обернулась и увидела, что неподалеку на дорожке нерешительно топчется Ванька Заяц, с топором под мышкой. Не тот Ванька, каким был прежде: поникший, растерянный, с печалью в глазах.

— Ты чего тут шатаешься, людей пугаешь? — пошла в наступление Ядзюня. — И сам чего кислый, как огурец из бочки?

— Это же мать дурная наделала. Бегала, бегала и в военкомат, и в больницу — меня и не взяли в армию, — объяснил свою печаль горемычный Ванька Заяц. — А вчера пришла повестка — осенью надо собираться на службу.

— Так чего у тебя топор, а не винтовка?

— Пока дома, надо запасти мамке дров. Хотя бы воза три. На пожарищах, говорят, дают бесплатно.

— Догонят и дадут.

— Не знаю. Пойду погляжу.

— Подожди! Признайся, ты подстроил, чтобы Лексей Хомутович упал с коня?

— Ну, я! А что?

— Что, что! Ты не Хомутовичу, а мне жизнь сломал.

— Не понимаю. Как сломал?

— Так и сломал! — со злостью выдохнула Ядзюня. — Если б Алексей не свалился с коня, то не разбился бы. Если б не разбился, не попал бы в больницу. Если б не попал в больницу, не снюхался с той черной выжлой и меня не бросил. — На ресницах Ядзюни блеснули слезы. — Теперь понял? А если понял, так топай быстрей в свою армию!

— Не плачь, рыжая! Приду из армии — возьму замуж. И хлопца твоего на свою фамилию перепишу.

— Дурак! Я не по тебе плачу. Мне глаза дым ест.

— А, дым, — вздохнул Ванька Заяц и, не оглядываясь, медленно потащился на свежие пожарища в боровом лесу.

— Ишь, чего захотел! Буду я по нему плакать!

Кривой веник, который с горем пополам, сидя дома на крыльце, связала Ядзюня, еще не утратил свежести и густого березового запаха, когда начались спорые осенние дожди. Сперва долго припаривало, воздух все больше насыщался влагой, и вот однажды огромная пепельная туча, выплыв из-за Огаревичского болота, накрыла целиком Малое Село. Обвальный ливень с громом и молниями вспучил пересохшую запекшуюся землю, напоил пожухлые сады, обмыл с деревьев пыль. После затяжных дождей, что начались следом за долгожданной спасительной грозой, на глазах поправились, зазеленели выпасы, пошел в рост картофель, понемногу ожили деревенские огороды. Затяжная засуха, однако, наделала вреда, ожидался значительный недобор урожая, и, не надеясь на весомый колхозный трудодень, малосельцы невесе-

ло думали, что и этой зимой придется жить впроголодь, не позволяя ничего лишнего ни себе, ни на продажу.

В начале сентября в теплые ночи новолуния в молодых сосняках полезли из земли боровики-правдевики — хоть косой коси, в вересковых зарослях споро прокинулись красноголовики, в сивце вокруг полян и на опушках нашлись жирные маслята, старые пни в мрачных ельниках обсыпались длинноногими опятами. Щедрый сентябрьский лес все же принес людям кое-какое утешение: мало хлеба, мелкая картошка, хилые огурцы, так будет зимой на столе хотя бы вареная капуста с сушеными грибами. На боровины, в дубравы и березовые рощи, забыв неотложные дела, кинулись неисчислимые ряды грибников с пудовыми кошелками и большими, сплетенными из лыка, корзинами. Путь у малосельцев один и тот же: вдоль Копцов, вдоль Имшечка, а там и начинаются самые богатые грибные места. Вот только Имшечек, еще недавно красивый, живописный, теперь не узнать — после летнего пожара он стал словно чужим, незнакомым.

Из почерневшей болотины прогорклый дым уже давно не ползет на Горскую, запоздалые августовские дожди погасили жар в глубоком торфянище. В выгоревших ямах лежат обгоревшие березки, на болотцах пожелтели голубичник и багульник, между пожухлыми вересковыми островками огонь безжалостно уничтожил черноголовку и осоку-резак. В начале весны, если случится бескормица, жать здесь будет нечего. На другой стороне Имшечка, залитого во впадинах дождевой водой, дотла сгорела истлевшая бобровая хатка, только мелкие головешки остались от горбатой плотины, которую когда-то через протоку построили приблудившиеся бобры. Ручей, пересохший в засуху, снова полноводен, и хоть не столь чист, как в минувшие годы, вытекая из протоки, снова неспешно струится в недалекую Кудаху.

Мрачным и неприглядным Имшечек будет до первого снегопада, пока напрямую через гати и броды сюда на святое Введение не притащится расхристанный, босоногий Зюзя. Властелин холода сердито зачмыхает в седую бороду, и декабрьские метели до самой весны спрячут под белым одеялом ужасающую, зловещую черноту лесной болотины.

Перевод с белорусского Олега Ждана.

МИХАСЬ БАШЛАКОВ

Зеленая осень

* * *

Сыну Андрею

Повечерело. Дымкой затянуло.
Скорей бы поезд мой на Терюху.
А жизнь, как скорый поезд, промелькнула…
Когда и как? Поверить не могу.

Что я успел на этом свете белом?
Стихов с десяток, может, написал?..
Ну что же рано так повечерело?
Болит душа… И просится слеза.

Я загрустил по нашей деревеньке,
Я так давно там не был, так давно…
Хочу услышать, как поют ступеньки,
И постучать тихонечко в окно.

Я помню детство, запахи ночные,
И над кострищем — бульбы котелок.
Хоть мир — иной и мы теперь — иные,
Без этого я нынче занемог.

И хоть никто мне там не скажет: «Здрасьте…»,
И старый дом рассыпался в труху,
Но я все жду, что вновь гудок раздастся
И поезд мой помчит на Терюху.

Прокричала сойка

Прокричала сойка,
Звонко, голосисто,
Над осенним лесом
Разогнав покой.
Листик пожелтевший,
Листик золотистый,
Под прощальным солнцем
Светится слезой.

Может быть, дождинка
На листок упала?
Иль с души горчинка
Капнула слезой?
Над осенним лесом
Сойка прокричала…
Ты о чем кричала,
Сойка, надо мной?

Помнишь, как блуждали
Мы осенним бором
И кричала сойка
В сонной тишине?
Мы еще не знали
О прощанье скором,
Но тот день осенний —
Навсегда во мне.

Не щадили годы —
Пройдено немало.
Но я верил — снова
Встретимся с тобой…
Над осенним лесом
Сойка прокричала,
На листок опавший
Капнула слезой…

* * *

Серебристой паутинкой
Уплывает теплый день.
Лист осенний, как пластинка,
Закружился на воде.

Сизый дым над сизой далью
Оседает на межу.
Я на парочку с печалью
Возле Нарочи хожу.

И цветет лиловый вереск
У сосновых берегов.
Воротится лето, верю!
Воротится ли любовь?

Зеленая осень

То заморосило и листья сечет,
То солнце дробится о спелые росы.
Не лето уже… И не осень еще…
Тепло отошло… И не скоро морозы.

Зеленая осень… Такая пора,
Что молодость где-то давно заплутала,
А старость еще у чужого двора,
Но все же торопится… Времени мало.

То желтый листок, то и зелень редка,
Вот так и в душе моей чересполосица:
Смеется, но чаще рыдает строка,
А светлое вовсе на волю не просится.

Зеленая осень… Чернеют дворы.
И запах грибной слышен в свежести утренней,
И влажной иглицею дышат боры…
Полесье, ты нынче еще целомудренней.

И пусть паутинка мне тронет висок,
Я лишь отмахнусь, если сердце влюбленное.
И день еще долог… И полдень высок…
И осень зеленая, осень зеленая.

* * *

Тропинка прервется — пойду к раздорожью,
Туда принесут эту ягоду божью.
Является взору, как праздник великий,
Девчушка с душистым ведром голубики.

Те ягоды пахнут простором и лесом,
Далеким моим босоногим Полесьем.
Сентябрь… Журавлей улетающих крики…
Девчушка с душистым ведром голубики.

Там стёжки мои заросли трын-травою,
Там крыш не видать за густой лебедою.
Бегут по воде поржавелые блики…
Девчушка с душистым ведром голубики.

Стою, зачарован… Не сдвинуться с места —
Такой представлялась когда-то невеста.
Моя светловласка с лицом луноликим,
Девчушка с душистым ведром голубики.

* * *

Куда я? В общем, никуда,
Всё шрамы да отметины.
Летят, летят мои года,
Снегами переметены.

Любовный пыл давно утих,
Года скрипят, но катятся.
Так почему от слов твоих
Печаль такая на сердце?

Закат не сделался темней,
Цветы в окне за шторами.
Но почему нам все трудней
Мириться между ссорами?..

Неужто в прошлое ушло
Все то, о чем мечтается?
И парус белый, как крыло,
Качается, качается…

* * *

Белыни… Вёсачка* лесная,
Ушла… Сплыла в небытие.
И только бор печальный знает
Немало былей про нее.

Белыни… Белые березки…
Дымок светился золотой
Над их обителью неброской,
Над жизнью, тихой и святой.

Косили травы, песни пели,
Да так, что бор в ответ звенел.
Добра почти что не имели —
А кто тогда его имел?

Их нет… Их всех поток прощальный
На тишь погоста перенес,
И голос мой еще печальней
Печальной музыки берез.

Перевод с белорусского Анатолия Аврутина.

* * *

На забытом, заросшем погосте,
Где акация в буйном цвету,
Я блуждаю непрошеным гостем,
Раздвигая рукой лебеду.

От деревни осталось три дома,
Да и в тех не найти никого.

---

* Вёсачка *(бел.)* — деревенька.

Над колодцем, мне с детства знакомым,
Серым облаком память плывет.
Наши села погостами стали…
Не война.
В том прогресс виноват.
И сиреневым цветом печали
Отцветает заброшенный сад.

Запустенье…
Какие таблетки
Здесь помогут?..
Болеть голове…
Словно детства забытого метка —
Мяч резиновый в росной траве…

Вольный конь

Вольный конь
Проскакал по дороге,
Вольный конь
Над вечерней рекой…
Нет, я видел:
Не спутаны ноги.
Это был
Вольный конь…
Вольный конь…

Он скакал
Сквозь туманы и росы,
Он летел,
Не изведавший шпор…
Вот и мне б
Хоть однажды
Без воза
На простор улететь,
На простор.

Перевод с белорусского Елизаветы Полеес.

ОЛЬГА ЛИПНИЦКАЯ

Призрак загулявшего поэта

Рассказ

— Как вы сказали?

— Призрак загулявшего поэта. Вы ведь наверняка слышали популярную песню «Ах, какая женщина, мне б такую»? — Его улыбка напоминала рот самодельной куклы с поролоновой головой. Вот так натянут поролон на болванку, обернут старым порванным чулком телесного цвета (это если кукла с европейским лицом, а если с негроидным — то черный чулок используют), и грубым стежком втиснута нитяная прорезь, да так туго, что кажется, будто на лице губы совсем тонкие, а вокруг — только щеки наплывают.

Женщина потянулась за сигаретами. Собеседник, встрепенувшись, запустил руку в карман и извлек зажигалку. Мягко чиркнул и услужливо поднес огонек даме. Та наклонила голову, затянулась медленно, чуть прикрыв глаза, и откинулась на спинку стула.

— Почему же вы думаете, что это про вас? — женщина усмехнулась, разглядывая свою руку с сигаретой. «Руки стареют через вены, которые вздуваются предательски, будто нарочно напоминая о возрасте», — подумала она.

Подняв глаза, женщина уперлась взглядом в лицо собеседника. Тот приблизился почти вплотную и тихо произнес:

— Компетентные люди сообщили.

Воцарилась пауза, и в ушах гулко стал пульсировать бой барабанов. Как-то слишком гулко… Женщина затянулась механически, искоса поглядывая на соседа. Тот отодвинулся, выпрямившись неестественно ровно, и с серьезным выражением продолжил:

— Вы, наверное, подумали сейчас, что я дурак.

Женщина посмотрела пристально, явно пытаясь возразить, но не успела, закашлялась от табачного дыма. Собеседник подскочил, с готовностью протягивая руки, чтобы помочь даме, но та отшатнулась в ужасе, оттолкнув его пухлые пальцы.

— Не спешите! — крикнул он с мольбой.

Кашель затих, и снова бой барабанов жестко стал давить на перепонки. «Все от курения», — мелькнуло у нее в голове.

— А знаете, — собеседник улыбнулся, и от этого щеки плавно перетекли к ушам. — Я ведь вас давно приметил.

Женщина удивленно повела бровью, затянулась в последний раз и затушила остатки сигареты в пепельнице. Надо было что-то заказать, не сидеть же вот так весь вечер с сигаретой за столиком. К тому же, она совсем не рассчитывала на такого внезапного спутника.

Как-то неохотно официант принес меню. «А вот возьму и закажу, — с обидой подумала женщина, — пиццу с осьминогами».

— Заказывайте, я оплачу, — улыбка не сходила с лица собеседника, — я как раз хотел вас угостить.

«Какой же он неприятный», — снова подумала женщина, но пиццу все-таки заказала.

Это был даже не ресторан, так, кафе среднего уровня. Тканые скатерти и бумажные салфетки. Женщина сидела, подперев рукой подбородок, и смотрела в окно. Не потому, что за окном творилось что-то интересное, просто уже не о чем было говорить.

Собеседник тоже молчал, хотя по лицу его угадывалось желание продолжить беседу. Он извлек из кармана груду открыток и стал перекладывать их, словно колоду карт. На одних открытках были изображены виды города, на других — цветы. Собеседник выбрал одну с большой красной розой и начал что-то вдохновенно писать, погрызывая ручку и поднимая глаза в творческом порыве...

Было что-то знакомое в этой его манере, и женщина вдруг вспомнила. Да-да, это был именно он, полоумный поэт, обходящий по вечерам все рестораны города. Подвыпившим посетителям поэт предлагал написать на открытке «стихи для вашей девушки». Совсем недорого, не то за пять, не то за десять тысяч рублей. Сколько это было на теперешние деньги? Трудно сказать, наверное, около пятидесяти центов. «Как же все быстро забывается, — вздохнула женщина, — уже и не вспомнишь того, что было несколько лет назад».

Он изменился с тех пор. Потолстел, даже обрюзг… Завсегдатаи ресторанов хорошо знали поэта. Они встречали его появление громким хохотом и часто приглашали за стол выпить шампанского. А потом кто-нибудь из них вставал и говорил: «Танцуй». И тот танцевал, быстро-быстро крутясь вокруг своей оси под общий хохот. Поэт и сам смеялся, опьяненный вращением, переступал, шатаясь, и под конец падал. Стихи его были под стать танцу, такие же несуразные. А как умел он изобразить вдохновенье! То вверх глаза закатит, то в горячем порыве начнет что-то строчить быстро-быстро, а потом остановится и с поволокой во взгляде посмотрит на героиню своего послания. Он посвящал свои творения незнакомым людям, и для исполнения заказа необходимо было знать лишь имя объекта. Одно только имя, и больше ничего.

Тамара!
Ты непостоянна, свежа
И очень сексуальна!

Вот такую несуразицу выдал он как-то по заказу на день ее рожденья… А все равно было приятно прочесть эти строки под общий хохот и улюлюканье. Кто ж тогда заказал эти стихи? Кажется, Влад…

Женщина опять закурила. «Сигареты портят цвет лица, но преданно делят с тобой одиночество. За это можно их простить».

— Давайте выпьем что-нибудь, — сказал поэт, — вы загрустили, а я не могу видеть, когда женщины грустят, особенно такие красивые, как вы.

Затягиваясь, женщина перевела взгляд на лицо собеседника. Ему показалось, что в глазах блеснули слезы.

Когда захочется наполнить
Пустой сосуд,
Отдавший влагу
На утоление страстей бесплодных,
Не уходи в долину грез,
Остановись и подожди,
Когда обрушится гроза
Целительным дождем.

— По-моему, неплохо, — вздохнула женщина, читая послание на открытке, — а главное — соответствует моменту. — Она улыбнулась как-то неуверенно, и собеседник, польщенный, застенчиво опустил глаза. — А знаете, — добавила женщина, — давайте выпьем вина.

Он жестом подозвал официанта, и вскоре принесли два бокала и бутылку красного вина, а вслед за ними — пиццу.

— Разделим ее на двоих, — предложила женщина, пододвигая блюдо на середину стола.

— В честь нашего знакомства, — произнес поэт, и щеки его плавно переместились к ушам.

«А он не такой уж безобразный», — подумала женщина, делая глоток вина.

— Вы не спросили, как меня зовут, — заметила она.

— Вы тоже, — последовал ответ.

— Вы — поэт, — улыбнулась женщина.

— А вы — моя муза.

Хорошо, пускай будет так. Все-таки приятно оказаться музой, пусть даже полоумного поэта.

— Я ведь не всегда писал стихи на открытках, — снова заговорил поэт, глядя в окно, — в советские времена работал на заводе Вавилова оператором станков с ЧПУ. А теперь… Все выкручиваются как могут. Вот недавно в газете прочел, будто некий Мальцев устраивает магические сеансы. Портрет его тут же опубликовали, а я гляжу — лицо знакомое. Оказывается, вместе на заводе работали. Вот так… А сейчас он — маг и волшебник.

Женщина засмеялась. Вино слегка вскружило голову, и снова стало казаться, будто жизнь только начинается. Она любила это состояние иллюзорной легкости, когда все вокруг выглядит чуть размыто и сглаживаются острые углы. Собеседник уже не вызывал отвращения. Напротив — его речи теперь казались забавными.

— Сегодня вечером я возвращалась с работы в дурном настроении, — улыбнулась женщина. — А теперь мне кажется, будто все проблемы ушли прочь.

Он застенчиво опустил глаза.

— Вот так никогда не знаешь, что ждет тебя через несколько часов, — продолжала она с улыбкой. — Я даже не могла предположить, что наша встреча окажется такой… — она задумалась. (А вдруг он обидится, если она скажет: «забавной»?) — …теплой.

— Теплой?

— Вот именно… теплой.

Он улыбнулся опять застенчиво, и от этого показался ей даже милым.

— Я работаю здесь неподалеку, в одной конторе. — Почему-то ей захотелось поведать о себе. — Скучная монотонная работа. Каждый день одно и то же. Иногда я думаю, что вот так и жизнь пройдет — скучно и монотонно.

— Никогда не думайте так! — горячо возразил поэт. — Вы достойны любви и поклонения.

Женщина вздохнула, как-то очень горько, и снова потянулась за сигаретой: «Любви и поклонения! Какая девушка не мечтала об этом… Мы взрослеем, познаем жизнь и забываем, о чем грезили в юности. Только почему же по-прежнему так хочется любви и поклонения?»

— Если бы такая женщина, как вы, была рядом со мной, — торопливо продолжал собеседник, — я бы никогда ее не обидел. Я был бы ласковым мужем, любил и берег ее. Я бы заботился о детях, обеспечивал семью. Вы не думайте, у меня есть отдельная квартира. Я живу там один. Иногда ко мне

приходит мама, чтобы прибрать и приготовить обед. — Он улыбнулся, неуверенно глядя на нее исподлобья.

Женщина не испугалась. Ей захотелось заплакать, потому что никто не говорил ей таких слов. Когда-то она мечтала услышать их от любимого мужчины, но так и не дождалась. А теперь какой-то полоумный поэт говорит ей эти слова.

— Вы совсем ничего не пьете, — тихо сказала она.

— Я сейчас на диете, — ответил поэт с улыбкой, — хочу сбросить пару килограммчиков, чтобы вам понравиться.

Она улыбнулась. «С возрастом начинаешь ценить совершенно другие вещи, о которых даже не задумываешься в юности».

— В первый раз вижу человека, который ничего не пьет, потому что на диете. Обычно люди остаются трезвыми только за рулем.

— А я и есть за рулем, — с улыбкой произнес собеседник, — вон моя машина.

Он указал на синий форд за окном. Уже стемнело, закапал дождь, усиливаясь с каждой минутой. Женщина растерянно поглядела на автомобиль, который в свете фар вспыхивал как-то магически.

— Не волнуйтесь, я отвезу вас домой, — добавил поэт.

Женщина перевела взгляд на лицо собеседника и смотрела теперь удивленно.

— А стихи, оказывается, приносят неплохой доход.

— Так ведь все ж своим трудом, талантом, можно сказать, заработано! — возразил поэт, возвышая голос. — Мне ведь чужого не нужно! Вы сейчас домой отправитесь, спать. А я всю ночь по ресторанам — писать стихи на открытках!

«Нервный он какой-то, — подумала она. — Впрочем, с возрастом все становятся нервными, особенно в наше время».

Снова воцарилась пауза. Вино было выпито, пицца съедена, вечер окончен. Удивительно, что она провела его в компании этого странного человека, не то поэта, не то сумасшедшего. Правда, теперь совсем не хотелось называть его сумасшедшим. Ведь она ехала в его машине, а он сидел за рулем — такой серьезный и трезвый, не то что она сама.

— Можно, я позвоню вам? — спросил поэт на прощанье.

— Звоните на работу, — ответила женщина, диктуя номер.

— До встречи, — сказал он и улыбнулся. Его щеки плавно перетекли к ушам.

Улитки в чесночном соусе… Интересно, сколько же их можно съесть за один раз? Если приготовить много улиток, а ракушки почистить и выложить кругами, вложенными друг в друга, — получится тибетская мандала. В середине, в самой большой ракушке, будет присутствовать Будда, и так легко сосредоточиться на нем, чтобы временно отстраниться от всех тревог и привязанностей.

— Мама, что бы ты сказала, если бы у меня появился странный муж?

Мать напряглась, будто хотела увидеть что-то важное в ее лице.

— То есть, как?

— Ну… Немного не в себе.

— Ты сама-то на себя посмотри. Разве ты — «в себе»?

Любая мать желает счастья своей дочери…

Она встречалась с поэтом уже несколько раз, но так и не узнала, как его зовут. Впрочем, он тоже не называл ее по имени. Зато все время рассказывал

о том, какой он видит свою будущую семью: добрая и ласковая жена, двое детишек, лучше девочка и мальчик, но это не важно, пожилая мама… В квартире у него уже сделан ремонт, в следующий раз он все ей покажет. Значит, в следующий раз он пригласит ее к себе — это уже серьезно.

Давняя подруга позвонила и предложила встретиться. Как раз кстати: нужно хоть с кем-нибудь перетереть последние события. Как же быть дальше?

— Знаешь, он трепетно относится к своей будущей семье, и постоянно говорит о детях. — Она выглядела счастливой, рассказывая об этом.

Подруга слушала внимательно и отчего-то напряглась, почти как мать.

— Послушай, как его зовут? — наконец вымолвила она.

— Представь, я до сих пор не знаю, но про себя называю его поэтом.

— Поэтом? — Она напряглась еще больше. — Не тот ли это поэт, который сочиняет в ресторанах «стихи для вашей девушки»? — Подруга усмехнулась как-то зловеще. А потом засмеялась. Громко. И мурашки пробежали по коже от этого смеха. Крупные муравьи…

— Разве ты с ним знакома?

— Еще бы. Он мне тоже замуж предлагал. — Она продолжала смеяться. — Все происходило примерно по тому же сценарию. Хорошо, хоть хватило ума отказаться.

— Почему?

— Он же идиот! — почти вскрикнула подруга, и глаза ее округлились и стали похожи на рыбьи.

— Ты мне ничего не рассказывала… — промолвила растерянно. Внутри расширялась пустота, росла и падала, текла и снова падала.

— Он же больной, всем предлагает замуж! Выискивает вот таких одиноких дурочек и начинает за ними ухаживать.

— Может быть, все не так жутко, как ты себе вообразила? Откуда ты знаешь, что он больной?

И тогда давняя подруга, с которой была знакома чуть ли не с детского сада, наклонилась так близко, почти вплотную к лицу, и тихим голосом произнесла:

— Компетентные люди сообщили…

Постепенное отстранение от всех тревог и привязанностей, стремление сфокусировать свое сознание и удерживать его в устойчивом состоянии называется концентрацией.

Раковины от улиток нужно наклеивать на картон от центра по кругу. Получится несколько кругов, а в середине — самая крупная ракушка. В ней поселится Будда. Он будет любить меня, потому что Боги все равно меня любят. В этом нет никаких сомнений.

Я чувствую, как что-то тяжелое собирается у меня в центре груди, растет, превращается в тепло и разливается по всему телу…

— Мама, почему все поют про любовь? — спросил пятилетний карапуз, прислушиваясь к музыке, звучавшей в магазине.

— Всем любви не хватает, — вздохнула мать и задумалась, видимо, вспомнив о чем-то важном…

ТАТЬЯНА ДАШКЕВИЧ

Цветок репейника

* * *

Цветок репейника — скромняга, недотрога,
Ему вниманье больно, тяжело.
Вся жизнь его есть ожиданье Бога.
Он с виду мрачен, на душе — светло.

Та девочка зачем его срывает,
К очкам подносит, лепит на пальто,
В сан орденов упрямо воздевает,
Его — который был и есть — ничто?

Вот смят он, брошен под ноги родные,
Смешался с пылью, грохотом дорог.
Неужто пролетели дни земные?
Неужто он уже не одинок?

Перевозчик Гоша

Я расскажу тебе чего попроще,
Такое есть повсюду и везде.
Вот на пароме дремлет перевозчик —
Соломинки застряли в бороде.
Он в кулаке раскуривает «Астру»,
Пыряет грозно в отмели шестом,
Когда к нему его приходит паства
И заполняет дряхленький паром.
Плывет паром, плывет река, как время,
По кругу омывая шар земной.
Несет паром свое живое бремя
В космический предел берестяной.
Здесь в каждом одиноком пассажире
Есть небо, океаны и земля,
Особое понятие о мире
И личное понятие рубля.
Они минуют городской поселок,
Поля картошки, рощу, выпаса…

Поет вослед разбуженный подтелок,
Коровы голосят «на голоса».
Вот поворот — шестом по илу росчерк,
Вот купол проезжают, люд притих.
Перекрестился молча перевозчик,
Ответственный за каждого из них.
Он тощ и хром, как остов колокольни,
Его житье клонится в забытье,
Его жилье — развалины да колья,
Да светлого Георгия копье.
Быть может, есть на свете избы плоше,
Ведутся почуднее мужички,
Ко всем приветлив глупый дядя Гоша:
Улыбка — на гостинцы и тычки.
Плыви, паром, трудись, душа святая,
Любя дурного, доброго любя,
Шестом медовым волны коротая,
Шестом-копьем, точенным для тебя.

Сестра

Светила луна,
Ходила кошка чужая,
Труба коптила дымом чужим,
Нищенка шла от края до края,
Легкая, словно дым.
Она богаче меня душою,
Не говорите мне ничего…
И я не скажу, ничего не открою,
Ничего не скажу чужим.
О чужая, ты ль мне чужая,
Посторонняя мне сестра?
Я иду за тобою от края до края,
А идти мне по краю пора.
Стужа выстудит лживую душу,
Очищая ее канву.
Я твой мир, сестра, не разрушу.
Можно, я в нем хоть миг поживу?
Только страшно, что в этом мире
Ты одинока: лишь небо и ты,
Запоздалые гости в чужой квартире
И упавшие сверху живые цветы.

…О, куда мне уйти от кокетства?
И публичная кротость — тщета.
Где ты, где-то пропавшее детство,
Духа гордого нищета?

Инна

И. П.

Пусть иная, инакая, Инна
В зазеркалье тебя не сведет,
И глазами из ультрамарина
У былого тебя не крадет.

Ей нелюбы красивые сказки,
И она не смиренна, как встарь.
Гордо смотрит она без опаски,
Хоть ее поцелуй, хоть ударь…

То несет, как безумная, бредни,
То сминает, как мякиш, судьбу,
То нацепит цветастый передник,
Одиноко играя в рабу.

Да, она не уронит короны.
Ей соседский смешон говорок.
У инакой иные иконы,
Да и норов — взведенный курок.

Но в холодной дали заоконной
Не она ль, по колени в листве,
Перед осенью, как пред иконой,
Разрыдалась о кровном родстве?

И, вплетая в косички ребенка
Воспитанья железный урок,
Поцелует тихонько гребенку
И обронит: «Прости, ангелок».

Пастух

Сергею Котькало

Переведи круторунное стадо овец
Через мостки голубых нетканых озер.
Плавает в озере черная рыба *слепец*,
Водится также ползучая рыба *позор*.

Там этих рыб и не счесть, чуть вода не кипит…
Рыба-беда, и *разлука*, *обида*, и *боль*.
Этими чудами озеро наше кишит.
Овцы идут, как привязанные, за тобой.

Ты не неволь, не гони их, не то упадут,
Долго их чистить и мыть доведется тогда.

Прячь в голенище подальше ореховый прут
Да поспешай, чтобы вдруг не вздурилась вода.

Это бывает — тогда ничего не сберечь,
Чудища-юдища прямо ползут по земле,
Страшно послушать их потустороннюю речь,
Страшно увидеть их водные рыла во мгле.

Нынче чуть ветрено, знойно, и солнце слепит,
Словно овечки, по берегу — стадо ракит,
Только плеснет в отдалении рыбушка кит,
Чистая рыба, — и в тайный воротится скит.

Транзит

Из Ревеля с улыбкой сфинкса
Летит, как зверь, локомотив.
Простой, как азбука латинская,
В вагоне слышится мотив.

Ничто не чуждо в мире радости,
Никто не вечен под луной…
Курсистка, раздавая сладости,
Звенит, как скрипочка струной.

Сидят: монахиня печальная —
Струятся четки под рукой,
Студент влюбленный и отчаянный
Глядит в учебники с тоской,

Чухонка с малыми ребятами,
Купчишко пьющий из крестьян,
Солдат в шинелишке залатанной,
Холеный подшляхетный пан…

У всех у них одна прародина,
У всех отечество одно,
И счастье им одно — народное
Обещано и отдано…

Там в бой бегут, тряся папахами,
Там — голодом питают плоть…
Молись, печальная монахиня,
Молись — помилует Господь,

Пройдут Германская, Японская,
Пройдет Гражданская война…
Мадонна кроткая чухонская
Совсем останется одна,

Судьба курсистки будет страшною.
Студент поженится с войной.
Купец и шляхтич врукопашную
Сойдутся за его спиной…

Под мины полюшко распахано.
Все полегли бы, да стоят
Неистребимые:
Монахиня
Да парень, стреляный солдат.

Камыш

Когда шумел камыш,
Когда деревья гнулись,
В ночную тьму, как в ад, погружены,
Возлюбленные — помните? — проснулись,
Подавленные, как после войны.

И шла она одна, во мрак из мрака,
И думала, как лучше ей солгать,
Несчастная, как битая собака:
Что скажут ей теперь отец и мать?

Так плакала оставленная дева,
Что жизнь ее давно уже прошла,
Но знают все про гнущиеся древа
И грозный шум ночного камыша.

Так плакала она, что и доныне,
Когда заглянут гости в нашу тишь,
Немного выпьют — вспомнят о рябине,
А много выпьют — запоют:
«Шумел камыш»!

Поэзия

Нет у поэзии ни смерти, ни начала.
Как человек и воздух, кровь и хлеб,
Она жива. И, пела иль молчала,
Всегда была одной из высших треб.

Но как чудн*о*, скромно ее жилище:
Картонный домик, белые листы,
И крошки-буквы, словно птичья пища,
Как жизнь людей и как слеза, просты.

Ты пей ее глубинное дыханье,
Се дар живой от неба и земли,
Прими ее, как нищий — подаянье,
Как эмигрант, родную речь внемли.

Блаженны все рожденные поэты,
Пускай убоги, вздорны и пьяны.
Но, глядя в их трагичные портреты,
Поймешь, что все поэты — спасены.

Жеребенок

Жеребенок, а где твоя мама?
Почему ты пасешься один?
Щиплешь травку у сельского храма,
Колокольчик на шее «динь-динь».
Принесем тебе хлебные корки,
Рафинада, конфет и халвы,
А за лугом, за лесом, за горкой
Мы нарвем тебе вкусной травы.

Но грозится пастух хворостинкой:
— Ох, получите вы у меня!
Не давайте ему ни травинки
И не гладьте по гриве коня!
Чтобы вырос конем жеребенок,
Не ласкайте его, как дитя,
Это вам — жеребец, не ребенок,
Говорю вам о том не шутя.

Смотрит маленький в синее небо,
В небе Божьи лошадки плывут
И, отведав небесного хлеба,
Жеребенка на волю зовут.
Но стоит он у сельского храма,
Колокольчик на шее «динь-динь».
Улетает небесная мама,
И опять он остался один.

* * *

Полотенце на крест надеваю,
Как рубаху на мужа.
Черным платом себя покрываю.
Почему? Почему же?..

У погоста тихонюшка-осень
Милосердия просит.

А в глазах упоительна просинь…
Косит косынька, косит…

Ветер взмыл — с полотенца льняного
Обираю соринки.
Миг один — будто склеились снова
Жизни две половинки.

И распахнута ветром льняная,
На грудине рубаха.
И поет о небесном лесная
Неприметная птаха.

Свеча

Т*е*плится свеча. Горит, вздыхая.
Ты гори, свеча, гори ясней.
Ветер ярый, тихо затихая,
Спорит, спорщик, с маленькою, с ней.

Сосны ветром гнуло и ярило,
Я продрогла на ветру давно,
Только свечка, будто бы ветрило,
Огоньком вскипает все равно.

Вот уж рядом нет тебя, родного.
Зябко, руки некому согреть.
Нет пути и мне, мой друг, иного:
Упереться в землю и гореть.

ВАСИЛИЙ ТКАЧЕВ

Он, или Житейские истории

Рассказ

1

Был обычный будний день, и Он, слегка позавтракав, выходил из квартиры, на крыльце оглядывался по сторонам, словно кого хотел увидеть, затем поправлял старенькую шляпу на голове и шаркал по аллее к торговому центру ОМА. Что обозначали эти буквы, Он не знал, ему это, по правде говоря, и не нужно было: важно совсем другое — важно то, что там глаза разбегались от всего увиденного. Есть, есть на что посмотреть. Музей, да и все тут. Как только побывал Он здесь первый раз в конце минувшего года, так и занемог: не проживет и нескольких дней, как снова его тянет сюда точно магнитом. Неважно, что к этому загадочному и полному самых разнообразных вещей торговому центру почти все подруливают на авто, ему и так было хорошо. Каждому, думал, свое. Где ж на то авто было взять денег, коль работал честно всю жизнь, не брал никогда чужого? А как можно было на зарплату обзавестись автомобилем, Он не знал. Разве что ничего не есть, ходить в одной жилетке? Да и что тогда это будет за жизнь, голодному и оборванному? Нет, обойдется Он и без авто, и, слава Богу, ноги пока служат, не подводят, хоть и возраст солидный — под семьдесят.

Он входил в помещение торгового центра так, как прежде на проходную родного завода, а там — и в свой второй механосборочный цех, где работал до последнего трудового дня фрезеровщиком. На пороге торгового зала кивал головой парням, что следили за входом-выходом, те кивали ему — видать, как старому знакомому, потому что, не секрет, примелькался Он тут. Возможно, кто-то из тех парней и подозревал что-то, потому как и впрямь: разве не каждый день появляется тут этот седой и согбенный, словно прутик лозы, мужчина, но с чем входит, с тем и выходит — с пустыми руками. За ним, не секрет, начинали наблюдать… Он же, в свою очередь, подолгу топтался около образцов покрытий для пола и потолка, иной раз не выдерживал, брал их, крутил перед глазами и так, и этак: шикарная вещь, ничего не скажешь!..

Иной раз Он подходил к людям, увлеченным покупками, завидовал им, а чтоб показать, что и он тут ходит не просто так, а с определенным покупательским интересом, заводил беседу:

— И сколько, коль не секрет, надо этого кафеля для моей кухни?..

Или:

— А не прикупить ли и мне такого лимонада? — Он неумышленно произносил «лимонад» вместо «ламинат», просто последнее слово ему действительно не давалось. — Или, может, завтра что-нибудь еще лучше этого придумают? А? Подождать разве что?..

Ему обычно ничего не отвечали, и Он шел дальше вдоль рядов, где на стеллажах чего только не лежало-стояло, присматривался к покупателям. Люди как люди, а вишь ты, какие счастливые!..

А потом, вволю насмотревшись, Он той же дорогой, разгоняя шляпой ветерок перед лицом, возвращался домой…

2

Заболел бригадир полеводческой бригады, и вместо него временно был назначен Он.

— Поздравь меня, жена! — похвалился дома. — Я — бригадир! Ничего, что и на недолгий срок, но назначил сам председатель не кого-нибудь, а меня. Понимаешь? Думать надо!..

Жена понимала, поздравила. Она гордилась своим мужем, и с той поры, как узнала о его повышении, усвоила привычку, не отдавая, впрочем, себе в том отчета, напускать на себя излишнюю строгость и откровенно стыдиться прежней личной непричастности ко всему, что происходило вокруг.

Назавтра Он по случаю повышения по колхозной службе надел выутюженный, хоть и старенький, но чистый и приличный пиджачок, натянул джинсы, ставшие тесными его городскому сыну, а к сорочке в зеленую полосочку выбрал однотонный красный галстук.

— Ну, как?

Жена показала большой палец.

Он удивил всех на правлении колхоза. На него смотрели так, словно впервые увидели. Даже сам председатель, которого, надо признаться, никто никогда при галстуке не видел, разинул рот… Посмотрите, что делается! День при должности человек, а как сразу переменился. Не узнать. А вдруг это совсем и не Он? Так нет же… Он! Посмотрите только, с каким лихорадочным блеском глаза у человека!..

И так получилось, что пока он замещал бригадира, первым приспособил к своей тонкой шее галстук председатель, а потом незаметно и кое-кто еще. Повеселело в помещении конторы, светлее стало. От галстуков, от белых рубах.

…Он возвращался домой усталый, с грязным от пыли и пота лицом, и когда перед ним протарахтел на колесах односельчанин, «тпрукнул» коню, и тот перестал шлепать копытами. Односельчанин подождал, пока Он приблизится к нему.

— Послушай, что я тебе скажу, — задержал односельчанин на и. о. бригадира задиристый взгляд. — А скажу, коли знать хочешь, тебе следующее… Так вот… уйми свою бабу. Угомони. Приструни. Пускай ты временно бригадир, а она — кто? Кто она, позволь спросить? Отставной козы барабанщик? Так?

— Не пойму, что ты хочешь, Петро?

— Командиров, гляжу, развелось, однако. Ну, еду себе… как и всякий раз… Протарахтел возле твоей хаты, значит… А Маруся на всю улицу кричит мне вдогонку:

— Как ты едешь, паразит? Колеса поломаешь!..

Он засмеялся, похлопал по плечу односельчанина, пообещал:

— Езжай дальше, не бери в голову. А с женой своей, бригадиршей, я обязательно разберусь. Не беспокойся. Я ей покажу, как твои личные колеса жалеть.

— Так в том-то и дело! Были б хоть колхозные!..

Но, вернувшись домой, Он ничего жене не сказал, а от души поужинал и лег спать. Засыпая, жалел, что завтра Он уже не бригадир, а жена — не бригадирша.

3

Он жил один в двухкомнатной квартире, на третьем этаже в нашем подъезде. Лично мне не доводилось встречать полковника в отставке, пусть и одинокого, но в менее габаритном жилье. Он жил скромно, с соседями держался на расстоянии, первым никогда не здоровался, а когда кто-нибудь желал ему «доброго дня», лениво кивал головой или отвечал коротко и тихо.

Я вот думаю подчас: а видел ли кто его в военной форме? Я — нет. Откуда же тогда знаю, что Он полковник? Про это мне рассказал земляк, который также живет в нашем городе и как-то столкнулся с ним лицом к лицу.

— Я служил с ним в Средней Азии, Он был моим начальником, — слушал я земляка. — Я — корреспондент дивизионной газеты, Он — начальник политического отдела, молодой полковник, большой любитель художественной литературы. Читал даже на учениях, когда выдавалась свободная минута, а чаще — в своем рабочем кабинете. И делал, заметь, это весьма хитро. Книга всегда лежала в ящике стола, и если кто из подчиненных заглядывал к нему, Он тянул руку навстречу, а животом тем временем закрывал ящик. Шито-крыто. Но ничто не остается незамеченным. Раскусили и начполита. Раскусить раскусили, а что ты ему сделаешь?.. Только не про чтение мне вспомнилось, это все мелочи — чтение книг в рабочее время. Как-то вызывает он меня и приказывает: «Едем через полчаса в Теджен, собирайся и бери с собой фотокорреспондента». Теджен, где стоял учебный танковый полк, был далековато даже по меркам безлюдной пустыни — около двухсот километров. Ну, едем так едем. Я быстренько собрался, на месте был и фотокорреспондент, рядовой Раджепов, туркмен по национальности, очень веселый и общительный парнишка. Приехали на уазике в танковый полк, начполит оставил нас одних (сами знаете, что делать, не первый день в газете) и приказал ждать его около штаба в семнадцать ноль-ноль.

Мы так и сделали: набрали материала, ждем около штаба полка. Час, другой ждем. А потом я не выдерживаю, интересуюсь у дежурного: а где же наш начальник, где полковник? Дежурный хитро усмехается: мол, чудаки вы или что? Он давно уехал… Я удивился: как это — уехал? Однако удивительного тут оказалось мало. И я, наивный в те времена лейтенант, не мог сразу смекнуть, что зачем ему мы, попутчики, свидетели, когда весь багажник был нашпигован дынями и арбузами, виноградом и рыбой, которой тут, в Каракумском канале, тьма-тьмущая! Но, извините, я и Раджепов не выписывали командировок, поэтому мне пришлось купить билет за свои деньги и солдату. Он же сделал на следующий день вид, что ничего не произошло. Ясное дело, несподручно ему было интересоваться и тем, запаслись ли мы материалом для дивизионки…

Почему сегодня Он живет один и как оказался в нашем городе, земляк не знал.

4

Раньше, когда не было компьютеров, Он заваливал своими рукописями машинистку областной газеты. Та всегда, когда непризнанный писатель приносил очередное произведение, морщилась, мычала себе под нос что-то невнятное, но, хоть и была недовольна очередным визитом к ней этого творца, не отказывала ему, бралась за работу: двадцать копеек за страницу в те времена тоже были деньги. А у него страниц набиралось порядочно. Машинистка искренне жалела жену непризнанного писателя: сколько же денег тот выбрасывал на ветер! Кому, кому нужна эта писанина? Она же и рядом не

стояла с литературой. Как-то, попервоначалу, машинистка — добрая душа — попыталась отредактировать текст, хоть немного прояснить его, придать привлекательный вид, но лишь нажила себе головную боль. Он не принял ни одной поправки, ни одной, потому что те страницы, в которые она вмешалась, пришлось перепечатать. Разумеется, бесплатно. Хотела сказать тогда непризнанному писателю прямо в глаза: «Да я когда слово Петровичу поправлю, он мне только спасибо говорит. Разве можно сравнить Петровича с тобой?! Его в школах дети проходят. А ты — графоман!..»

А он продолжал писать. Рассылал свои произведения по каким только можно было журналам и издательствам, но ответ получал как под копирку: ваше произведение нас не заинтересовало… А когда появилась возможность издавать книги на собственные деньги, тут и посыпалось — книга за книгой. Он охотно раздавал автографы, приносил свои произведения в библиотеки города, добивался презентаций. Только, познакомившись с написанным, в библиотеках, пряча глаза, отказывали. Он выходил из себя: «Почему другим можно, а мне нет? Что я, хуже их пишу? Буду жаловаться куда надо! Имейте в виду!..»

Ему уже чуть больше за семьдесят, но Он работает. Не пьет, не курит, никому дорогу не переходит, ему и не запрещают. Слесари всегда нужны. Ну, а деньги, заработанные на заводе, по уговору с женой Он тратит на издание своих книг. Жене хватает его пенсии. Он, к удивлению многих, был принят в союз, что придало ему уверенности… Теперь Он мог, прочитав роман известного писателя, в голос заявить: «Разве это роман?!»

Несколько дней назад Он видел такую картину. Около центральной городской библиотеки стоит фургончик и знакомые ему девушки-библиотекарши носят в него тюки книг. Что за акция? Куда их, классиков? Поинтересовался. Ответили не слишком приветливо: на макулатуру, куда же еще!.. Новые книги вытесняют из помещения старые!.. Он удивился: «Таких авторов и на макулатуру? Это же классики». Позже отлегло от сердца: среди классиков Он увидел и свои книги… Когда, наконец, до него дошло, что к чему, Он прослезился.

В тот день добиваться чего-либо от руководства библиотеки у него уже не было ни сил, ни желания. Себе же под нос не уставал повторять одно и то же: «Как это так?..» Он держал на библиотеку затаенную злость.

5

Он был хорошим актером. Был, потому что несколько дней назад в Инете появилась строка с извещением о его смерти… Не верилось, поскольку мужчина еще в самом расцвете. Позвонил знакомому в Минск, решившись поинтересоваться, что же случилось с человеком. Тот сказал коротко, как отрезал: спился. Спился? И что, из-за нее, водки, умер? В это не хотелось верить: он же совсем не брал в рот, насколько я знал, этой отравы. Ни капли. И вдруг… Скончался от водки?

В этом провинциальном театре Он появился в начале нового сезона, сразу влился в коллектив, а вскоре почти весь репертуар висел на нем. Талант есть талант. Злые языки, правда, баяли, что в столице Он вообще не был востребован, потому что там таких мастеров сцены хоть отбавляй, а тут, видите ли, стал звездой первой величины. Не трудно было догадаться сплетникам, почему он приехал в провинцию. Тут большого ума не надо, потому что просто так сюда никто не поедет, значит, что-то не сложилось у него, не иначе, набедокурил. А, так он еще и развелся с женой? Тогда понятно… Сбежал от

семьи, сбежал от проблем. Коллеги глубже копать не стали. Да мало ли таких примеров, когда провинция лечила «заблудшие души»?

Актриса Стремкина в театре работала давно, еще с той поры, когда тот был народным коллективом. Потом, когда присвоили театру статус городского, она поступила в художественную академию, училась заочно, а заодно растила вместе с мужем-бизнесменом двоих детей. И… увлеклась актером, который приехал к ним из столицы. Начался роман. Где-где, а в театре такое не утаишь, и вскоре все только и судачили про отношения Стремкиной с Ним. Одни осуждали, мол, и чего ей только надо, дом полная чаша, к тому же дети. Другие понимали Стремкину: ну, полюбила, мало ли с кем такое может быть. Пройдет. Он, к тому же, был и старше Стремкиной лет на пятнадцать. Однако позже, когда отношения между столичным актером и Стремкиной зашли далеко, и тех и других словно бы как кто ужалил. Ей, видите ли, в стольный Минск захотелось, поближе к театральной и киношной богеме.

Театр погрустил-погрустил по двум звездам, да и забыл про них: хватало своих хлопот. Он и Стремкина устроились в один из столичных театров, где также снискали славу. А потом Он запил. Ужасно. Прощай, разумеется, театр. А чуть позже и Стремкина сказала: прощай… Она забрала детей и ушла от мужа на съемную квартиру. Так вот и окончилась их счастливая жизнь. Только мне не понятно одно: как Он мог, зная про свою слабость, от которой его спасало кодирование, не сказать Стремкиной об этом? Почему не предоставил ей выбора? Почему Он, в конце концов, сделал несчастными сразу четырех человек — ее, Стремкину, двоих детей и бывшего мужа? Переоценил себя?

Как бы там ни было, а мне жаль Его. Он был по-настоящему талантливым человеком, ибо не каждому из нас дано делать людей одновременно и счастливыми, и такими несчастными…

Перевод с белорусского Натальи Костюк.

ВАЛЕРИЙ МОСКАЛЕНКО

В стране немудреных историй

Высотник

Средь апельсинов, яблок, соков
В палате, жалуя режим,
Лежал разбившийся высотник,
Как белый кокон, недвижим.

Как одинокая улитка,
Влачащая свой бедный дом,
Страдала грустная улыбка,
Отторгнутая скорбным ртом.

И сам он, панцирем окован,
Следил мучительно, едва,
Как в «телевизоре» оконном
Плескалась влажная листва.

Мятежность утренней природы
На фоне неба с синевой
Была контрастом несвободы
И неподвижности его.

Но каждый день, как дух спасенья,
Являлась юная жена.
Отряхивала прах постельный,
Тиха, задумчива, нежна.

Она уже почти забыла
Его как мужа и отца,
Она теперь его любила
Как драгоценное дитя.

Она была — как символ долга,
Неколебима и чиста,
Как просветленная Мадонна
У ног распятого Христа.

* * *

На миг отступают заботы
Размеренных будничных дней.
Приходит на землю суббота
И радость щемящая с ней.

Куда нам? Конечно, к истокам,
В деревню, в ее тишину!
В страну немудреных историй,
Далекого детства страну.

Ведь где-то нас ждет полустанок,
Который священен для нас.
Он младший братишка тех станций,
Что мы покидаем сейчас.

Мы выйдем. Чуть дрогнут колеса,
От шпал креозотом пахнет.
И мальчик крестьянский с откоса
Приветно кепчонкой махнет.

Вон там, за еловой посадкой —
Дорога. Песчаный бугор.
Как радостно, тихо и сладко…
Разуться — и в детство! Бегом.

В деревне

Я вышел из горницы душной на воздух,
И ночь, словно гулкий костел, зазвучала.
Как свечи, горели под куполом звезды
И тихий мерцающий свет излучали.

В саду под деревьями тени лежали,
Сраженные насмерть дневною истомой.
Жуки, словно пули живые, жужжали,
Бренчали бидоны у ближнего дома.

На стыках далекой железной дороги
Стучал проходящий невидимый поезд.
Скрипели на шляхе крестьянские дроги
Устало корова сопела над пойлом.

На плавных качелях ночного покоя
Земля засыпала и ровно дышала.
Лишь лошадь, теряя на счастье подкову,
За ропщущей рощей разливисто ржала.

Острова Россиян

Средь безбрежной стихии,
Что зовут Океан,
Как частички России —
Острова Россиян.

Острова и атоллы
Благодарно здесь названы
В честь Барклая-де-Толли,
Крузенштерна и Лазарева.

Бьет волна океанская
С голубыми медузами
У атоллов Волконского,
Витгенштейна, Кутузова.

Океана волнение —
Словно дань уважения
Генералам двенадцатого
И героям Сенатской.

На закате светило,
Разрастаясь меж пальмами,
Освещает святыни
Багровеющим пламенем.

Дед

Волнуюсь я, встречая стариков,
Мне кажется, что я встречаю деда,
В 37-м упрятанного где-то
Преступно, недоступно, далеко.
А ведь он был. Висит в его дому портрет,
Которому я с детства отвечаю,
О том, что ложь от правды отличаю,
И верю: невиновен был мой дед.
Бредет старик с котомкой за спиной,
И пусть я знаю: дед давно в могиле,
Но я бегу. А вы стоять могли бы?
Я к бабушке бегу своей святой.
Я женщину хочу оповестить,
Что муж вернулся после долгих странствий.
О женщин белорусских постоянство,
Способное сквозь годы им светить.
А бабушка? Глаза ее темны.
Она мне терпеливо разъясняет,
Что я ошибся, я встревожен снами:
Доносчики выходят из тюрьмы.

Юг

Петух кричит над головой,
С гудками споря,
И я иду, почти нагой,
Туда, где море.

Где пароход, соперник, шут,
Кричит за молом,
И солнца белый парашют
Кипит над морем.

Где красной раковины рог
У уха Майи —
Как репродуктор тех миров,
Что мы не знаем.

* * *

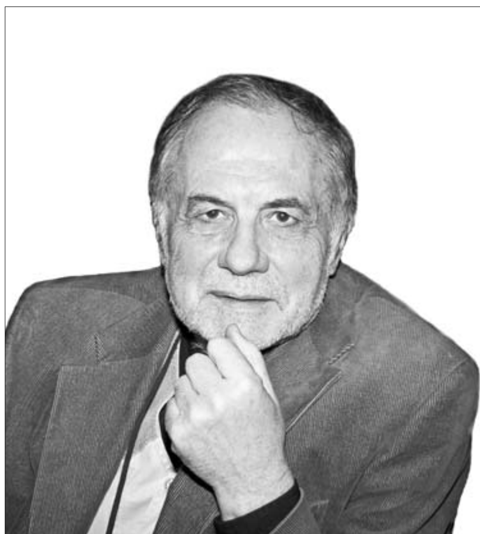
Живу у моря. Слушаю в ночи
Дыханье волн и шелест мокрой гальки,
Ловлю звезды полуночной миганье,
Вонзившей в море яркие лучи.

Проснулось что-то древнее во мне.
Анахорет. Изгнанник добровольный,
Я душным городам сказал: довольно!
И вот живу у моря. В тишине.

И кажется, что это — навсегда:
Моя измена городу — святая,
Как святы эта хижина простая,
Молитва волн и вечная звезда.

Но иногда опомнишься. Сквозь ночь
К тебе маяк отчаянно взывает,
Как будто город твой враги взрывают
И в силах только ты ему помочь…

Мысли вслух



Вчитываясь в пьесы великого поэта, драматурга, философа, мне, как режиссеру, показалось, что они пропущены через сердце и масштабный разум поэта. Его сердце впитало в себя все человеческие боли, страдания, а разум пытался понять, что заставляет человека не выполнять законов, ниспосланных от Бога. И поэтому все пьесы страстные по чувству и масштабные по мысли. Они захватывают своим сюжетом, с дерзкими, порой парадоксальными диалогами, стремительным потоком развивается действие и заставляет меня ощутить проблему, которую поэт вразумительно пытается поставить перед человечеством.

В пьесах Джавида также есть мятущийся, наделенный сильными страстями герой-одиночка, который находится в трагической разлуке с обществом и целым миром.

Один за другим в его творчестве возникают образы, навеянные мудростью Древнего Востока, усвоенные поэтом не только по книгам, но в результате непосредственного наблюдения действительности, которая ее породила.

И вот появляются шедевры мировой драматургии «Шейх-Санан», «Сиявуш», «Хайям», «Дьявол» и др.

По прочтении этих пьес появилось неимоверное желание поставить спектакль о величии человека, его духовных возможностях сотворить на Земле не только материальные блага, но и божественное слово «Любовь» должно стать движущей силой прогресса человечества… Это желание я ощутил в сердце поэта, но Джавид видит, как в человеке возникают взрывная сила разрушения, ненависть, злоба, убийство, стремление любым способом захватить власть и быть повелителем темных сил. 1918 год — год создания «Иблиса», был во многом навеян событиями «злой эпохи». Это конец мировой войны, разобщенность наций, всеобщее отчуждение, и пьеса стала итогом этого дьявольского шабаша.

Орудья сотрясают мир. То ль Судный день.
То ль адский пир.
Снарядов бесконечный град
сулит планете вечный ад.

Кто же может противостоять этому миру хаоса, насилия, злобы? Молодой человек глубоко потрясен катаклизмами своей эпохи. Он не хочет быть разрушителем, ему надо знать, где же истина и как найти свое место в этом мире отчаяния и потрясений.

Он кричит в пространство Вселенной.

...Как стонет Земля моя. О боже,
из этих злосчастных сетей
не вырваться мне. Беда!.. Быть может,
есть смысл в созиданье людей,
но в дьяволе что за нужда?

И мне видится, что в тишине появляется странный человек с горящим и пронзительным взглядом и выдает себя за дьявола. Он пытается убедить Арифа, что у него только один путь, чтобы выжить в эту злосчастную эпоху — подчиниться дьяволу, стать его орудием, рабом, отдать душу свою, а взамен он получит много золота и оружие.

Сила пера Джавида не только в монологах, но в значительной степени в создании диалога, порой доходящего до иронии, а иногда до непримиримости и больших страстей. Как тонко, как психологически достоверно он воссоздает поединок между Дьяволом и Арифом. Ариф категорически отказывается от всех предложений Дьявола, он возмущен и хочет скорее избавиться от этого наваждения.

Дьявол, наоборот, терпелив, ироничен и выжидает удобный момент для победы. У великого Джавида почти все герои наделены неимоверной страстью, их речь порывиста, и от любого события они возгораются, словно пламя. Иногда быстро меняют свое решение. Как пример: Ариф с пылкой страстью уверяет девушку Хавер в своей вечной любви. Но вдруг появляется Рена, его соседка, она ищет убийцу своего деда. Ариф так же страстно пытается ей помочь, он уходит с ней, покинув свою возлюбленную. Вот такие полярные состояния у многих героев пьес Джавида. И чаще всего не разум, не дух побеждает, а побеждает неразумная жажда, которую надо немедленно удовлетворить, и вот тогда все действие подчиняется только удовлетворению этой страсти. Дьявол хорошо изучил природу человеческой психологии. И вот Ариф заколебался, он, как говорят, вошел в штопор. Дьявол тут же предлагает свои услуги и одерживает победу.

В каждом человеке сидит дьявол, и как только он выходит наружу, история трагедии повторяется вновь и вновь, различны только масштабы.

Волнение и восхищение охватило меня, когда я вчитывался в поэтические строки пьес, философские размышления великого азербайджанского поэта, драматурга и философа Гусейна Джавида. И когда я узнал, что он был объявлен «врагом народа», сослан в Сибирь и трагически погиб в ГУЛАГе, отчаянье охватило меня. Как? Почему? За что?

Ведь он всю свою жизнь стремился в каждую строчку стиха, в каждый образ своих многочисленных пьес вкладывать единый смысл: человек, не уходи от своего предназначения — быть маленькой планетой, душа которой создает в мировом пространстве великую гармонию. Да, так сотворил этот мир Великий Господь! И этой гармонии и любви жаждала душа Гусейна Джавида.

Борис ЛУЦЕНКО,
народный артист Беларуси.

ГУСЕЙН ДЖАВИД

*Дьявол**

Трагедия в пяти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Д ь я в о л
А н г е л
С т а р и к Ш е й х — седовласый отшельник.
Х а в е р — внучка Старика.
А р и ф — молодой человек, скромно одетый.
В а с и ф — турецкий офицер (младший брат Арифа).
М л а д ш и й о ф и ц е р — товарищ Васифа.
Р е н а — дивной красоты сестра милосердия.
И б н Е м и н — араб, офицер сорока пяти лет.
Р а н е н ы й о ф и ц е р р у с с к о й а р м и и — молодой человек.
Н е г р — денщик Ибн Емина.
П р и з р а к д е д а Р е н ы.
Э л ь х а н — офицер (дезертир и разбойник).
Офицеры, воины, разбойники, танцовщицы (аравитянки), богатыри, призраки, музыканты и другие.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Роскошный зал в арабском стиле. На переднем плане — справа и слева — двери. Несколько окон. Дьявол в одежде слуги. Занят уборкой.

И б н Е м и н
Быстрей, быстрей, не медли, дорогой.
Пойди, найди имама, милый мой.
Пусть брачный мой союз скрепит скорей.

Д ь я в о л
Уж старший офицер ушел, ей-ей...

И б н Е м и н
Как только он вернется, сообщи!

Д ь я в о л
Рена надменна. Что же, трепещи!
Она тебе сумеет дать отпор.

И б н Е м и н
Тебе до этого нет дела...

* Окончание. Начало в № 10, 2010.

Д ь я в о л

Спор
Не буду продолжать я, покорюсь,
Но ты не вынудишь ее вступить в союз,
Коль о насилии узнает власть,
Придется нам хлебнуть с тобою всласть.
Еще есть на тебе огромный грех:
Ты предал государство и войска.

И б н Е м и н
(колеблясь, с дипломатической улыбкой)
Резонные слова! Но нет помех
Тебе моим подручным быть пока.
Как хочешь поступай...
(Уходит.)

Д ь я в о л
Я — Дьявол, что ж,
Творю и разрушаю, тем хорош.

(Появляются Васиф и младший офицер. Пытливо осматривают зал.)

Эй, слушай! Дерзок ты. Вошел незваным в дом.

В а с и ф
(иронически хохоча)
Мы думали — отель, и вы гостите в нем.

Д ь я в о л
А кто владелец? Быстро отвечай!

В а с и ф
Араб Ибн Емин. Не знаешь — вот и знай.

Д ь я в о л
(яростно)
Чего миндальничать! Скорей ступайте вон!

В а с и ф
Глупец, что ты сказал?

М л а д ш и й о ф и ц е р
Оставьте, — ты и он.

(Васифу)
Прошу! Прошу, Аллаха ради,
Скорей гаси ты ненависть во взгляде.
(Отступающему Дьяволу)
Постой ты, не волнуйся, дорогой...

В а с и ф
Подлец! Рена где ныне?

Д ь я в о л
(с иронической ухмылкой)
День-другой,
И вот уже поженятся они,—
Рена и Ибн Емин...

В а с и ф
Из западни
Ее спасти смогу, покуда жив.

Предатель вынудил ее, коварен, лжив.
Не будет этого!

Младший офицер
Хотя безумец горд,
(показывая на Васифа)
Он честен, чист, характером он тверд,
Всех больше любит девушка его.

Дьявол
Шаги! Уйдите, только и всего.
Поздней немного явитесь опять.

Васиф
(товарищу)
Пойдем, ведь выход есть верней, как знать.
Вернемся оба в качестве гостей.
Ведь этот человек, сказать точней,
Мой близкий друг, да-да, мой близкий друг,
Быть может, спорить будет недосуг, —
Уладится.

Младший офицер
(Дьяволу, уходя)
Надежда на тебя,
Иначе сгинет девушка, любя.

Дьявол
(горделиво хохочет — в одиночестве)
И тот, кто угнетает, и тот, кто угнетен,
Все ищут помощи моей — таков закон.

Рена
(входит, непринужденно)
К чему он, этот пир? К чему он, этот зал?
Ибн Емин тебе об этом не сказал?

Дьявол
(хохочет приглушенно)
Не притворяйся, девушка. Знаешь ты о том,
Что будет свадьба, будет пир.
А значит — будет гром!
Замыслил Ибн Емин жениться на тебе.
Он брак ваш освятить велел, покорствуя судьбе.

Рена
Молчи! Не смей! Какая подлость! Стыд!
(Не веря услышанному)
Предательство, оно на лжи стоит,
О, за кого меня он принял? Бред!
Ариф был прав.
(Угрожающе)
Душе покоя нет...
Ариф узнает и поймет тотчас,
Какая сеть опутывает нас.

Уходит. Из левой двери появляется Ариф. Он свежевыбрит.
Увидев удаляющуюся Рену, теряется.

Д ь я в о л
Безумец, слушай, не пойму никак,
Чем объяснить, что ты такой чудак.

А р и ф
(указывая на дверь, в которую вышла Рена)
Вся смелость — от нее, от той звезды,
Которую спасаю от беды.

Д ь я в о л
Какой беды? Поведай, душу мне открыв.

А р и ф
Скажи ей только, что пришел Ариф.
И помоги. И сжалься надо мной.

Д ь я в о л
Я понял. Но что сделаю, родной?
Она доступна только тем — богатым,
Владеющим неисчислимым златом...

А р и ф
Но у меня нет злата, никогда
К нему я не стремился...

Д ь я в о л
(хохочет приглушенно)
Не беда,
Нет злата — есть оружье у тебя.
Убей меня и, девушку любя,
Соединись с ней!..

А р и ф
У меня оружья нет.
Я не злодей, и это не секрет.

Д ь я в о л
(хохочет)
Прекрасно. Понял я. Но с этакой душой
Ты не добьешься девушки. Домой
Иди скорей, себя не изнуряй.
Есть сила золота. Она у власти, знай.
(Ариф в смятении. Дьявол —
с приглушенным хохотом)
О чем задумался, мой друг, во цвете лет?

А р и ф
Да ничего нет у меня, по сути — нет.

Д ь я в о л
Нет ничего? Ну, а душа-то есть?
Отдай мне душу!..

А р и ф
Злобу, силу, лесть
Отвергну я, но душу не отдам.
Пугай меня — не струшу, не отдам.
Арифа берегись! На том стою.
Вручил Аллаху душу я свою.

Д ь я в о л
(в сторону)
О, нерешительное ты, дитя Востока,
Нерассудительное ты, дитя Востока...

А р и ф
(хватает со стола бокал)
Глоток воды, хотя б один глоток...

Д ь я в о л
(наполняя бокал водкой)
На, пей!

А р и ф
(выпивает до половины, морщится)
О ужас! Яд! Огонь! Ожог!

Д ь я в о л
(наливает вино из другой бутылки)
Зато сейчас приятно будет, — пей!

А р и ф
Что это?

Д ь я в о л
Пей! Не спрашивай! Скорей!
Потом узнаешь. Это чудный дар,
Ниспосланный священникам...

А р и ф
(отпив немного, довольный, смотрит на бокал)
Нектар!..
Бальзам!.. Он светел, словно луч зари…
(Допивает)
Рену ты позовешь? Ну, говори...

Д ь я в о л
Ее ты очень любишь?

А р и ф
(достает из кармана тонкий лист бумаги)
Не пытай,
Моей души печальной не смущай...
(Дьявол сжигает бумагу.)
Я с детства полюбил ее.

Д ь я в о л
Идет!
Она — цветок, что день и ночь цветет.

А р и ф
Ах, как она печальна! А глаза...
В них — надвигающаяся гроза.

Р е н а
(входит, держа в руках обрывки бумаги. Увлеченно)
Ариф! Ариф! Зачем пришел сюда?

А р и ф
Не спрашивай меня, мой друг. Беда!
У сердца своего спроси...

Д ь я в о л
В руках
Что за бумажки держишь ты?

Р е н а
На страх
Тому, кто будет ими осужден.
Вину его докажут...

А р и ф
Кто же он,
Предатель жалкий?

Р е н а
Ибн Емин, — лицо
Известное тебе, он подлецом
Достоин зваться...

А р и ф
(окидывая взглядом бумажные обрывки)
Зная это, ты
Молчала... Почему?

Р е н а
От немоты.
Он втайне мне пообещал, что он
Найдет убийцу деда... Лживый сон!
Потом я поняла, что весь он — ложь.
Ничтожество...

А р и ф
(в сторону)
И вскоре ты поймешь,
Что сам убийца он... Дай это мне,
Рена, дай мне...
(Хочет взять у нее бумажные обрывки.)

Р е н а
Пока будь в стороне.
Пока терпи...
(Указывая на Дьявола)
А что же скажет он?..

Д ь я в о л
Отдай ему, он молод и смышлен.
Все сделает, как нужно...

А р и ф
Да, теперь
Наказан будет этот дикий зверь,
Волк бешеный...
*(Берет бумажные листки,
быстро удаляется.)*

Р е н а
(взволнованно)
Он — мало, что подлец,
Коварный он, опаснейший хитрец.

Д ь я в о л
Ты не волнуйся, не оставлю ни за что.
Тебя здесь двое спрашивали...

Р е н а
(прервав его)
Кто?
Они откуда?

Д ь я в о л
Кто? Один из них —
Храбрец, красавец, он у нас возник
Под именем Васифа.

Р е н а
(радостно)
Не хитри!
Ужели это правда? Говори!

Д ь я в о л
Да, правда, правда сущая...
И вот,
Он обещал мне, что сюда придет.

И б н Е м и н
(входит уверенно)
О чем сказала милая Рена?

Д ь я в о л
Не в силах радость скрыть свою она,
Мой господин...

И б н Е м и н
(Дьяволу)
Тобой доволен я,
Мой славный...

Р е н а
(с горькой иронической улыбкой)
Что ж, гримасы бытия
Заставили явиться за больным
И веселиться на балу хмельным.

И б н Е м и н
Цветок мой, нет ли жалости в тебе?
Я весь в заботах о чужой судьбе,
О раненом солдате. Но — гляди,
Я тоже ведь солдат, в моей груди
Есть рана, эта рана глубока.
Пусть сердце рассечет твоя рука,
И ты увидишь въяве, что оно
Кровоточит. Оно обречено.

Р е н а
(печально)
Ты клялся мне — со словом не шути! —
Убийцу деда моего найти
И этим горестной моей помочь судьбе.

Д ь я в о л
Рена, возможно это. И несложно. Вот
Подумай, что поведал я тебе.
Ну, веселись, — ведь этот день пройдет.
Не повторится... Дальше от забот,
Пой, смейся, друг мой...

Входит офицер.

О ф и ц е р
Гости к нам идут…

И б н Е м и н
(Рене)
Ступай, любимая, потом мы тут
Поговорим с тобою по душам.
Пойду навстречу дорогим гостям...
(Идет встречать гостей.)

Д ь я в о л
(Рене)
Не беспокойся, твердо знай: он — мой
Покорный раб, смиренный и немой,
Ступай и жди, а он уже во сне
Разок тебя увидит, верь ты мне...

Иронический хохот. Рена уходит. Появляются Ибн Емин, Васиф, его товарищи и два-три офицера.

И б н Е м и н
(идет впереди, удовлетворенно хохоча)
Пожалуйте! Какой счастливый случай!
*(Представляет гостям Васифа
и младшего офицера)*
Мой друг — Васиф. Не знаю дружбы лучшей!
Давно мы не встречались.
Помогла
Судьба, — мы ныне встретились...

В а с и ф
(Ибн Емину)
Хвала!
Я счастлив, что мы встретились с тобой...
Душа ликует...

И б н Е м и н
Я из боя в бой
Переходил... Когда я воевал,
То нескольких людей я повстречал
Приятных... Это офицер, Васиф,
Он доброволец, — фронт исколесив,
Над миром он зажегся, как звезда,
Что светит, между прочим, мне всегда.

П е р в ы й о ф и ц е р
(полупьян, обращаясь к Ибн Емину)
Какое пиршество! Какой роскошный бал!
Что здесь — мечеть иль, может, карнавал?

В т о р о й о ф и ц е р
Так что же это? Музыкантов нет.
Нет развлечений, наслаждений нет.
Танцоров нет. Ужель на них запрет?

И б н Е м и н
Постой, все будет. Как всему не быть?
Я приказал. Мы будем петь и пить...

Входит офицер.

О ф и ц е р
Танцовщицы ждут знака. Начинать?

И б н Е м и н
Пускай войдут. Пора им танцевать!

П е р в ы й о ф и ц е р
Да, пусть войдут и в несказанный час
По-ангельски пусть услаждают нас.

В т о р о й о ф и ц е р
Монахами пять лет мы были, но
Тоске и скуке кончиться дано.

Входят танцовщицы.

И б н Е м ин
(музыкантам)
Времени не теряйте,
Час наступил, играйте!

П е р в ы й о ф и ц е р
Играйте! Пусть веселью не будет конца,
Пусть вашим звонким струнам вторят сердца!

В т о р о й о ф и ц е р
Играйте, пусть меджлис ликует в этот час,
Пусть встанут мертвецы и пустятся в пляс!

Музыка. Танцовщицы поют и пляшут.

П е с н я
Все твое, человек несмышленый, —
Дни веселья, полета мечты.
Все твое, человек полусонный, —
Солнце, женщины, море, цветы.
Для тебя эти щедрые блага;
Если ты себе вовсе не враг,
Ты не делай неверного шага —
Отрекаться не вздумай от благ.
Жизнь твоя сновиденья короче,
Пой и пей, и от счастья хмелей.
В свою душу отчаянье ночи
Ты впускать — и случайно — не смей!
Сбрось печали несносное бремя,

Наслажденье — вот истинный путь.
Наслаждайся! Пропустишь ты время
И его не сумеешь вернуть.

Входят Ариф и два жандарма.

П е р в ы й ж а н д а р м
Спокойно! Прекратить!

И б н Е м и н
Кто так посмел
К нам обращаться?!

А р и ф
(указывая на Ибн Емина)
Вон он — жив и цел,
Жестокий, кровожадный...

И б н Е м и н
Унижений,
Наветов и клевет и оскорблений
Не потерплю! Доносчики, врали...
(Хочет достать оружие.)

П е р в ы й ж а н д а р м
Мы вас пришли арестовать.
Пошли!
Напрасны злоба, гнев...

А р и ф
Предатель, лжец, —
Известно всем... Ты пойман, наконец.

Ибн Емина уводят. За ним идут Ариф и гости.

В а с и ф
(уходя, младшему офицеру)
Не упусти мгновенья в суете, —
Заветной встречи не дождаться мне.
(Хотят выйти через левую дверь.
Навстречу им — Рена. Васиф — зачарованно)
Рена! Рена! Любимая моя,
Уйдем в благословенные края,
Помедлишь — и тогда предатель тот
Тебя, недолго думая, убьет.

Р е н а
(радостно)
Васиф! Уйдем.
(Колеблясь)
О, невозможно, нет...
Найти убийцу — вот он, мой ответ, —
Пока не найден...

В а си ф
(прерывая ее)
Поспеши, уйдем,
Он будет найден вскорости, потом...

Входит Дьявол.

Д ь я в о л
Рена, не медли — добрый мой совет.

Р е н а
Но мой неотомщенный дед... мой дед…

В а с и ф
Прошу тебя — уйдем, уйдем скорей!
(Уходят.)

Д ь я в о л
Ступай скорее и — не сожалей!

Входит, очень довольный, Ариф.

А р и ф
Злодей, он арестован, наконец.

Д ь я в о л
(приглушенно хохоча)
Умело действовал ты, молодец!

А р и ф
А где Рена? Пусть явится!..

Д ь я в о л
О нет!..
Какой я, право, дам тебе ответ?
Один ее отсюда офицер
Увел...

А р и ф
(потрясенный, яростно)
Увел! Да кто ж он, изувер?..

Д ь я в о л
Не убивайся, дорогой Ариф,
Ты будь благоразумен, терпелив,
И знай: твоя прекрасная Рена —
Пока еще в твоих руках она...

А р и ф
(тревожно)
В какую сторону они ушли?

Д ь я в о л
(показывает — в какую сторону)
Там пальмы финиковые вдали —
Ты видишь, видишь?..

А р и ф
(прерывая его)
Понял. Хватит! В путь!
(Убегает.)

Д ь я в о л
Беги, скорей!
(Иронически хохоча)

Поймешь ты как-нибудь,
Несчастный: вышел на преступный путь.
О, сколько бедствий за тобою вслед
Потянется — конца и краю нет!
(Хохочет.)

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Покои Старика-Шейха, как в первом действии. Шейх задумался. Перебирает четки.

Х а в е р
*(приподнимает повязки на лбу
и на руке раненого офицера)*
Аллаху слава! Справедлив творец.
Все раны зажили твои. Конец!..

Р а н е н ы й о ф и ц е р
Конец? Душевной ране есть предел?
Печалюсь я, — сомненья мой удел.
Как только вспомню я свою семью,
То всей душою — там, в родном краю.
Лишился сна, увы. Покоя нет. А ты?..
Твоя беда глубокий след
Оставила во мне. Во цвете лет
Заботиться ты обо мне должна.
С Арифом ты была разлучена.

Х а в е р
О том не беспокойся ты ничуть.
Совсем не помешал ты мне, забудь.
С Арифом случай нас разъединил.
Судьбе противоречить выше сил.

Появляются два офицера, турки.

С т а р и к
Что ж, здравствуйте!

П е р в ы й о ф и ц е р
Вам уваженье, дед!

В т о р о й о ф и ц е р
А есть у вас вода?.. Привет, привет!

С т а р и к
Конечно, есть. Прошу вас! Холодна.
Вам мигом жажду утолит она.

Старик наливает воду, подносит.
Хавер и раненый офицер — в стороне.

П е р в ы й о ф и ц е р
Жара. Передвигаться нелегко.
От армии мы ныне далеко.
(Вытирает пот, выпивает воду.)

Старик хочет предложить ее и второму офицеру.

В т о р о й о ф и ц е р
Ты, дед, постой, прошу тебя — постой.
(Сам себе наливает воду.)

П е р в ы й о ф и ц е р
(поглядев на раненого)
Старик, скажи, а кто в сторонке той?

С т а р и к
Он пленник, он от армии отстал.

Х а в е р
Он одинок, он ранен, он устал.

В т о р о й о ф и ц е р
Поляк он, что ли? А не русский он?

П е р в ы й о ф и ц е р
Кто знает... Ну, а может быть, шпион?

Р а н е н ы й о ф и ц е р
Простите, я не русский, не поляк
И не шпион. Хотите знать, — вот так:
Я мусульманин. Из Казани я.
Я тюрок — просто пленник бытия,
Равно приемлющий небытиё.

П е р в ы й о ф и ц е р
Когда б ты был — вот мнение мое —
Хоть иноверцем, — все простили б мы.
Но ты злодей, ты порожденье тьмы.
Зачем ты, тюрок, тюрку метил в лоб?
Ты одного заслуживаешь, чтоб
Тебя казнили...

Х а в е р
(тревожно)
О, поверьте мне, —
Безгрешен он...

С т а р и к
Надежен он вполне.
Мой сын, не гневайся и все пойми:
Он только человеком был с людьми.

Р а н е н ы й о ф и ц е р
(горько хохочет)
Как странно! Очень странно! С юных лет
Для нации желал я лишь побед.
И вот — судьба! О гибели моей
Уже пекутся двое сыновей
Народа моего. Но не хочу
Вас утруждать. В тартарары лечу.
*(Достает револьвер,
приставляет его к виску.)*

Х а в е р
О ужас!

В т о р о й о ф и ц е р
(хватает его за руки)
Погоди! Не беспокойся, нет!..
За этим днем грядущей жизни свет
Тебе не виден?

Появляется черный офицер-араб.
Чем-то очень удовлетворенный, хохочет.

П е р в ы й о ф и ц е р
Что случилось, друг?
Какие вести с фронта? Может, вдруг
Победа?

О ф и ц е р - а р а б
(хохочет еще сильнее)
Да, сражениям конец...
Всех совершенных подвигов венец.
Желаемый покой пришел для нас.
Домой идет солдат в счастливый час…

П е р в ы й о ф и ц е р
Ну, как случилось это? Объясни!
(В сторону)
Шакал!

О ф и ц е р - а р а б
Какие наступили дни!
Болгары перешли кордон...
Звезда Турецкая померкла навсегда.
И англичанами кишит Стамбул.
(Все поражены.)

Р а н е н ы й о ф и ц е р
Молчи, предатель! Всех нас обманул.

О ф и ц е р - а р а б
(самодовольно, иронически смеется)
Допустим, замолчу. Но это так!

П е р в ы й о ф и ц е р
Беду накличет, как сова, чужак!

В т о р о й о ф и ц е р
К тому ж он пьян. От возлияний слаб.

Р а н е н ы й о ф и ц е р
(возбужденно, гневно)
Душой и телом, сердцем он — араб.
А очень радуется... Почему?
(После яростного хохота)
Ужели пьян?.. Не верьте вы ему...
Вот мой ответ!

Стреляет в офицера-араба, прямо в сердце.

О ф и ц е р - а р а б
Ах!

Левой рукой закрывает рану, правой достает револьвер,
пытается выстрелить, но — напрасно. В ярости швыряет оружие.
Корчится в муках, последнее издыхание, мертвенный покой.

Р а н е н ы й   о ф и ц е р
Погляди скорей, —
Приходит он в себя? Понять сумей.

С т а р и к
Что сделал ты, сынок?

Р а н е н ы й   о ф и ц е р
Хотел сову
Заставить замолчать...
(Офицерам)
Пока живу,
Коли найдете, что моя вина,
Свой суд творите надо мной сполна.
(Отдает револьвер.)

П е р в ы й   о ф и ц е р
Он очень радовался вести той
И заслужил свинец, — ответ простой.

В т о р о й   о ф и ц е р
(иронически улыбаясь)
Уж больно, что ли, от войны устал...
И отдых получил он... Час настал...

Р а н е н ы й   о ф и ц е р
Нельзя задерживаться нам, уйдем.
И если правду он сказал о том, —
В глаза решимости глядит солдат.
А я, желая смерти, виноват,
Хочу пожить немного...

П е р в ы й   о ф и ц е р
Будем жить, —
Тогда и наш народ не сокрушить.

За сценой исполняют марш.

Если турок поклялся, он
Не пойдет к врагу на поклон,
Он скорей погибнет, чем стон
Из его прорвется груди.
Львы-герои нашей земли
За врагом неотступно шли,
И поблизости, и вдали
Слава их идет впереди.
Бесконечные небеса,
Звезды знамени — наша краса,
Ты, творящая чудеса,
Сила наша, — к победе веди!

В т о р о й   о ф и ц е р
Пойдем, нельзя нам медлить, поскорей!..

Р а н е н ы й   о ф и ц е р
Да будет так! Пойдем под марш, смелей!
(Уходят.)

Старик
(прохожему, показывая на труп)
Постой минутку. Помоги, сынок!..

Хавер
Зазря погиб он. Бедный, одинок.

Старик
Ни у кого нет совести теперь...
Бесчеловечен человек, — поверь...
(Поднимает тело.)

Хавер
(одна)
Все люди дьяволом покорены.
Сошли с ума от дьявольской войны...

Дьявол
(появляется в одежде отшельника; седовлас, бородат; с негромким хохотом)
Сонмы дурных человечьих страстей
Дьявол направит по воле своей.

Появляются Васиф и Рена.

Рена
Аллаха ради, помогите нам,
Несчастья следуют за нами по пятам.

Васиф
(равнодушно)
К чему боязнь!..

Рена
Прошу я, подожди.
Гордыню надо вытрясть из груди, —
Один вот из-за друга-сорванца
Стал жертвой, стал добычею свинца.

Васиф
К любому испытанью я готов.
Не побоюсь я подлеца...

Хавер
Нет слов...
Кто он, предатель низкий?

Рена
О, Хавер,
Не спрашивай, кто этот изувер.
Дай нам убежище...

Входят в покои. Хавер хочет провести их дальше.

Дьявол
Постой! Постой!
И дальше не иди. Не то потом
В трясине этой вязкой и густой

От подозрений ты избавишься с трудом.
И на прямой не выберешься путь...
(Отодвигает циновку. Поднимает дверцу в полу. Рене)
Спустись скорее, дочь, и там побудь!

Рена спускается. Дьявол кладет дверцу на место и снова прикрывает ее циновкой. Берет Васифа за руку, показывает ему на лес вдали.

Ну, а тебе — тот лес невдалеке...

Отходят в сторону. Появляется Ариф. Хавер тянется к нему, но неожиданно и растерянно отступает.

А р и ф
Хавер, ты почему в такой тоске?
Прошу я, на меня ты погляди!
Когда хотел прижать к своей груди,
Зачем безумца испугалась ты?..

Х а в е р
Меня вели любви моей мечты,
Летела я к тебе, но поняла:
У нелюбимых сломаны крыла.
Твоих объятий я не заслужила,
И растерялась я, и отступила.

А р и ф
Ты не вини, не укоряй себя.
Хавер, прости, — я говорю любя.

Х а в е р
Хавер — твоя поклонница всегда,
Но не вернешь ушедшие года.
Ты долго-долго другом был моим,
Моим досугом и трудом моим,
С тобой — все мысли, помыслы — с тобой,
Как тень твоя, брела я за тобой,
Как бабочка, порхала вкруг тебя,
Но вот отвоевала, друг, тебя
Другая женщина, она — жена,
А я оставлена, и потому — грустна.
Забыл, забросил... Отвечай, Ариф,
Не думая... Молчишь, отговорив?..

А р и ф
Молчание подчас душевный крик,
Душевный вопль. Я слушал. Я поник,
Во мне как будто все сокрушено.

Х а в е р
О старике ты не сказал... Старик
Ждет слова твоего...

А р и ф
Так решено!
Молчи! Ариф отправится туда,
Откуда, друг, никто и никогда
Не возвращался. Деду мой привет.

Скажи, Ариф пришел и снова нет
Арифа...
(Хочет уйти.)

Х а в ер
Но куда, скажи, уходишь ты?

А р и ф
В могилу, в царство вечной темноты.

Х а в е р
(подходит к нему)
Не уходи, мой дед сейчас придет,
Ему мы скажем, он придет вот-вот...
(Уходит.)

А р и ф
Нет в том нужды, и знать не знаю я,
Что может ждать он от меня, когда
Стою у пропасти небытия.
(Достает из кармана полбутылки водки.)
Уф! Если в сердце горе и беда,
Вот это помогает все забыть,
И доставляет радость нам — не быть...

Пьет до дна. Швыряет бутылку. Оглядывая все вокруг, замечает револьвер, поднимает, убеждается, что он заряжен. Дьявол, наблюдавший за ним в стороне, довольный, иронически смеется. Ариф приставляет револьвер к виску. Увидев приближающегося Дьявола, теряется.

Д ь я в о л
Да что с тобой?! Как погляжу я — страх.
Какой-то ужас у тебя в глазах.
Загадочное что-то. Между тем,
Заманчивое что-то. Глух и нем
Ты ко всему. Влюблен — наверняка.
Помочь? Ты хочешь? Вот моя рука...
(Намекает на свое могущество)
Храм мудрости...
(Указывая на свой лоб)
Сумеет он помочь...
Да, я помочь тебе, Ариф, не прочь...

А р и ф
Не спрашивай, я много перенес.
Печаль меня терзала — на износ.
Увлекся я красавицей одной,
Кокетлива, нежна она со мной
Была — всегда... Но вот в разгаре дня
Ее вдруг отобрали у меня.

Д ь я в о л
Как странно, друг! Да только что она
Вот здесь была, притом — надежд полна
На помощь, что Ариф окажет ей...

А р и ф
Святой мудрец, да говори прямей,
И не дразни, а можешь, — помоги...

Ах, не достаточно ль моей тоски?!
К чему слова, постылые слова?
Дай мне вкусить ты сладость торжества,
Меня с красавицей соединить,
Чтоб крепко нас одна связала нить...

Д ь я в о л
Стань в сторону и терпеливо жди,
И ты мечту увидишь впереди.
(Входит в покои, отшвыривает в сторону циновку.)

А р и ф
Ее увидеть мне хотя бы раз!

Д ь я в о л
Стой и молчи!
(Открывает дверцу.
Рене, высунувшей голову из подпола)
Отрада моих глаз,
Как ты печальна, как, мой друг, бледна,
Обижена... Скажи, не голодна?..

Р е н а
Пожалуйста, хоть капельку воды...

Д ь я в о л
(берет пустой кувшин)
Прекрасно! Среди этой красоты
Ни капельки воды. Сокройся ты,
Чтобы никто не видел, погляди,
Что там с Хавер...
(Отпускает дверцу, прикрывает ее циновкой.)

А р и ф
(падает к ногам Дьявола, крайне взволнованный)
Что у тебя в груди?
Пророческий огонь иль ровный свет,
Свет ангельский?..

Д ь я в о л
Какой я дам ответ?
Об этой тайне спрашивать не смей,
Особенно сейчас. Сюда скорей!
Но близко здесь не стой!

Ариф нерешительно отступает. Увидев, что Дьявол удалился, приподнимает циновку. В это мгновенье появляется Хавер.

Ариф
(пошатываясь)
Пришла?..

Х а в е р
Пришла...

А р и ф
(пьян, иронически хохоча)
Какая встреча! Сон!

Х а в е р
Что ищешь там? И чем ты увлечен?

А р и ф
Здесь драгоценность прячут. Я хочу
Найти ее. О том и хлопочу.

Х а в е р
Что ни словцо — загадка... Ничего
Там нет...

А р и ф
Не знаешь! Есть там существо,
Красавица в могиле потайной,
Жива звезда, окутанная тьмой,
Сама поэзия... Как хороша она!
Очаровательна!

Х а в е р
Ариф! Полна
Загадок речь твоя... Как изменился ты
Мгновенно! Вдруг! О чем твои мечты?
(Наступает на дверцу, хочет помешать ему.)

А р и ф
Уйди, довольно!

Х а в е р
(гневно)
Должен ты уйти
Из дома этого. Так грубо не шути!
О нет, не уходи, останься, но...
Забудь ее.

А р и ф
(хохочет)
Мне это не дано...

Х а в е р
Нет, нет, я ни за что не отпущу...

А р и ф
По-прежнему упряма...

Х а в е р
Не ищу
Определений. Ты жесток. Уйди!

А р и ф
(кричит)
Назойливая, прочь! Прочь с моего пути!

Х а в е р
Ты, что ли, пьян? Сперва меня убей,
Чтоб не мешала я. Тебе... И — ей...

А р и ф
(яростно, с презрением)
Вон! Уходи! Так я тебе велю...

Х а в е р
Ах, низкий... Я такого не стерплю...

А р и ф
(свирепо набрасывается на Хавер, душит ее, Дьявол злорадно хохочет)
На!.. Вот тебе!.. За все... Вот мой ответ...

Хавер мертва. Ариф укрывает ее циновкой. После раздумий и колебаний приподнимает дверцу.

Р е н а
(подняв голову, удивленно)
Ты?.. Ты, Ариф?..

А р и ф
(берет Рену за руку, помогает ей выйти из подпола)
Ну, выходи на свет!..

Р е н а
(спиной к трупу Хавер)
Где был?..

А р и ф
Сейчас не спрашивай, иди!
Скорей, скорей!.. Что ждет нас впереди?
Ты бросила меня. Но не таков Ариф:
Тебя не бросит он, покуда жив.
Пока Ибн Емин не возвратился, нам
Уйти бы надо...

Р е н а
(показывая на дверцу тайника)
А вернется — там
Он будет, там надежно, хоть темно...

А р и ф
Нет, смерти промедление равно.
Бежать от ужаса...

Оба поспешно удаляются, охваченные тревогой и мукой.

Д ь я в о л
(громко, раскатисто хохоча)
Немедленно бежать,
Чтоб в преступленья новые опять
Ввергать себя... Где б ни скрывались вы,
Хоть в глубине небесной синевы,
Не сможете вы скрыться от меня.
Лицом к лицу, как близкая родня,
Столкнемся мы... Разрозненные, все ж
Едины мы... Наш договор хорош!

И б н Е м и н
(появляется с черным денщиком. Вытирает пот со лба. Выразительно указывая на себя)
Вот человек, чья сильная рука
Повергла в прах могучие войска.

И он же так беспомощен, поверь,
Пред маленькою хитростью теперь...
Безумцев тройка вздумала меня
Арестовать...
(Яростно)
В ночи, при свете дня,
Найду злодеев этих все равно.
Им испытать удар мой суждено...
(Достает из кармана золотые монеты.)
О, чистоган! Могуч он и велик!
(Дьяволу, который хочет уйти)
Послушай, эй! А где же наш старик?

Д ь я в о л
Сейчас придет... Что хочешь приказать?..

И б н Е м и н
Ему я должен многое сказать...
Тотчас его найди...
(Входит в покои. Видит труп Хавер.)
Что вижу я?..
Виденье или сон? Небытия
Печальный лик?..
(Хватает Дьявола, угрожает ему револьвером.)
Без видимых причин,
Кто совершил бы это? Ночи сын,
Кто загубил ее?

Д ь я в о л
(заикаясь)
О господин!
О эффенди! Мне жаль ее. Как быть?
Лишь тот подлец ее мог загубить...

И б н Е м и н
Кто он, предатель и подлец? Кто он?

Д ь я в о л
В Рену, предатель, страстно он влюблен...

И б н Е м и н
Так где ж они?

Д ь я в о л
Сбежали, смылись прочь...
Вот только что... Как провалились в ночь...

И б н Е м и н
Дурная весть мне эта тяжела...

Появляется Старик. Видит труп Хавер.

С т а р и к
Что это?!.. Взгляд мой застилает мгла.
Аллах!.. Аллах! Аллах!!! Что это с ней?..
*(Пораженный увиденным,
растерянно подходит к мертвой Хавер.
Скрестив на груди руки, вопиет дрожащим голосом)*

Ответь, Хавер, свет невозвратных дней,
Ответь, моя чудесная Хавер, —
Кто загубил тебя, прелестная Хавер?
(Обнимает ее, целует.)
Мой день померк, и наступила ночь.
Меня навеки покидают силы, дочь.
Глаза не видят, от людей вдали
В леса стремятся жители земли,
Чтобы не видеть ужас этих лет,
От злобы дальше, дальше от клевет.
Несчастья, от которых мы бежим,
Нагнали нас. Как надобны мы им!
(В ярости, гневно)
Пока царит коварство, до тех пор
И злу, и гнету полный дан простор.
Вселенная, что бойня... Вся — в крови.
Ты эту бойню жизнью не зови.
(Страстно, яростно обращаясь к окружающим)
А вы, так низко павшие? А вы...
Вы, с совестью порвавшие... Молвы
Дурной не избежать вам... Прочь, скорей
Меня оставьте...
Где он, от людей
Упрятанный Аллах?.. Глаза в глаза —
Ведь у меня есть что ему сказать,
Ему — властителю небесных сфер.
(С воплем обращаясь к убитой Хавер)
Дитя мое!.. Чудесная Хавер!

Люди покидают покои. Суровые, опечаленные люди.
Безутешно рыдая, старик дрожащими руками ласкает Хавер,
целует ее угасшие очи, обнимает голову.
Поднимает к небу безумные глаза.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Лесная тропа. Близится закат. Издали доносятся звуки свирели. Из-за деревьев появляются два разбойника — в одежде турецких крестьян. Они вооружены.

П е р в ы й р а з б о й н и к
Судьба, она наказывает нас...
Добычи за день нет. Тяжел наш час.

В т о р о й р а з б о й н и к
У нас полно питанья про запас.
Что суждено, то принесет судьба.

П е р в ы й р а з б о й н и к
Да разве это жизнь! Разбой. Борьба.
Ни дня покоя, ни минуты сна.

В т о р о й р а з б о й н и к
(иронически смеется)
Уж если ты разбойник, то полна
Вся жизнь твоя приятной суеты.

Вдалеке слышен свист.

Первый разбойник
Свистят друзья... Ты слышишь, слышишь ты?

Второй разбойник
(смотрит на дорогу)
Сюда, сюда скорее... Скройтесь тут!
Быстрее отойдите... Вон идут...

Скрываются за деревьями. Появляются Ариф и Рена.

Ариф
Рена, постой!.. Устали мы. Постой!
Проголодались... Лес такой густой!
Здесь посидим немного, отдохнем,
Хоть несколько минут. Пойдем потом...

Садится на пень. Развязывает платок с пищей.

Рена
Мне страшно здесь... Боюсь... Здесь жутко мне…

Ариф
Чего бояться в этой тишине?!

Рена
Ариф, пойдем! Ты говоришь о чем?

За сценой раздается свист, затем выстрел.

Рена
(вздрогнув, тревожно)
Стреляют!.. Кто?..

Ариф
Здесь чабаны кругом...

Рена
Разбойники... Я чувствую — они...

Ариф
(хохочет, достает из кармана револьвер)
Не бойся, лучше на меня взгляни,
Оружие и золото — со мной —
Блестит! Неотразимый свет земной...

Достает горсть золотых монет, кладет в карман.
Из-за деревьев появляются разбойники,
удивленно прислушиваются.

Рена
Откуда это у тебя? Ого!

Ариф
(гордо хохочет)
Все это перешло от одного
Еврея, — был он спутником моим.
Богатый ювелир, судьбой храним,
Попался на пути моем, и я
Лишил его мгновенно бытия,
А проще — задушил...

За сценой слышен саркастический хохот Дьявола.

Р е н а
Мне страшно слов твоих!
Убить из-за монеток золотых?!

А р и ф
(прервав Рену)
Не злодеянье, а отвага... Ты —
Причина этого... Ценою красоты
Добыто золото...

Хочет обнять Рену.

Р е н а
(отходит, сурово глядя на Арифа)
Постой, постой!
Не подходи! Мне чужд поступок твой.
Такая ласка — прочь! — мне не нужна.

Разбойники окружают их.

П е р в ы й р а з б о й н и к
Ты хитрый лис! Зазря тебе дана
Голубушка такая... Ты, наглец,
Ее не заслужил...

Р е н а
Беда! Конец!

А р и ф
Ты не завидуй счастью моему!

Достает оружие. Рена хватает его за руку, не пускает.

П е р в ы й р а з б о й н и к
Ты золото отдай, не то во тьму
Уйдешь...

В т о р о й р а з б о й н и к
(хохочет, с иронией)
Какой отважный!

А р и ф
Кто же вы?..

П е р в ы й р а з б о й н и к
Вопросы глупые... Сверх головы
Мы заняты. Владыки. Короли.
Мы ради справедливости пришли
Сюда. Наш штаб — в лесу. Плати налог!
Иначе унести не сможешь ног...

А р и ф
А человечность где?..

П е р в ы й р а з б о й н и к
Болтать не смей!
И золото отдай, да побыстрей...

А р и ф
(достает несколько золотых монет)
На! Получи-ка и не трогай нас,
Себе так мало я оставил про запас…

Второй разбойник
(приставляя кинжал к груди Арифа)
Все, все отдай!..

Рена
Ах...

Она хочет помешать разбойникам. Первый разбойник хватает ее за руку, отбрасывает в сторону. В этот миг появляется вооруженный Эльхан в черном плаще, наброшенном на плечи, с пышными усами, с черной бородой.

Эльхан
(разбойникам)
Звери выше вас.
Добрее вас. Стыдитесь, подлецы!
Стыдитесь этой девушки! Слепцы,
Не видите?..
(Арифу и Рене)
Вы извините их...
Как волки хищные...
(Раздается свист, затем два выстрела.
Эльхан — разбойникам)
Ну, сей же миг
Проверьте: что там? Где там караул?
Пусть будет зорок! Может быть, уснул?
Добыча попадется — поскорей
Сюда несите... Слушайте, эгей! —
Кто кровь невинную прольет, в того
(указывая на себя: мол, собственноручно)
Отправлю пулю. Только и всего.

Рена
Благодарим... В такой опасный час
Вы так добры — спасли от смерти нас...

Ариф
На вас, я вижу, разума печать.
Да можно ль вас разбойником назвать?
Нет, никогда...

Эльхан
(искренне смеясь)
Вы не ошиблись, нет...
Разбойником я не был, видит свет,
Повстанец я, беглец... Я дезертир...
Вот этот темный лес — мой дом, мой мир.
Пещера — спальня тайная моя.

Ариф
Причина, видно, есть, помыслю я,
Что вы здесь оказались...

Эльхан
Видно, есть.
Один предатель, потерявший честь,
Точней — один арабский офицер,
Еще точнее — жалкий изувер,
Когда его измену я раскрыл,
Казнить меня хотел он...

Выше сил
Терпеть его мне было... Что сказать?
Покинул штаб я...
И — бежать, бежать...
Вот так в разбое дни мои бегут...
(Разбойники приводят невооруженного Ибн Емина с несколькими танцовщицами. Эльхан узнает его)
Поближе подойди ты! Как зовут?

Р е н а
Ах, господин!

Э л ь х а н
(Рене)
Постойте в стороне!
(Ибн Емину)
Кто ты? Как звать?

И б н Е м и н
Ибн Емин…

Э л ь х а н
(Арифу и Рене, с приглушенным смехом)
И во сне
Такое не приснится... Это он
Меня хотел повесить... Испокон
Зверь на охотника бежит...
(Ибн Емину)
Я рад
С тобою встретиться...

И б н Е м и н
(бьет поклоны)
Я виноват,
Эльхан, прости... Прости и пощади!

Э л ь х а н
Что вместо сердца у тебя в груди,
Бездушный хищник?.. Никакой нужды
В твоем раскаянье... Ведь ты есть ты...
(Танцовщицам)
А вы зачем пришли?

П е р в ы й р а з б о й н и к
Пускай, мой бей,
Они попляшут, — радости полней,
Чем пляска, не найти...

Э л ь х а н
О, нет, не я, —
Он жаждет пляски — райского питья.
(Иронически посмеиваясь, берет Ибн Емина за руку, показывает всем)
Смотрите, как задумчив он, тосклив.
Ему повеселее бы мотив!

Танцовщицы пляшут и поют.

П е с н я
Я девушка. Жизнь подарила мне
Мир на земле и мир в голубизне.
Зеленые сады,
Тяжелые плоды,
Веселые ручьи —
Мои, мои, мои!..
Вчера влюбилась я у родника
В красавца-чабана, любовь сладка.
Судьба в печальный час
Разъединила нас...
Текут в разлуке дни, —
Окончатся ль они?
Беспечно я танцую тут и там.
Как бабочка, порхаю по цветам.
Забудь, дитя, забудь
Судьбу свою, свой путь.
День падает во тьму —
Всему конец, всему...

Погромыхивает гром.
Из-за деревьев появляется Дьявол.

Д ь я в о л
(доволен, хохочет)
Прекрасная картина! Мне по нраву...

Э л ь х а н
Кто пропустил тебя?

Д ь я в о л
(гордо скрестив руки на груди)
Кто пропустил? Я сам!

А р и ф
(Эльхану)
Главарь, вожак, что составляет славу
Вселенной всей... Не верю я глазам
Своим... Прошу пожаловать...
(Целует Дьяволу руку.)

Р е н а
(тоже целует руку Дьяволу)
Дороги
Вас утомили.

Д ь я в о л
(негромко смеясь)
Нет, нисколько!.. Нет!
Моря, леса и горные отроги —
Мне не преграда. Я весь белый свет,
Вселенную — скажу вам откровенно —
Лишь захочу — перелечу мгновенно,
Свои расправив крылья...

Э л ь х а н
Кто же ты,
Коль обладаешь этакою силой?

Дьявол

Не силой — мощью... Я из немоты,
Из ничего возник. Весь мир постылый —
Мой враг... И если в этом мире есть
Один соперник, то его Аллахом
Зовут...

(Хохочет)

Я белый свет наполнил страхом,
Повсюду, где гордыня, злоба, лесть,
Там я... Да, я присутствую повсюду,
Где буря, — там я есть, и был, и буду, —
Где страсть, где несогласие, где бой.
Повсюду я — стоящий пред тобой.

Эльхан

Ты — гений. Если б в мифы верил я,
То идолом тебя рискнул назвать я.

Дьявол

(беспечно хохочет)

Не идол я, а сила бытия,
Сокрытая в небытии... Проклятья
Мои убийственны...

Эльхан

Твои слова —
Неразбериха или мешанина.
По виду ты отшельник...

Дьявол

Пусть молва
Меня сочтет за бездны злого сына.
Отшельник на Востоке, я монах —
На Западе. Казню — зовусь судьею.
То я — главарь, вожак, то — вертопрах,
То в папу превращаюсь я порою.
Торгую раем. Если бы Христос
Воскрес, то моего б страшился гнева.
Любой запутанный людьми вопрос,
Любая вера — справа или слева, —
Теории, — все, все известны мне...
То я чабан в гористой стороне,
То я султан, что жаждет только крови,
То я старик, то — захочу я — внове
Юнец, — меняю облик как хочу,
Когда хочу, над всеми хохочу.

Сцена — в полутьме. Гремит гром. Дьявол швыряет прочь плащ, срывает с лица длинную белую бороду. Свет понемногу усиливается. Все потрясены страшным раскатистым хохотом дьявола.

Все

(пораженные, в ужасе отступают)

О страх... О ужас... Что за призрак?..

Эльхан

Нет,
Тревожиться не надо, мой совет.

А р и ф
К нему не приближайся, Дьявол он,
Всех бед причина, ими закален...

Д ь я в о л
(хохоча, Арифу)
О, истеричный сын Востока, ты
Не отличаешь дня от темноты,
Не знаешь — опереться на кого.
На небеса иль, может, на меня...
То ты во мне находишь божество,
То от меня бежишь, как от огня.
Сперва — любовь, а далее — вражда.

Слышится безумный хохот.

Э л ь х а н
Вот это смех!.. Глядите-ка туда!

П е р в ы й р а з б о й н и к
(смотрит на дорогу)
Безумец некий... Человек-беда...

Из-за деревьев появляется старик — дед Хавер,
с непокрытой головой, скорбный, напоминающий Меджнуна.

С т а р и к
Не ведаю, что значит этот свет?
Скажи, где ад, и — получу ответ.
Погасло сердце — я огня хочу.
Хочу рыдать — от горя хохочу.
(После безумного хохота)
Хавер? Кто загубил тебя, Хавер?
Ты умерла — я жив. О изувер!
О низость! О, жестокие сердца.
Убили дочь — оставили отца.

Э л ь х а н
(прервав Старика)
Скажи, какая у тебя беда?
Пойду навстречу, — в чем твоя нужда?
Смогу я отвратить твою беду?

С т а р и к
Я мести жажду, я возмездья жду.

Э л ь х а н
Кого карать? Кому мне отомстить?

С т а р и к
Безумцев кровожадных — сокрушить!
Бандитов беспощадных — сокрушить!
Аллаха — вся огромнейшая рать,
Способна грозный хохот покарать!
(К небу)
Гордишься ты, что справедлив. Скажи,
В чем смысл существованья?.. Не дрожи!
Ответь!

Д ь я в о л
(хохочет)
Не дело — злость. Угомонись!
Он на тебя смотреть не хочет вниз.
Не слышит он тебя. Ты, как дитя,
Не знаешь страха. Он тобой, шутя,
Играет, как игрушкой... То создаст,
А то разрушит, этакий фантаст.
(Хохочет)
Бывает и такое иногда...

Э л ь х а н
Конечно, это выдумка, мечта:
Когда бы не Эльхан я был, а Бог,
Не сотворил бы этих я людей.
А если сотворил бы, то, ей-ей,
Я все бы по-иному сделать смог.
Я вечную бы жизнь им даровал,
Чтоб радовался человек, сиял,
Чтоб счастлив был… Не удалось бы — нет? —
Я б в пепел превратил весь белый свет.
(Хохочет)
Какая польза людям от такой
Безумной жизни?.. Вечный непокой...
Все люди — так сумел бы порешить —
Должны при свете иль в потемках жить,
То ль ангелами, то ль чертями быть.
В богатстве или бедности прожить,
Невеждами иль мудрыми прожить...

Д ь я в о л
(негромко хохочет)
Тебя подводит чувство. Если так
Продлился жизни скучный полумрак,
То всем наскучит жизнь. Во цвете лет
Любой живущий твердо скажет: нет!

С т а р и к
(возбужденно)
О, сильные, вы помогите мне,
Убийцу, палача найдите мне!

Д ь я в о л
А если палача найдут, ты что ж
С ним сделаешь?..

С т а р и к
Скажу я: уничтожь,
Сожги... Когда сожжешь — испепели!

Д ь я в о л
(с ироническим хохотом)
По-моему, — когда б его нашли,
Его простил бы я... Когда б Христос
Был жив, то просто бы решил вопрос:
Сказал бы, чтобы ты его простил.

С т а р и к
Я волком стал. Простить врагу — нет сил.
Прочь человечность! Месть и только месть!..

П р и з р а к Х а в е р
(появляется и тут же исчезает)
Возмездие!

С т а р и к
О, дочь моя! О, честь!
Постой, постой!.. Возьми меня с собой!
(С безумным хохотом следует за ней.
Слышен свист.)

Э л ь х а н
Кто это, — посмотри.

П е р в ы й р а з б о й н и к
(смотрит на дорогу)
Я вижу. Стой!
Еще один джигит...
(Показывает на Ибн Емина)
Враждует с ним.
Он офицер. Не знаю, кем храним...

Появляются Васиф и денщик Ибн Емина с двумя разбойниками.

Э л ь х а н
(Васифу)
Ну подойди-ка ближе!.. Отчего
Ты, злобствуя, преследуешь его?
Не знаешь, где ты?.. Что ж, развей свой сон...
В гнезде разбойников... Ты удивлен?

Р е н а
Скорее отвечай!..

В а с и ф
(Рене)
Убит твой дед
Вот этим кровопийцей...

Р е н а
(Ибн Емину)
Волк!

В а с и ф
(показывая на стоящего рядом солдата)
Секрет
Раскрыл мне этот преданный аскер...
(Достает из кармана два письма.)
Да, письма вот — прямых улик пример.

Р е н а
Ах, ужас...

Э л ь х а н
(с ироническим хохотом)
Раздави, раздавлен будь —
Не все ль равно... Власть силы — вот в чем суть.

Р е н а
*(достает небольшой кинжал,
хочет вонзить его в грудь Ибн Емина)*
Удав проклятый!

Э л ь х а н
(хватает ее за руку)
Не спеши, постой, —
Приятней, если женскою рукой
Врачуют рану. Если же рука
Твоя невинная его убьет,
То слишком будет смерть его мягка,
Блаженствовать он будет, изверг тот.
Ты потерпи. Его погибель ждет.

И б н Е м и н
Мой бей!

Э л ь х а н
(разбойнику)
Пусть замолчит, держи врага!

Ибн Емин уходит в указанный караульным угол. Слышен свист. Четыре разбойника приводят попа, хахама (еврейского священника), иранского шейха, старика в иранской одежде, больную женщину в чадре, калеку-мальчика десяти лет.

Э л ь х а н
(одному из разбойников, приведших их)
Откуда-то они издалека, —
Кто эти люди?

Р а з б о й н и к
Этот — армянин,
Священник — сей почтенный господин
Оружие в Армению возил,
Прикрывшись Библией... Чертовски мил.

Э л ь х а н
(иронически смеется, положив руку ему на плечо)
Отменно! Библией тебе внушен
Такой душеспасительный канон?

С в я щ е н н и к
(крестится)
Ах, если грешен я, прости меня...

Э л ь х а н
Постой, сейчас рассудим в свете дня.
А этот... мрачный... Как зовется он?..

Р а з б о й н и к
А он... из Франции... а он... шпион...
Аравию встревожил всю как есть,
Евреем он назвался, ваша честь,
Священник, кажется, хахам...

Э л ь х а н
(ласкает его затылок, с горьким смехом)
Обманщик, плут,
И этот проповедует Талмуд?

Х а х а м
(падает к ногам Эльхана)
Ах, эффенди!

Э л ь х а н
Встань, прочь — дорогой в ад!..
(Караульному)
Мы поняли — вертлявый дипломат...
А он, что скажет этот черт в чалме?
(Показывает на шейха.)

Р а з б о й н и к
Английский маклер, при своем уме,
В Иране слухи он распространял.

Э л ь х а н
Неужто? И Коран тебе внушал
Такую веру, говори, ходжа!..

Ш е й х
(умоляюще)
Изъела душу мне корысти ржа,
Меня попутал дьявол, он мою
Похитил совесть. Пред тобой стою,
Раскаиваясь...

Д ь я в о л
(яростно хохочет)
Ложь и клевета!
Разжаты злобою его уста.

Ш е й х
(падает на колени)
О, пощадите!..

Э л ь х а н
(отталкивает его)
Хватит! Не кричи!
(Намекая на белую чалму)
Змея белоголовая, молчи!..

Р а з б о й н и к
(винтовкой указывая на мешок, что на плечах шейха)
Тяжелый! Золотом набит мешок...

Д ь я в о л
(хохоча)
Ого! Известно им: богатство — бог...

Б о л ь н а я
(подводя калеку-мальчика к Эльхану)
Аллаха ради, нас ты отпусти,
Наступит ночь, куда во тьме идти...

Р а з б о й н и к
В святую Кербелу идут они,
Она и сын ее больны. Все дни
В дороге...
(Показывает на мальчика с перевязанным носом.)

Этот страшный нос гниет...
(Показывает на стонущую мать.)
Да и сама она — как стонет!.. Вот!

Эльхан
Зачем они так мучают себя?

Разбойник
Надеются на чудеса, скорбя...

Эльхан
Да разве же в Иране нет врача?..

Больная
Есть. Много. Наше горе волоча,
Надеемся на исцеленье...

Эльхан
Да,
Есть исцеленье, у меня всегда
Находится лекарство. Есть простой
И быстрый выход... В стороне постой!..

Дьявол
(удивленно, гневно)
Нет исцеленья-избавленья вам.
От мертвых будет польза мертвецам...

Эльхан
(разбойникам, стоящим вокруг)
Открыть огонь!

Разбойники прицеливаются. Священник крестится, шейх и хахам растерянно смотрят в небо.

Шейх
Аллах!

Больная
(панически)
О, погоди!..

Эльхан
Нет, лучше пуля малая в груди,
Чем эта боль огромная...

Больная
Ах! Ах!

Эльхан
Ну, приготовиться!.. Отбросить страх!
Пли!..

Все
Пощади!..
(Убитые немы.)

Дьявол
(громкий саркастический хохот)
Живущие огнем —
Огнем караются. Отрада — в нем.

Э л ь х а н
(показывает Васифу на труп Ибн Емина)
Когда бы ты за ним не уследил,
Схватить злодея не было бы сил,
И в наши руки не попался б он!
Доволен я тобою, восхищен...
Чего бы от меня ты пожелал?..

Д ь я в о л
(указывает на Рену)
К красавице он этой воспылал
Душою всей...

Э л ь х а н
(Васифу)
Вот ты, а вот она.
Преграда есть? Что ж, будет сметена...

В а с и ф
(подходит к Рене)
Рена, да что с тобой, поведай мне,
В какой ты побывала западне?
Кто спас тебя?

Р е н а
(показывает на Арифа)
Да он перед тобой —
Спаситель мой...

В а с и ф
(пожимает руку Арифу)
Благодарю!..

А р и ф
(отстраняет руку с иронической улыбкой)
Прямой
Мой долг — спасать. Я выполнил свой долг.

В а с и ф
Заслуга! Больше — доблесть! Я умолк
С почтением…

А р и ф
Нет никакой нужды
Благодарить меня. Они тверды,
Мои устои: совесть — это суть
Всего, чем жив. Она дает мне путь.
Кааба совести моей — Рена.
К тому ж любимая моя — она.

Д ь я в о л
(доволен, хохочет; в сторону)
Лейли одна. Меджнунов, вижу, два.

Р е н а
(Васифу, только ему)
Не обращай вниманья на слова.
Безумец он.

В а с и ф
(Арифу)
Что говорить! Рена —
Должна тебе принадлежать она
Иль мне... Ты знай: иного не дано.

А р и ф
(в сторону)
О, если же мне с нею суждено
Расстаться, жизнь не будет мне мила.

В а с и ф
Мне без нее отрадней смерти мгла...
(Достает револьвер.)

Э л ь х а н
Пока ты не волнуйся, дорогой!
Что скажет нам любимая, постой...

Р е н а
(Арифу)
Ты давний мой поклонник...
Ну а он —
(показывая на Васифа)
Сердечный новый друг. Таков закон,
Таков обет, что я дала Творцу:
Тому неведомому храбрецу,
Нашедшему убийцу деда, я
Вручу немедля жребий бытия.
Ему до смерти буду я верна...

Д ь я в о л
(показывая на Васифа)
Ему, ему принадлежит Рена...

А р и ф
(яростно — Дьяволу)
Молчи! Твое решенье ни к чему.
(Рене)
Да не прислушивайся ты к нему!
Я оскорблен. Не потерплю, пока
Сжимает револьвер моя рука.

Д ь я в о л
Ха-ха! За сильным слово!

Р е н а
О, Ариф!

А р и ф
Молчи! Молчи!
(В сторону, с болью, в крайнем возбуждении)
Ах, если бы Васиф
Передо мной явился...
(Глубоко переживая)
Брат мой, брат,

Васиф, приди, тогда не устрашат
Меня судьбы удары. Поспеши!

В а с и ф
(хладнокровно достает револьвер)
Великолепно! Рад от всей души:
Аллах покажет, что нам суждено.

Д ь я в о л
(с саркастическим хохотом, к небу)
Решает небо... Пусть решит оно!

В а с и ф
(в сторону)
Печально мне, что не пришел Ариф.
(Голосом печальным, как стон)
Где ты? Мне этот час тяжел, Ариф!
Кто знает, что готовит мне судьба?..

Д ь я в о л
*(с ироническим хохотом,
в сторону)*
Как странно, что кровавая борьба
Детьми ведется матери одной.
Два палача — два брата. Рай земной!

А р и ф
(поднимая револьвер, разъяренно)
Начнем!

Р е н а
*(пытается их развести,
становится между ними, тревожно)*
Остановитесь!

В а с и ф
Отойди!

А р и ф
Посторонись, уйди и не гляди!

Д ь я в о л
Готовы?.. Раз, два, три...
(Раздаются выстрелы.)

В а си ф
(падает)
Ах!

Д ь я в о л
(Арифу)
Вот глупец!

Р е н а
Васиф! О ужас! О, какой конец!
(Падает на труп Васифа, плачет.)

А р и ф
(растерянно)
Васиф!.. Ужели?..

Д ь я в о л
Точно, он — Васиф...
Твой брат, тот самый, кто, тебя пленив,
Твоею жертвой стал...

А р и ф
(растерянно подходит к трупу Васифа;
движения безумца, прикасающегося к телу убитого им;
в крайнем возбуждении)
Ах, брат мой, брат!
(Обнимает его тело.)
Васиф, очнись и обрати свой взгляд
На брата. Встреча страшная. Страшней
Прощанье это. Встань, Васиф! Родней
Нет никого... Встань, вместе мы уйдем...
Пусть надо мною разразится гром!
(Пытается покончить с собой.)

Р е н а
(останавливает его)
Ариф!

Ариф роняет револьвер. Сперва смотрит на Васифа и в ужасе отступает.
Потом безумными глазами смотрит на Дьявола.

Д ь я в о л
(горделиво-самодовольно хохоча)
Ты некогда стремился воспарить...
Возвыситься. О, молодая прыть!
Гордился этим... Что же ты теперь?
Ее ты ножку лобызал... Как зверь,
Возжаждал, запил, совесть ты презрел,
От правды отвернуться ты успел.
(Указывая в сторону, куда ушел старик)
Ты, внучку горемычного губя,
Миролюбивым называл себя,
Кровопролитие ты проклинал —
Убийцей собственного брата стал.

А р и ф
(разъяренно)
Меня испепелят твои слова...

Звучит мелодия — грустная, хотя и танцевальная.
Солнце начинает закатываться.

Д ь я в о л
Послушай скорбный голос естества!
О чем тот горький голос говорит?
Его послушай!

Из-за деревьев выходят на сцену скелеты, одетые в саваны.
Замедленный танец. Наблюдая этот кратковременный танец,
Ариф в ужасе мечется среди мертвецов. Безумно хохочет. Увидев призрак Хавер,
которая подходит к нему и тут же удаляется, исступленно вопит.

А р и ф

Что за странный вид!
Конец Вселенной — пляшут мертвецы!
Хавер... Васиф... Кошмар!.. Во все концы
Проникли солнца мертвые лучи,
Кровавые, они, как палачи.
И бесконечный танец мертвецов
Да будет завершен в конце концов...

Музыка прекращается. Мертвецы исчезают.

Д ь я в о л

(Раскатисто хохочет. С сарказмом)

Танцует солнце в ярости и в горе.
Танцуют луны, горизонты, зори.
Танцуют музы, красота и нежность.
Танцуют реки, берега, безбрежность.
Танцуют даты, веры и адаты.
Танцуют призраки, как акробаты.
Танцуют беды, радости, веселья.
Танцуют без похмелья и с похмелья.
Танцуют благоденствие с бедою.
Танцуют зло с добром, любовь с враждою.
Танцуют идол и его семья.
Танцует бытие небытия.

Р е н а

Довольно, дьявол, — голос темноты!

В с е

(гневно, Дьяволу)

Всех бедствий и всех зол причина — ты!
Первый разбойник,
Коварств ужасная личина — ты!
Тебе проклятье!

В т о р о й р а з б о й н и к

Дьявола к суду!

В с е

У всех ты, дьявол, сгинешь на виду...
(Со всех сторон рвутся к Дьяволу — наказать его.)

Д ь я в о л

(*то с горделивым, ироническим, то с яростным, устрашающим хохотом)*

Да, дьявол!.. Всякий в мире восхищен
Великим именем. Повсюду звон —
Во славу дьявола. По всей земле —
И в полдень, на свету, и в ночь, во мгле,
Царит он, дьявол... В хижине, в раю,
В трактире, в храме — дьявол. Я стою
Посередине мира... В мою честь —
Почтение и страх, вражда и лесть...
Глупец ничтожный, оскорбишь меня —
И не узнаешь радостного дня.

Ты будешь корчиться в моих когтях,
Пока не превратишься в жалкий прах.
И без меня ведь есть поводыри,
Они могучи, что ни говори.
Кровь извергающие короли,
И шахи, и всесветные врали,
И падкие на женщин и на власть
Политиканы, что умеют красть,
Служители религий, главы сект,
Что за прожектом сочинят прожект,
Чтоб всех разъять и всех разъединить,
Да, да, они вас могут погубить,
Они-то могут уничтожить вас,
А я... Вас покидаю сей же час...
Явившись к вам из тьмы небытия,
В небытие и отправляюсь я.
Что Дьявол? Он
Предательством рожден,
Коварством вознесен...
Что — человек, всех предающий испокон?
Что? — дьявол — он...

С громовым раскатистым хохотом исчезает в подземелье.
Ариф в ярости треплет, рвет на себе волосы и застывает в позе безумца.
Все стоят пораженные.

З а н а в е с

От редакции

В литературе есть тема, которая в разное время захватила воображение около ста тридцати поэтов и писателей с мировым именем. Это художественное осмысление библейского образа падшего ангела. Среди создателей дьяволиады такие корифеи, как Данте Алигьери, Джон Мильтон, Иоганн Гете, Гюстав Флобер, Томас Манн, Бернард Шоу, Михаил Булгаков... Не мог пройти мимо образа исчадия зла на земле и большой азербайджанский поэт и драматург Гусейн Джавид. Только у него демон из одноименной пьесы-трагедии существенно отличается от уже известных литературных воплощений. Он не печален, как у Лермонтова, не скорбен, как у Брема Стокера, не влюблен, как у Жака Казота, не таинственен, как у Марка Твена, не столь всесилен, чтобы спрятать месяц в карман в новогоднюю ночь, как у Гоголя. Демон Гусейна Джавида другой. Он более реален, чем его предтечи, более приближен к жизни. Он словно режиссирует поступки избранных для своего эксперимента и вслух смеется над удачей, когда, попавшись в его сети, люди забывают святые заповеди Бога. Автор пьесы-трагедии исподволь подводит читателя к мысли, что как Бог есть в каждом человеке, так и дьявол снимает в нем определенную «жилплощадь». И они постоянно находятся в борьбе. Экспрессия слова в трагедии «Дьявол» находится в полной гармонии с захватывающим драматургическим конфликтом. Сегодня мы заканчиваем публикацию этого замечательного и вполне современного произведения. Разве не говорит об этом его начало:

Д ь я в о л
(в радостном возбуждении, хохочет)
Беспокойные океаны,
Огнедышащие вулканы.
Кровь течет из всесветной раны.
Люди злобою обуяны?

ДОБРИЦА ЧОСИЧ

Наше распятие[1]

Фрагменты из «Заметок писателя» 1992—1993 годов

31 мая 1992 года

Сегодня выборы в Союзную Скупщину. Решающий день для власти Милошевича. Если не выйдет половина избирателей, он должен сразу же подать в отставку.

У каждого серба есть спасительное для Сербии решение. У каждого, кроме меня. Чтобы выбраться из этой пропасти, я вижу огромные препятствия и трудности. Пессимист «по призванию», теперь я — пессимист от бессилия. Чтобы найти путь к миру и спасению, нужны, действительно, большие перемены строя и государства. А обеспечить эти большие перемены должен тот, кто имеет силы для исторического подвига, а также имеет ясную и достижимую цель.

1 июня 1992 года

Заголовки о санкциях в «*Политике*» меня ужасают.

Немцы требуют санкций еще более строгих, чем те, за которые проголосовал Совет Безопасности. Им недостаточно концлагеря для сербов. Они хотят согнать нас в какой-нибудь бункер, в какую-нибудь отработанную шахту, чтобы мы там и дышали через трубу.

Французы, наши «самые большие друзья», которым мы на Калемегдане поставили памятник с надписью «Мы любим Францию», эти наши «боевые братья» в двух мировых войнах, требуют «тотальных санкций». По-видимому, следует какой-то помпой выкачать у нас воздух, чтобы мы задохнулись. Эти наши «самые большие друзья», может быть, хотят отобрать у нас и кошаву, чтобы этот ветер не приносил нам озон, и тогда мы будем уничтожены в сербской душегубке.

Жак Делор, председатель или секретарь какой-то комиссии Европейского сообщества, убедил пьяного Ельцина, чтобы Россия тоже ввела санкции против Сербии. А со стороны России санкции были введены до голосования. Это та Россия, за которую сербы подняли восстание в июле 1941 года и гибли ради защиты Советского Союза, то есть русского народа, по «ценнику» Гитлера: сто сербов за одного немца! И теперь нам «братская Россия» возвращает долг в соответствии с рекомендациями какого-то французского прохвоста Делора!

И Америка будет самым строжайшим образом соблюдать санкции, введенные против Сербии и Черногории! Буш приказал блокировать все имущество Югославии…

И Великобритания приветствует введение санкций против Сербии…

И Враницкий, президент Австрии, конечно же, приветствует блокаду Сербии с Черногорией. Традиционно, логично, по австро-венгерски!

---

[1] Окончание. Начало в № 12, 2010 г.

А министр иностранных дел Сербии Владислав Ёванович заявляет: «Я не верю в долгосрочность санкций…»

Непристойный обман народа! Глупый оптимизм в общем-то умного человека!

Разве может быть для народа большее несчастье, чем эта его вера в политическую и традиционную дружбу? А такое экзистенциальное несчастье постигло сербов!

Должен ли я и далее считать своим патриотическим долгом заботу о будущем сербского народа?

Должен! Наперекор этому испорченному злому миру!

1 июня 1992 года

Выборы в Союзную Скупщину принесли победу Социалистической партии и Сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Шешелевская консервативная, правая, прочетническая или новочетническая партия оказалась на сильном подъеме. Она будет иметь все большее влияние в политике Сербии. Будет, да и является, основной оппозиционной Милошевичу силой. Демократическая партия не смогла выразительно обозначить свой профиль и стать соперницей социалистам. Эти выборы не предвещают политической консолидации Сербии. В Черногории превосходство заимели социалисты «тройки молодых» — Булатовича, Джукановича и Маровича. По Конституции СРЮ они не квалифицируются как политики, готовые порвать с титоизмом. Они с Милошевичем составляют персональную коалицию, намеревающуюся долго быть у власти. Как и обычно в прошлом, внешние силы решат вопрос о продолжительности их властных полномочий.

10 июня 1992 года

Депос *(Демократски покрет Србије / Демократическое движение Сербии. — И. Ч.*) направил С. Милошевичу письмо с требованием, чтобы он ушел в отставку. Приветствуется решение принца Александра Карагеоргиевича вернуться в страну. Это текст Матии (*Имеется в виду писатель и академик Матия Бечкович. — И. Ч.*). Монархизм на подъеме. Возвращаемся к идеологическим позициям гражданской войны. Я буду выступать против четнического реваншизма и возвращения к прошлому.

11 июня 1992 года

Слободан Милошевич пригласил меня к пяти часам пополудни в виллу на улице Ботича. Приехал М. Вучелич и отвез туда. Меня встретили Милошевич и Црнчевич. Вместе с Вучеличем (который вступал в разговор скромно) они вплоть до девяти часов уговаривали, чтобы я согласился стать Президентом Республики. Я отказался по двум основным причинам: во-первых, потому что не желаю оставлять своей литературной работы; во-вторых, потому что не чувствую себя способным выполнять такие обязанности. «Мои политические взгляды не одинаковы с вашими. Нужно изменить всю национальную и государственную политику. Я выступаю за власть демократического единства, за новые выборы и в Союзную, и в Республиканскую Скупщины до конца года и за компромисс с оппозицией», — сказал я.

Упомянул я также о ситуации, когда нужно будет отдавать голову Слободана Милошевича, а я не желаю участвовать в этом.

Милошевич во всем остался верен себе. Он не готов к радикальному повороту. Он верит, что блокаду нужно выдержать, что внешние силы не могут нас задушить, что имеются признаки послабления. Этот человек не замечает, что он — главное политическое препятствие для разрешения сербского кризиса. Он верит, что должен исполнить обязанности

и остаться Президентом Сербии. А меня — вероятнее всего, по желанию американских властей, уговаривает, чтобы я принял на себя обязанности Президента СР Югославии.

Я не согласился на их уговоры стать Президентом СРЮ. Милошевич настаивал, чтобы мы продолжили разговор завтра в 12 часов дня. Совесть мне велит пожертвовать собой ради своего народа. Анна и Божица (*дочь и жена. — И. Ч.*) решительно против. Анна так горюет, что я могу ее потерять, если приму эти страшные обязанности. Божица чувствует, что ее участие в моей жизни поставлено под вопрос. Пренебрегая своим даром, посвящая себя политике и спасению народа, я не спасаю народ; я лишь предаю самого себя, а предавая себя, предаю также ее и Анну…

12 июня 1992 года

Неодолимый нажим друзей, чтобы я принял на себя обязанности Президента СРЮ: Ёван, Луле, Любо, Жика, Света, Коста, Любиша, Слободан… Телефон нагрелся от советов, наказов, просьб и настоящих нравственных вымогательств. Слышал, что в Клиническом центре собираются подписи. Объединения сербов Хорватии и некоторых городов собирают подписи граждан за мою кандидатуру.

Перед полуднем я отправился в виллу на Ботича, 5, где меня ждали Милошевич с Црнчевичем и Вучеличем… Те уходили и возвращались. Убеждали меня, желая сломать. Я упирался и отказывался:

— Вы, Слободан, должны знать, что я принадлежу к оппозиции, выступаю за перемены. Я не хочу быть формальным, церемониальным Президентом Республики, каким был Иван Рибар. Ведь и вы, Слободан, не Тито; к чему тогда мне быть Иваном Рибаром. Я хочу реформ, выборов, изменений строя, конца партийного государства…

— Так меняйте, Добрица! Осуществляйте перемены. Мне это не мешает. Я тоже за перемены…

А в какой-то момент Милошевич произнес:

— Хотите, я стану перед вами на колени, чтобы вы согласились быть Президентом Югославии?

— Не хочу, чтобы вы становились на колени. Но и не могу принять должность, которую вы мне предлагаете.

— Я разговаривал с черногорцами. Они восхищены моим предложением. Вы, Добрица, не имеете права разочаровывать народ, который вам верит и который ждет от вас помощи.

Мы обедали. Уговоры продолжились. Я ушел домой, не приняв предложения. Когда прощались, Милошевич мне сказал:

— Жду вашего положительного решения.

Божица встретила меня с беспокойством, горечью. Сообщила, что Анна звонила из Милана и заклинала, чтобы я не соглашался на должность, которую мне предлагают.

Потом позвонил Коста Михаилович и сказал: «Я слышал, что ты отказался. Но и я тебе, Добрица, как друг говорю: не имеешь права обмануть народ, который тебе верит. На такое предательство ты, Добрица Чосич, не имеешь права. Если поступишь так, то должен будешь навсегда замолчать и вести себя как покойник…»

Резанули меня эти слова Косты. И я капитулировал. Труднее всего было сообщить об этой капитуляции Божице и Анне. Божица заплакала: «Ты больше не будешь писателем». Анне позвонить не смею.

Вечером позвонил С. Милошевич и сказал: «Надеюсь, что вы изменили свою позицию». — «Позицию не изменил, но должность Президента Республики приму». Он победно обрадовался.

А я ушел в свою комнату молчать. Я переломил свою жизнь.

14 июня 1992 года

Завтра я до обеда в Академии открываю научное собрание на тему «Сербский народ в начале новой эпохи», а после обеда отправляюсь в Союзную Скупщину, чтобы принять должность Президента Республики, дать присягу и выступить с речью о государственной политике, которую буду отстаивать. Представлю свою программу новой национальной и государственной политики. Оба выступления — и для Академии, и для Скупщины — я уже написал и прошлой ночью последний раз отредактировал. По сути, это одна речь, одна программная концепция политического, экономического и цивилизационного возрождения страны. Это мой проект разрыва с титоизмом и нынешним порядком и создания нового, демократического, цивилизованного государства сербского народа — Сербии и Черногории.

Вполне понятно, что моя политика не понравится Милошевичу и консервативной оппозиции. Я открываю два фронта. А не имею своей политической организации, не имею организованных сторонников. Ожидаю поддержки народа и демократической, патриотической оппозиции. Если не осуществлю перемены, которые задумал, если меня победят титоисты и реакционеры, то останутся хотя бы мои слова, мои идеи, моя попытка спасти сербский народ от исторической катастрофы.

15 июня 1992 года

День для биографии, ни слова для романа.

Открывая научное собрание в Академии, я выразил озабоченность ситуацией и положением сербского народа, но выразил также решимость умом и знаниями бороться за будущее, которое должно быть человеческим, достойным. Кажется, переполненный зал Академии меня хорошо понимал.

После обеда я поехал в Союзную Скупщину, взяв такси, чтобы и таким образом — добираясь на такси, а не на государственном лимузине, — обозначить новую, нормальную манеру поведения Президента Республики и конец монархистско-титовской помпезности, роскоши, внешних символов власти.

Скупщина приняла меня с почтением. При тайном голосовании всего несколько депутатов не проголосовало за меня. Вера в перемены, вера в писателя, надежда на новую эпоху наполняли Скупщину, в которой сорок лет назад я, как депутат от общины Жупа, выдвинул союзному правительству требование принять закон о вине, чтобы воспрепятствовать производству искусственного вина и защитить виноградарей. После ответа министра сельского хозяйства Славко Комара я выразил неудовлетворенность позицией правительства, что явилось первым коммунистическим «нет» правительству в Союзной Скупщине, и Црвенковский поднял руку, требуя, чтобы меня лишили слова. Если бы меня не поддержал Ранкович, я тогда, вероятно, пережил бы настоящий политический крах. Этот случай я вспомнил в то время, когда, после принятия присяги, слушал продолжительные аплодисменты депутатов, которые выражали мне поддержку стоя. В своей официальной речи я, надеюсь, представился как писатель-политик. Мне хотелось истинами, новыми идеями и демократическим духом пробудить в народе разумную надежду. Я обозначил основные принципы новой политики, которые я буду отстаивать и на которых должны быть осуществлены коренные изменения общественного устройства. Мне хотелось, чтобы Сербия и Черногория сегодня поверили, что у них появился Президент Республики, не вступивший во властные полномочия, а поступивший на службу народу.

Домой я вернулся на служебном автомобиле, который, пожалуй, никогда не вез более тяжелого пассажира. Сопровождал меня Светозар.

Божица красива. Она смотрела заседание Скупщины по телевидению, довольна моей речью. Анне я позвонил — сообщил, что приступил к исполнению обязанностей и что чувствую себя хорошо. Она восприняла это серьезно и печально, как будто жалела меня. Зоран радовался. Внуки, говорят, смотрят мультфильм.

Перед тем как я лег, Божица мне сказала:

— Полицейский перед домом, солдат во дворе. Как-то неудобно себя чувствую.

— Армия должна делать вид, что охраняет верховного главнокомандующего, — сказал я. — До этой ночи полиция охраняла власть от меня. А с этой ночи охраняет меня.

— От кого? — спросила Божица.

— Это ритуал, которого я не могу избежать, хотя и хочу быть президентом, которого никто не охраняет.

— Когда тебя будить?

— В восемь.

— Это рано для тебя.

— С завтрашнего дня я должен каждое утро вставать в восемь и точно в девять быть на работе.

Она погасила свет. Я лежал и смотрел в темноту: мать моя Милка с балкона нашего дома радостно обращается к соседям:

— Момо, Вито, Раё! Вы слышали, что говорил Добрица?

— Разве их касается то, что говорил Добрица? Он лучше говорил после войны на собрании в Трстенике, когда народ избирал его своим депутатом. А что проку от его речи? Сломалась ось, и телега покатилась в пропасть… — бормочет раздраженно отец мой Жика и отправляется в подвал налить ракии.

Дед Евтимий, сидя на табурете-треноге, скручивает цигарку и озабоченно говорит мне:

— Ты, сынок, сегодня на себя взял большие обязанности перед людьми. Смотри, как будешь выполнять их. И не забывай слова народного заклинания: «Дай Бог сил!»

Дед Алекса, отец матери, который во времена Королевства на всех выборах проигрывал радикалам, потерял большое состояние и умер после того, как не прошел на выборах в депутаты, на надгробном памятнике которого написано: «Пострадал из-за своей доброты», с террасы старого дома в Орловце кричит:

— Люди, я победил! Объявите в Орловце, Милутовце и Польне, что Леса Милетич приглашает народ угоститься и повеселиться!

Дядя Евгений из охотничьего ружья выстрелил в воздух обоими зарядами. С другого конца Орловца отозвалась гармонь. По селу разнесся лай собак…

Я включаю лампу и сажусь за стол, чтобы записать увиденное и услышанное от них, которые меня сегодня не видели и не слышали. Они все давно на дреновском и милутовачском кладбищах. Но я не уверен, что они не смотрят на меня, когда я это записываю.

16 июня 1992 года

На государственном автомобиле везут меня в резиденцию Президента Союзной Республики Югославии. Улицы, здания и люди от дома до Дворца Федерации нереальны, хотя похожи на реальных. Молчу, не разговариваю и со Светозаром, ощущая подавленность из-за чрезвычайно большого значения дела, которое начинаю.

Мне неловко от того, что сопровождающий открывает для меня дверку автомобиля. А люди из обеспечения на входе во Дворец Федерации, дежур-

ные на лестницах и секретарша встречают меня улыбками. Воспринимаю это как приветствия моих читателей, но и как выражение надежд граждан на меня — президента. Не разочаровать и не обмануть этих людей — вот моя главная ответственность. Если не оправдаю людские надежды, никакой литературный успех не принесет утешения.

Сопровождающий Мича Аврамович открывает мне дверь кабинета. Там Бранко Костич, прежний Председатель Президиума СФРЮ, сердечно приветствует меня и представляет чиновников кабинета: Нада, Борка, Мома, доктор Станкович — люди, с которыми я буду непосредственно работать. Бранко Костич — человек жизнерадостный, разговорчивый, симпатичный и по-черногорски открытый. Он вводит меня в президентский кабинет. Это огромное помещение с письменным столом, клубным комплектом мебели и столом для заседаний. Картина Лубарды над столом и рисунок Вуяклии на столе напоминают мне о среде, из которой я пришел. Здороваюсь с Бориславом Ёвичем, Сейдом Байрамовичем и Бранко Костичем; сажусь в кресло. Они в хорошем настроении: освободились от провального управления государством, а сохранили головы на плечах. Непринужденно говорим о текущей политике. Пьем кофе. Я жду, когда мне передадут дела. Ёвич говорит, что у него срочные обязанности и ему нужно уйти. Бранко Костич напоминает, что у него в одиннадцать часов самолет в Подгорицу, он тоже спешит. И у Югослава Костича какие-то дела. Только Сейдо Байрамович, родом из Косова, никуда не спешит. Я говорю:

— Господа, вы должны передать мне дела. Что мне сегодня здесь делать?

Ёвич показывает мне на Бранко и уходит, предварительно попросив, чтобы я принял в свой кабинет его секретаршу, а то она останется безработной. Я обещаю выполнить просьбу. Байрамович молчит, курит. Бранко Костич, собирая со стола свои бумаги и складывая их в портфель, говорит:

— Нечего тебе, Добрица, передавать. Президент занимается текущими делами, которые определяют протокол и шеф кабинета. Сам увидишь, что нужно делать. Здесь у тебя Надица, секретарь; здесь Борка, шеф кабинета, — они знают, что тебя ожидает сегодня. А завтра узнаешь сам. Извини, пожалуйста, спешу, самолет мой улетит…

Пожимаю руку Бранко и направляюсь посмотреть, куда ведет дверь в другом конце этого большого прямоугольного кабинета, напротив моего рабочего стола: там пустое помещение с обшитыми деревом стенами, без окон. Открываю еще одну дверь: там зал, в котором круглый стол, уставленный микрофонами с проводами, а стену украшает фреска Лубарды — нечто космическое, перед возникновением или исчезновением каких-то планет… Этот зал я в последнее время часто видел по телевидению. Пустые кресла вокруг стола не зовут меня садиться. Микрофоны черные, немые, с головами, которые вытянулись в споре, прекратившемся из-за бессмысленности: здесь заседал Президиум государства, которое больше не существует; здесь велась политика, которая не могла это государство спасти. Для остатков этого государства я — президент. Остатки этого государства я хочу преобразовать в серьезное демократическое государство. Как на югославских руинах — идеологических, экономических и нравственных — создавать демократическое и прогрессивное государство? С кем? Социалисты меня условно поддерживают; оппозиция, кроме Демократической партии Мичуновича, не поддерживает даже условно.

С бульвара слышен приглушенный шум машин. Змеевидные микрофоны разинулись в тишине; ждут, чтобы я нечто сказал. Говорю сам себе: здесь история завершила свое дело. А теперь я должен начать свое дело.

Быстро, словно убегая от немых микрофонов, прохожу через пустое помещение; догадываюсь, что в нем была размещена служба охраны тех, кто развалил Югославию; спешно прохожу по ковру Вуяклии к столу Президента Республики и сажусь. Здесь сидел Иосип Броз, а также Цвиетин Миятович, Бата Влаткович, Хасан Синани, и Диздаревич, и Янез Дреновшек, и Бора Ёвич, и Стипе Миесич, и Бранко Костич… Сейчас за этим столом сижу я, писатель. Что буду писать и что напишу за этим столом? Политические заявления, обращения к главам государств, речи, какие-то приказы армии… Может быть, и тому военному, которого боится Анна? Ведь я во время войны становлюсь и Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил. Во «Времени смерти» я командовал Первой армией и одержал победу в Сувоборской битве. Командовал я также защитой Белграда (в четвертой книге), а затем и всей сербской армией в 1915 году при отступлении, переходе через Албанию… Я был военным политиком — Николой Пашичем; принимал дипломатов, в Скупщине вел борьбу с оппозицией, терпел упреки короля Александра и опасался заговоров Аписа. Я был политиком принципов и оппозиции — Вукашином Катичем, который отдавал родине жизнь, а лишал ее уверенности. Я был Слободаном Ёвановичем и Драгишей Васичем периода 1941 года… Да, но то было в романах. А это — какое-никакое реальное государство. Прежде всего нужно самого себя убедить, что я Президент Республики и что я должен весь, во всем и всегда быть таковым. По краям представления о должности, которую я принял, мерцает неверие в успех этой роли и ее смысл.

Смотрю на дверь в помещение службы охраны и жду, что ее сапогом откроет генерал Жежель с четырьмя офицерами гвардии и закричит: «Чего это ты, писатель, здесь?»

А действительно, чего я здесь? Сижу и смотрю на ряд телефонов: что должен делать Президент, когда окажется в своем кабинете после совершившегося путча? Первым нужно принять начальника Генштаба или главу Службы государственной безопасности?

Я позвоню прежде всего начальнику Генерального штаба.

Смотрю телефонный справочник с номерами главных функционеров государства и армии. Нахожу номер начальника Генштаба, генерала-полковника Животы Панича. Его позову первым, чтобы доложил о положении в армии. Поднимаю трубку. Тишина. Нажимаю какие-то кнопки, но не получаю того номера, который хочу набрать. Встаю, выхожу из кабинета и захожу к секретарше Наде:

— Прошу вас, покажите, как пользоваться этими телефонами.

Нада смеется, показывая целый венок белых зубов, и идет со мной в кабинет.

— Господин Президент, вам не нужно набирать номер. Это мое дело. Вы только нажмите вот эту кнопку и скажите, чего желаете.

— Хорошо. Свяжите меня с начальником Генштаба генералом Паничем.

— Когда раздастся звонок, поднимите трубку, нажмите вот эту, вторую кнопку, и получите связь.

Она и далее улыбается, а мне неудобно. Когда у меня сорок лет назад был кабинет в Агитпропе ЦК Сербии, телефоны не имели столько кнопок.

Звонок. Поднимаю трубку.

— На связи генерал Панич. Слушаю вас, господин Президент.

— Генерал, я хотел бы с вами поговорить. Когда вы можете приехать ко мне?

— Когда прикажете, господин Президент.

— Тогда приезжайте сейчас.

— Буду через десять минут.

Вот так, значит, действует власть. Очень просто. Приказанием, без объяснений; нажатием кнопки и поднятием телефонной трубки.

Сажусь за стол и сосредоточенно смотрю на закрытую дверь помещения службы охраны; ожидаю стука сапог генерала Жежеля. Но генерал Жежель тихо открывает дверь: входит маршал Тито в белой адмиральской форме — той, в которой был на пароходе «Галеб», когда мы прибывали в страны западной Африки, а негритянские военные оркестры встречали нас югославским гимном, который неодолимо напоминал народное коло «чачак». Мы были веселые; весельем мы устраняли государственную патетику — все, кроме Тито. Он всегда был весь в роли. Да, Президент государства — это роль, которую нужно всегда и во всем играть. Нужно функционировать себя без остатка. Я на сцене и под рефлекторами, а занавес опускается только тогда, когда я войду в свой дом.

Секретарша Нада сообщает мне о прибытии генерала Панича. Встаю, чтобы его встретить. Он по-военному приветствует меня, затем мы пожимаем друг другу руки. Приглашаю его сесть в кресло и сразу говорю:

— Проинформируйте меня кратко о том, каково общее положение в армии. Послезавтра я намереваюсь посетить Генштаб, чтобы познакомиться с командованием вооруженных сил и выслушать сообщения командующих всех родов войск. Пожалуйста, генерал.

Он говорит сжато, выверенно, убежденно. Этот танкист хорошо знает положение в вооруженных силах. Задаю ему некоторые подвопросы, подобные тем, которые воевода Мишич (*Имеется в виду герой романа Д. Чосича «Время смерти». — И. Ч.*) задавал начальнику Штаба, полковнику Хаджичу.

Генерал Панич родом из Трстеника, мой земляк. Но я не смею переносить его с военачальнической позиции в среду родного края и навязывать земляческую фамильярность. Расстаемся строго официально; и я остаюсь доволен им и собой. Чтобы заслужить авторитет у генералов Генштаба, я должен воспользоваться манерой воеводы Путника (*имеется в виду тоже герой романа Д. Чосича «Время смерти». — И. Ч.*): меньше говорить, больше спрашивать и слушать. Обдумываю темы разговора в Генштабе и нажимаю кнопку. Появляется Нада.

— Прошу вас, свяжите меня с министром внутренних дел, генералом Грачанином.

— Генерал Грачанин у телефона. Слушаю вас, господин Президент.

— Прошу вас, господин генерал и министр, в пять часов быть в моем кабинете.

— Я бы попросил вас, господин Президент, чтобы вы вместе со мной приняли и моих заместителей — Михала Кертеса и начальника Службы государственной безопасности Радивоевича.

— Жду вас в пять. До встречи.

Знаю, что от них требовать: краткой информации о врагах государства. Вспоминаю: Тито ежедневно с семи часов до девяти, за кофе, который он готовил для жены и для себя сам, читал донесения и депеши разведывательных и контрразведывательных служб, и только после этого принимал министров, партийных функционеров и дипломатов. Такой, титовский, авторитет, основанный на тайных донесениях о собеседниках, мне не нужен, да и невозможен. Я здесь не для того, чтобы демонстрировать власть над людьми и делать их подчиненными. Надо сразу начать с выполнения обещаний, которые вчера я дал в Скупщине: провести консультации с лидерами парламентских партий о составе правительства и составить правительство демократических компромиссов; принять для разговора представителей всех значимых учреждений, организаций — Академии, Церкви, Университета, — чтобы выслушать их мнения и советы. При-

глашу на разговор также представителей всех национальных меньшинств, чтобы услышать их предложения и требования. Сразу начну переговоры с албанцами. Надо сделать так, чтобы демонстрируемое ими до сих пор игнорирование имеющихся прав стало бессмысленным. Надо стремиться к радикальному и надежному решению проблемы албанско-сербских отношений, к территориальному разграничению в Косово и Метохии. Раз в месяц нужно будет представлять народу отчет о положении в стране…

Светозар Стоянович, мой специальный советник, информирует меня о персональном составе кабинета и о команде советников, которую хочет сформировать. Он уже набросал план наших действий во внешней политике и сотрудничестве с дипломатами в Белграде. Я доволен инициативами Светозара, а его решительность делает и меня спокойнее. Мой рабочий кабинет должен стать местом, куда будут стекаться, накапливаясь, плоды ума, идеи и знания.

А это значит, что нужно собрать молодых людей и ученых.

Пообедал я дома, спеша, не разуваясь; полежал с закрытыми глазами пятнадцать минут на своей кровати; затем вскочил, умылся и сел в машину с работающим уже мотором. Пока едем во Дворец Федерации на каком-то иностранном автомобиле, поручаю сопровождающему:

— Передайте начальнику обеспечения, что я хочу, чтобы моим служебным автомобилем была «Флорида» нашего завода «Застава». Я слышал, что это самая лучшая отечественная машина.

— Господин Президент, наш парк транспортных средств не располагает автомобилями завода «Застава». Для Президента используются исключительно иностранные машины, из-за надежности и скорости.

— Меня не касается традиция вашего парка транспортных средств. Надо, чтобы с завтрашнего дня вы возили меня на автомобиле завода «Застава».

Кроме того, завтра я вызову руководителя Службы протокола с генеральным секретарем и введу запрет на употребление иностранных напитков в моем кабинете, на обедах и ужинах. А те напитки, которые я пью, я буду и оплачивать. Все, кроме кофе. Зарплату я не буду брать; хочу за свой счет служить государству.

В пять часов Нада мне сообщает, что прибыли генерал Грачанин, Радивоевич и Кертес. Подчеркнуто официальный и серьезный генерал Грачанин, известный своей храбростью и порядочностью, родом из Левча. Как только мы сели в кресла, генерал Грачанин поднялся, вынул из кармана исписанный лист бумаги и стоя обратился ко мне:

— Уважаемый господин Президент, от имени Союзного Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности выражаю радость и удовольствие, что Президентом нашего государства избран человек, вызывающий высочайшее доверие у народов Сербии и Черногории, а также всех сотрудников Министерства внутренних дел Югославии…

Встали также заместители Грачанина. Несколько смущенный такой патетической сценой, я также встаю с кресла, чтобы до конца выслушать поздравления, выражение доверия и надежды, что я исполню (???) ожидания всего народа, о гражданской безопасности которого заботится наша милиция и Служба государственной безопасности.

Поручаю принести кофе и соки. Они учтиво пьют. Кертес менее других стеснен, разговорчив. Я знаю этого венгра, который является большим сербом, чем даже Брана Црнчевич.

Руководитель СГБ Радивоевич обращается ко мне:

— Господин Президент, вы хорошо знаете, что в архиве УГБ находится и ваше досье, охватывающее несколько десятилетий нашего контроля, сбора сведений о ваших позициях, дружеских связях, заявлениях,

действиях… Все то, что УГБ считало вашей враждебной деятельностью, документировано сведениями тех, кто сотрудничал с нами, и самой службы. Вы имеете право это досье взять и распорядиться им по своему усмотрению.

— Благодарю вас, господин Радивоевич. Не желаю читать полицейское досье на себя. Это ниже моего достоинства и должности, которую я исполняю. Храните мое досье в архиве для истории о времени, которое мы пережили, если это будет кого-то интересовать.

Вмешивается Кертес:

— Разумно, господин Президент. Среди тех, кто сотрудничал с УГБ, были и некоторые ваши близкие сотрудники, товарищи. Они находились рука об руку с вами, и вы им наивно доверяли. Понимаю вас. Сейчас неприятно такое узнавать. Легче вам, если этого знать не будете.

— Вы правы, господин Кертес. Мне и легче, и труднее, поскольку о некоторых уже знаю, а они не предполагают, что мне известны их доносительские дела. Пусть в вашем архиве останется и эта истина. Вы только верните мне три тетради записей, которые у меня выкрала полиция Доланца в 1983 году.

Я описал Радивоевичу цвет и вид тетрадей, указал даты записей, которые делались для романа под названием «*Книга*». Руководитель Службы государственной безопасности пообещал мне разыскать в архиве тетради «интегрального романа», а также записи о разговорах с Тито и Ранковичем в 1962—1966 годах.

— Добрица, прошу тебя, ложись спать. Скоро уже три часа утра. Когда же поспишь? Если ты, с четырьмя шунтами на сердце, будешь так продолжать…

— Божица, но ведь в моей и твоей жизни есть и останется всего лишь один первый день Президента Республики. Всего лишь один день, которым начинается роман «*Время власти*». А в этот день произошло столько всего — и печального, и смешного. Если не запишу это нынешней ночью, ты знаешь, что уже никогда не запишу.

— Неужели ты на самом деле считаешь, что история литературы много потеряет, если ты не опишешь первый день, когда ты больше не писатель?

— Может, ты и права. Буду ложиться.

Помнится, Ганди как-то сказал, что борется против трех врагов — англичан, индийцев и самого себя. И Неру, когда стал вождем Индии, председателем правительства, сказал Мальро: «Сейчас Индии нужно победить себя». Разве не это первая задача Сербии — прежде всего победить себя? Ничьи мудрые советы, между тем, не помогут мне исполнять обязанности, которые мне достались.

Ложусь в постель и выключаю лампу; но не могу выключить мозг. То, что произошло вчера и сегодня, уснуть не дает. Просится в записи.

Встаю и записываю то, что во мне наиболее определенно: сегодня я уже не писатель; я и не тот же человек, который прежде жил в этом доме и спал на этой постели; я и не тот муж, каким был до вчерашнего дня, не тот же отец и дед; я и не тот же друг, не тот же сосед, не тот же согражданин. Завтра, когда встречусь с людьми, я буду для них лишь функцией; они будут ожидать от меня иного поведения и слов иных; будут хотеть того, что от функции требуется. А у меня нет ни сил, ни желания становиться функцией. Завтра меня возненавидят и те, кто ненависти ко мне не испытывал, а таких немало. Завтра мне многие будут завидовать, и среди них больше всего тех, кто мне до сих пор ни в чем не завидовал. И те, кто меня уважал, и те, кто меня ненавидел, хотят видеть во мне власть. Но в понимании власти я с ними расхожусь. Для меня этой ночью вся моя власть — это

лишь ответственность за судьбу страны, президентом которой я стал. Право на эту ответственность является моей наибольшей привилегией…

Не спится мне. Накануне вечером мне принесли завтрашние газеты. Пользуясь этой привилегией, читаю «*Политику*», чтобы меня усыпила. Но газета, наоборот, меня окончательно выбивает из сна, и я опять записываю:

«В Белграде прошли студенческие демонстрации. Требования: роспуск Скупщины Сербии, отставка Слободана Милошевича, создание Правительства национального спасения, учреждение Скупщины по выработке Контитуции…»

Как будто я не за это же выступал?!

Мои друзья Мича и Михиз выступали на собрании студентов. Они, не обращая внимания на мои высказывания и позиции, продолжают бунтовать. Некоторые друзья не последовали за мной; как будто я их предал. Я обеспокоен и оскорблен. Почему не подождут, пока я что-то сделаю, объявлю выборы? Почему не дают мне те сто дней, которые в демократических странах даются новому правительству? Неужели считают, что им демократии хочется больше, чем мне, и что они на улице сделают больше, чем я в Скупщине и Правительстве?

Студенты угрожают всеобщей забастовкой. Идут разговоры об опасности гражданской войны. Мне, значит, не верят. За мной не идут ни друзья, ни молодежь, ни интеллигенция. Как я в таком случае могу чего-то добиться? А в «Политике» заголовок моего выступления на открытии научного собрания в Академии гласит: «Сербия между возрождением и катастрофой»… Начинаю понимать, как легко быть в оппозиции.

Перевод с сербского Ивана Чароты.

ГЕОРГИЙ ПОПОВ

Откуда течет «Нёман»

6 октября 1971 г.

Вчера приезжала Любовь Александровна Дубенская, она дает запись воспоминаний Нади Леже, художницы, уроженки Белоруссии.

Разговорились о художниках вообще. По ее словам, Пабло Пикассо живет сейчас уединенно, никого не принимает. Последняя его выставка удивила — чуть ли не сплошная эротика.

Между прочим, я видел (и не однажды) Пикассо в августе 1948 года во Вроцлаве, на конгрессе в защиту мира. Во время перерывов он расхаживал по вестибюлю в обнимку с Ильей Эренбургом. Близко наклонившись друг к другу, они о чем-то оживленно болтали и посмеивались. Не смеялись, — именно посмеивались, — одними глазами.

С Марком Шагалом Дубенская встречалась лично. Всемирная слава, богатство — всего достиг, — а, по его словам, не проходит и дня, когда бы он не вспоминал свою родину, Витебщину. Спит — и во сне видит. И разговор у них, естественно, был только о России, о Витебщине. Когда она, Дубенская, сказала, что его помнят и знают на родине, — Шагал весь просиял и загорелся:

— Правда? Нет, скажите, это правда?— и счастлив был, как ребенок.

Условились, что в воспоминаниях будет несколько страничек и о Марке Шагале.

16 октября 1971 г.

15 октября исполнилось тридцать лет с тех пор, как мы с Валентиной встретились.

Было это в сосновом лесу где-то на полпути между Ржевом и Старицей. Мы отступали... Накануне утром медсанбат с трудом проскочил через горящий Ржев, остановился в лесу, переждать до вечера. Потом, не дождавшись, когда начнет темнеть, двинулись дальше, но проехали километров пять-шесть, свернули влево и остановились в том сосновом лесу. Раненые прибывали, — пришлось оставить палатки, зарыть ящики с медикаментами, одеяла, простыни, — все, что мешало двигаться дальше.

Спали кое-как, на березовых листьях, а утром я проснулся, вышел из палатки к костерку, смотрю — она, Валентина. Ее ППГ на конной тяге, как он назывался, разбомбили немцы, командир и замполит дали деру, а их, девчат, медсестер и санитарок, бросили на произвол судьбы. И они пошли... на запад, и напоролись на штаб нашей 246-й стрелковой дивизии. Валентина была лаборанткой, а нам нужна была лаборантка, вот ее и взял в медсанбат начсандив Тарханов.

У нее были удивительные глаза — большие, темные, глубокие, умные, ласковые... Не знаю, еще какие. Эти глаза и сразили меня сразу и наповал, на всю жизнь.

Продолжение. Начало в № 12, 2010 г., № 1, 2, 3 2011 г.

11 ноября 1971 г.

Юлька (глядя, как мать ест):

— Мама, а когда я была у тебя в животе, я что, пережеванное ела?

13 декабря 1971 г.

Вчера воротился из Москвы, с совещания по критике.

Совещание так себе. Уровень в общем низкий. Но поездкой доволен. Мавзолей Ленина, музей А. П. Чехова на Садовой-Кудринской, вечер памяти Некрасова, Музей им. А. С. Пушкина, Кремль... И куда ни зайдешь — дух захватывает.

Огромное впечатление производят импрессионисты. Без них мировое искусство было бы беднее. Смотришь на Сезанна, Ренуара и Ван Гога и глазам не веришь. Иллюзия полнейшей, причем — живой, а не мертвой, застывшей реальности.

17 декабря 1971 г.

Двуличие, двурушничество и двусловие входят в привычку.

Виль Липатов, давая интервью по телевидению, сказал, что у нас нет проблемы «отцов и детей»... Нет — и баста!

На совещании, посвященном молодым, кто-то заявил, будто у нас поэту или прозаику, входящему в литературу, нет ничего проще, чем издать первую книгу.

И то и другое, мягко выражаясь, не соответствует действительности. Проблема «отцов и детей» всегда была, есть и будет, ее можно не замечать, но она, проблема, от этого не перестанет существовать, ибо заключает в себе движение жизни, ее диалектическое развитие от низших к более высшим формам. «Дети» умнее своих «родителей», они не признают и отрицают что-то из того, что дорого их родителям, и одно это уже заключает в себе некую проблему.

Что касается первых книг, то тут надо иметь в виду вот что. «Дети» в силу своей молодости правдивее своих родителей. И пишут они правдивее, откровеннее. Попробуй-ка напечатать! Или — напечататься! Да «родители» (всякие Полевые, Кожевниковы, Косолаповы, Алексеевы — им несть числа…) костьми лягут, но не пропустят. Другое дело, если «ребенок» научился лгать и приспосабливаться. Такому все пути открыты. Но такого «ребенка» подстерегает серьезная опасность. Ложь и талант две вещи несовместные, — ложь убивает талант.

21 декабря 1971 г.

Звонок в редакцию. Беру трубку.

— Здравствуйте, Георгий Леонтьевич! Это говорит ваш читатель… Хочу сделать критические замечания... Что ж это вы дали своей «Тростене» подзаголовок — из записной книжки?.. Это же поэма!.. Настоящая поэма!.. — И — пошел, пошел. Эпитеты самой превосходной степени. — Кончил читать в два ночи — хотел сразу позвонить, — не решился. Может, спит человек...

Вот как!

Я слушал, не сомневаясь в искренности слов того, кто говорил, и все же мне было неловко, и я невольно краснел. Шакинко, наш худред, бывший в это время у меня в кабинете, догадался, в чем дело, и расплылся в улыбке.

Но вот долгая «критика» (она продолжалась минут десять-пятнадцать) кончилась. Я спросил:

— Кто же со мной говорит?

И — в ответ:

— Василь Витка…

Вот от кого не ожидал так не ожидал. Он всегда производил на меня впечатление человека мягкого, душевного и замкнутого или, во всяком случае, сдержанного. И вдруг — такая открытость и щедрость. Редкие в наше время.

27 декабря 1971 г.

Еще звонок... Роман Ерохин, из «Советской Белоруссии»:

— Слушай, только что прочитал твою «Тростену»… Начал так, без особого интереса, куда, думаю, клонит... А потом вчитался и — до конца... Это же гимн России... — И т. д. в этом роде.

Только неманцы пока сдержанны: ни похвалы, ни порицания…

22 февраля 1972 г.

Зашли Александр Адамович, потом — Янка Брыль. Разговорились.

Адамович пишет статью о Василе Быкове. По заказу Виталия Озерова, главного редактора журнала «Вопросы литературы». Я сказал, что лучшая вещь Быкова — это все-таки «Мертвым не больно». Образ Сахно (и образ самой сахновщины) делают эту вещь <u>типичной</u> на все времена.

— Вот ты и напиши об этом в своем журнале, — засмеялся Адамович.

Брыль просидел часа полтора. Не спеша полистал второй номер «Немана», всматриваясь в фотографии украинских поэтов, отпуская замечания, как о своих добрых знакомых.

О Романе Лубкиевском:

— Смотри ты, усы отпустил! Казак!

То же самое заметил также об усах Петра Скунца. А на Лину Костенко смотрел-смотрел и восхищенно воскликнул:

— Воительница!

25 февраля 1972 г.

Смерть настигает нас в пути — и это независимо от возраста.

Человек живет, строит какие-то планы, хочет что-то делать, уже не себе — другим, и вдруг… Нежданно-негаданно.

Когда-то (в 1961—1962 гг.), помню, ходил в «Неман» высокий, красивый, совершенно седой старик, Алексей Габриель. Он уже давно был на пенсии, задумал большую книгу о пограничниках двадцатых годов и первые рассказы из этой книги хотел опубликовать у нас в журнале. Мы взяли, нашли литературного редактора, Рыгора Нехая, а когда тот отредактировал (кстати, отредактировал он из рук вон плохо, пришлось потом возиться и возиться…), сдали в набор. Автор прочитал корректуру и... больше я его не видел. А скоро узнал, что он умер, так и не дождавшись выхода в свет своего, может быть, заветного детища.

И вот — новый случай. Вячеслав Шатилло, странный, нелепый человечина. Когда-то (если не изменяет память, тоже в 1961 году) мы напечатали его первую повесть — «Плыви, мой челн». Критик Яков Герцович разнес ее в пух и прах... Я тогда считал и теперь считаю, что критика была несправедливой. Герцович подошел к повести просто-напросто без учета специфики жанра… Но автору она подрубила крылья, эта критика, и он стал отчаянно метаться в поисках «себя». Бросил радио, где работал, и пошел на завод в качестве... не знаю — кого... Кажется, в качестве писателя-наблюдателя. Собрал материал... для романа! Потом ушел с этого завода и поступил на другой, редактором многотиражки, потом очутился каким-то образом в академии.

Однажды он принес очерк о директоре завода — мы забраковали его как слабый в литературном отношении. Та же участь постигла и роман о рабочем классе. После долгого перерыва он вдруг (именно вдруг) положил на стол повесть «Лабиринт», которую мы приняли безоговорочно. После повести он явился с романом на рабочую тему, но роман оказался слабее, и мы вернули его на доработку. И вот наступил февраль, в середине месяца номер вышел из печати (с повестью «Лабиринт»), и мы узнаем, что автор, Вячеслав Шатилло, увы, пятого сего месяца умер. Был — и нет человека!

Грустно!

25 апреля 1972 г.

В «Немане» опять осложнения. Материал Григория Вейсса о встречах с немецкими писателями (Келлерманом, Фалладой и Гауптманом) в сорок пятом — сорок шестом годах взят Главлитом под сомнение.

Причина? Да очень простая! Не может быть, чтобы московский автор предложил сразу «Неману»... Сначала он предлагал наверняка в Москве, там отвергли, зарезали, забраковали... Почему же забраковали? Вот вопрос! И, пуская в ход современную технику, то бишь телефон, начинают докапываться до этого почему... А время идет, а нервы — они не железные!

Вчера кто-то в редакции пошутил:

— Если бы выпустить номер, сделанный исключительно из материалов, зарезанных Главлитом, то это, наверное, был бы самый интересный номер из всех за время существования журнала!

Шутка шуткой, а забракованы-то были, и правда, самые интересные вещи.

13 мая 1972 г.

Кончил вчерне записки Эдика Свистуна. Хотел, чтобы Аленка прочитала, но та пренебрежительно загнула уголки губ: «Беллетристика!» Дал Валентине. Она всегда была строгим, даже жестоким критиком. Но и она... Дошла до «праздника дождя» и захлопнула папку: «Скучно!»

А мне нравится... Нравится, вот беда! Книга (не роман, не повесть, а именно книга) кажется мне и не скучной, и не пустой. Конечно, это не детектив, не захватывающая любовная история. Это улыбка при взгляде на наши нынешние и будущие проблемы. Но разве такая улыбка не имеет права на существование?

Вчера кончил читать и править. Кое-что вычеркнул, в отдельных местах немного дописал. И... вступил в полосу колебаний, когда не знаешь, получилось у тебя или не получилось, а если не получилось, то что надо сделать, чтобы в конце концов все-таки получилось. Теперь книга будет колоть, как иголка в сердце, пока... пока не пересилю себя и не возьмусь за новую перепечатку, вторую по счету. А там, возможно, последует третья, за третьей — четвертая...

18 мая 1972 г.

Разговор о Хемингуэе. Я сказал:

— Написать такую книгу (речь шла о романе «Острова в океане») и отложить, почувствовав, что она ниже всего, что тобою опубликовано,— это может только настоящий талант!

Помолчав немного, Макаенок заметил:

— Одного я не понимаю... Как такой писатель мог охотиться, то есть убивать? У меня был кот. На даче... Как-то приезжает жена Делендика, глянула и руками всплеснула: «У кота стригущий лишай!» Надо пристрелить — не могу! Знаю, что надо, иначе заразишься сам, да и дети... И — не могу! Пришлось просить Броника, тот привез какого-то шофера с автобазы, и шофер пристрелил. А мне этот кот три ночи подряд во сне снился. Будто бы входит ко мне, смотрит в упор, как бы говоря: «Ну что, доволен?»

Я сказал, что это трудно объяснить — насчет охоты... У меня тоже был случаи. В Силезии. Шел с ружьем по опушке леса (дело было недалеко от Оэльса, возле деревни Гросс-Рауден), гляжу, вдали что-то сереет в траве. Заяц, думаю... Прицелился, нажал на спусковой крючок... После выстрела подхожу и — о, ужас!— лежит весь в крови косуленок. Сердце так и оборвалось. Закопал косуленка (он был уже мертв), засыпал травой и домой. И целую неделю после этого не находил себе места.

Макаенок передернулся, глаза его влажно заблестели.

— Но вот что любопытно, — продолжал я, — птиц, животных мы жалеем, хотя с удовольствием едим их мясо. И в то же время продолжаем оставаться

равнодушными к людям. Помочь друг другу — много ли таких найдется? Недавно в аптеке я наблюдал такой случай. У девочки (на вид ей можно было дать лет шесть-семь) заболела мать. Доктор выписал лекарство, мать дала денег — ровно столько, сколько надо было, и послала в аптеку. А девочка то ли заигралась, то ли по рассеянности, но потеряла десять копеек. Подает рецепт в кассу, а денег не хватает. Она в слезы. Лекарство-то не дают! Собрался народ, сочувствуют, разумеется, но... Одного сочувствия мало. И никому не пришло на ум дать ей эти десять копеек. Понимаешь, кота жалко, косуленка жалко (всем жалко), а девочки не жалко. Что слезы? Высохнут... А сколько таких девочек ежедневно льют слезы — одна оттого, что нечего одеть и обуть, другая оттого, что ее подружке покупают конфеты и мороженое, а ей не могут купить — у матери денег нет, — третья, наконец, оттого, что Маньку возят на машине, а у нее и дешевенького велосипеда детского нет и не предвидится... Да только ли от этого!

11 июня 1972 г.

Макаенка принял Машеров. Разговор у них был долгим и приятным.

Прежде всего Машеров поинтересовался новой пьесой — «Таблетку под язык», — она и написана по заказу или по подсказке Машерова, — спросил, почему ставится в Москве, а не здесь. Макаенок будто бы сказал:

— Пьеса готова. А что касается Москвы, то там мне подсказать что-то могут, здесь же я сам подсказываю...

Потом (уже под конец) разговор зашел о «Немане». Машеров будто бы заметил, что журнал благотворно влияет на Макаенка-драматурга, поэтому, мол, об уходе нечего и думать.

Мы, неманцы, довольны, даже несмотря на то, что Машеров разрешил главному, если надо, не появляться в редакции неделями и месяцами.

— Есть в редакции люди, на которых ты можешь положиться?.. Чего еще надо!

25 июня 1972 г.

17—18 июня — поездка-семинар... Маршрут: Минск—Логойск—Плещеницы—Бегомль—Докшицы—озеро Нарочь.

Из Минска до границы с Логойщиной нас сопровождал секретарь Минского райкома партии. На границе — оркестр, самодеятельность, цветы. Дальше — председатель Докшицкого райисполкома.

В Бегомле — остановка. Возложение венков к памятнику воинам и партизанам. Митинг в сквере. Самодеятельность, речи, стихи. Знакомство с местным музеем. И — дальше. Через грибные и ягодные леса.

Начались остановки — на полях, около хлебов. Директор совхоза, а в другом месте — председатель колхоза кратенько (в течение трех-пяти минут) рассказывали о своих хозяйствах, о том, что когда-то лет десять-двенадцать назад) урожай был 4—5 центнеров с гектара, а сейчас 30—35 центнеров с гектара. В чем дело? Очистили поля от камней, стали больше вносить органических и минеральных удобрений и сеять перекрестным способом.

В Докшице остановка. Секретарь райкома, женщина, приглашает в ресторан. Входим — и глазам не верим. Длинный стол, заставленный винами и закусками. Тут было все вплоть до жареных поросят. Ну, разумеется, отведали, то есть выпили и закусили, потом плотно пообедали — все это под тосты за писателей, композиторов (вместе с писателями было человек шесть-семь композиторов), за руководителей района и, наконец, за рядовых тружеников.

Потом осмотр полей (из окон автобусов) и следующая остановка, в парке совхоза «Ситце» — так, кажется, он называется... Народу собралось человек, наверное, двести, а то и все триста. Как и в Бегомле, гости поднялись на площадку (очевидно, танцевальную), уселись полукругом. Опять самодеятельность, речи, стихи.

Максим Танк вспомнил, что именно здесь, в Ситцах, он скрывался когда-то, будучи комсомольцем-подпольщиком.

Поехали дальше. Через поля, которые, и правда, производят огромное впечатление. Густая высокая рожь, такая же густая пшеница «мироновская-808»... В прошлом году урожай получили: ржи — тридцать с лишним центнеров, пшеницы — по 40—43 центнера с каждого гектара. Для этих мест неслыханно и небывало!

И добились этого как будто несложным путем. Убрали камни (здесь все начинается с уборки камней), хорошо распахали и так же хорошо удобрили землю и посеяли перекрестным способом районированными и для этой местности семенами. Ну и уход: подкормка, прополка гербицидами... Господь бог помогал — дождей хватало.

Ехали-ехали, и вдруг Василь Хомченко заметил:

— Вот едем сто с лишним километров, и ни одной надписи по-белорусски!

Председатель райисполкома, сидевший в нашем автобусе с микрофоном в руках, как настоящий гид, хитровато (он, кажется, вообще мужик себе на уме) улыбнулся:

— Как же? А на границе района? «Сярдэчна запрашаем!..» Было, было!

Но вот и еще одна граница — граница между Докшицким и Мядельским районами. Самодеятельность, речи, взаимные благодарности. Руководство совхоза «Ситце» приготовило — «на развітанне» — янтарную медовуху крепостью, как уверяли, пять-шесть градусов.

Секретарь ЦК КПБ А. Т. Кузьмин сунул Василю Быкову сразу две рюмки. Быков подходит ко мне:

— Ну, давай выпьем!

Выпили. Распрощались. Поехали дальше. Отсюда, от границы, нас сопровождал председатель Мядельского райисполкома, менее остроумный и более сдержанный, чем его докшицкий коллега.

И картины по сторонам пошли иные. Поля похуже, урожай пониже, люди пожиже.

На всем пути (а дорога не близкая) заборы в деревнях ровненько подпилены и побелены известью. Секретарь Докшицкого райкома партии уверяла нас, будто в районе объявлен месячник борьбы за культуру села. А в других районах? Тоже месячник? Или только неделя?

И — толпы людей, особенно много школьников, мальчишек и девчонок, большей частью — малышей. Приоделись, как на праздник, в руках — букеты цветов. А машины не только не останавливаются, но даже не притормаживают.

Раздаются возгласы:

— Помашите рукой!

Кое-кто приникает к стеклам, улыбается, машет...

Нашу компанию «вела» машина ГАИ сине-желто-полосатая, с постоянно мигающим ярким синим фонарем на крыше. Всюду, где дорога раздваивалась, стояли парни с красными повязками на рукаве, а на перекрестках и в селах — милиционеры, один, двое, реже — трое. Парни (наверное, дружинники) указывали направление, куда надо ехать, милиционеры брали под козырек. Возле милиционеров, как правило, толпились детишки, женщины, мужчины, одним словом — народ. Мужчины стояли молча и руками не махали.

Но вот и Нарочь. Нас поместили в городке для туристов. Место неважное: низинка, кругом еловые леса, до озера далековато... Едва устроились, едва осмотрелись, как приезжает начальство. Выхожу из домика, смотрю — стоит П. М. Машеров. Направляюсь в его сторону. Он замечает меня и делает несколько шагов навстречу. Здороваемся так, как будто знакомы друг с другом давным-давно, хотя я не уверен, что он знает, кто я и кем работаю. В лицо знает (мы встречались и на совещании в ЦК КПБ, и на съезде писателей), но и только.

Вокруг нас сразу же образуется группа. Алесь Божко подходит, еще кто-то... Потом и А. Н. Аксенов, второй секретарь ЦК КПБ.

Машеров:

— Устали в дороге?

Говорю, что да, устали, дорога долгая, да и впечатлений... Разговор заходит о докшицких полях. Я сказал, что лет четырнадцать назад, когда я работал в «Колхозной правде», объездил всю республику, представляю, что тогда здесь было, и теперь поражен. В таких местах и такие урожаи!.. Маляров стал хвалить секретаря райкома партии, вообще людей, которые добились буквально чуда.

Позже, в ресторане, он вспомнил, как в оные времена самолично снаряжал ходоков в Казахстан. Старики съездили, облюбовали место... Когда вернулись, сказали, что в Казахстане хорошо — земли много и земля хорошая, — но... нет вот этого леса... И переселяться отказались. И вот теперь на бедных, считавшихся совсем бесплодными землях люди получают лучшие в республике урожаи.

Скоро П. М. Машеров перешел к другой группе, потом к третьей, женской, — мы остались с Аксеновым. Оказалось, Аксенов знает Алеся Божко. Он стал вспоминать, как последний в сороковых годах не испугался поехать в какой-то самый бандитский район Западной Белоруссии.

В ресторан, где был накрыт стол, пошли пешком. Дорога лесная, кое-где в лужах. В нашей кучке (Макаенок, Шамякин, еще кто-то) был Аксенов. Разговор зашел о Китае. Почему — не помню, но эта тема всех почему-то интересовала. Аксенов сказал, что, по сообщению одной гонконгской газеты, Мао Цзэдун при смерти. В Пекин вызваны все члены ЦК.

Ужин был как ужин, обильный во всех смыслах. И закуски, и вина, и тостов-речей — всего хватало.

Удачно хохмил Андрей Макаенок. Когда выехали из Минска, секретарь райкома партии рассказал, что на птицефабрике имени Крупской (это район Зеленого Луга) проигрывают музыку, отчего куры лучше несутся и быстрее растут и жиреют.

— Хорошо бы у нас в Союзе писателей организовать группу, которая ходила бы по птицефабрикам и читала наши произведения... курам на смех. Все польза!

В дороге председатель Докшицкого райисполкома стал рассказывать историю о том, как медведь напал на школьников, шедших на сенокос. Увидев косматого хозяина тайги, ребята перебежали на другой берег какой-то речки и остановились, ожидая, что будет дальше. Медведь переплыл речку, хотел взобраться на крутой, обрывистый берег, но ребята замахали руками, платками и не пустили. Тогда медведь вернулся обратно, увидел брошенную кем-то газету и стал рвать ее в клочья.

В этом месте рассказа Макаенок взял из рук председателя райисполкома микрофон (автобус был радиофицирован) и громко сказал:

— Это была газета «Літаратура і мастацтва»!

А наутро, когда позавтракали (без вина), вдруг все попритихли. Сидели и ждали, когда поднимется начальство и объявит распорядок дня. Тишина продолжалась с минуту. Ее нарушил Машеров. Вставая из-за стола, он сказал:

— Что ж мы сидим...

И в это время сидевший неподалеку от него Макаенок подхватил:

— Ждем обеда, Петр Миронович!

Все знали, что к обеду будет вино. Намек поняли и приняли... Все громко расхохотались.

За ужином произнес речь Аксенов. Он вспомнил, как завидовал когда-то украинцам — у них и Донбасс, и Криворожье, и Днепрогэс, а в Белоруссии ничего. Одна Белгрэс, да и та, что это за станция! А теперь? Теперь республика стала одной из самых промышленно развитых в стране.

А после ужина опять разбрелись кто куда. Одни вели умные разговоры, другие травили анекдоты. Возле домика № 15 «давал жизни» Максим Танк. Анекдот

за анекдотом, и все соленые — не для женского уха... Все, кто был около него, покатывались со смеху.

В разгар веселого настроения Максим Танк вдруг повернулся и ушел куда-то, возможно, к себе на дачу. А мы побрели вдоль асфальта — просто так, прогуляться перед сном. Глядим, в том месте, где стоянка автомашин, собралась толпа — человек, наверное, двадцать... В середине круга — Машеров. Высокий, в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке, он походил на монумент. Он говорил... Говорил увлеченно, даже запальчиво, и тыкал пальцем в сторону Василя Быкова. Быков стоял, как всегда, хмурый и молчал.

Речь шла о том, что надо, прямо-таки необходимо создать многосерийный телевизионный фильм, посвященный партизанам Ушатчины. Идея эта родилась лет семь назад, но дело пока что так и не сдвинулось с места.

— Пусть Анатоль Велюгин возьмется, он мастер! — подал кто-то голос.

— Я уже делаю по заказу Центрального телевидения два фильма. Один про Белоруссию, другой про Украину, вместе с украинцами, — сдержанно буркнул Велюгин.

Заговорили о трудностях, связанных с созданием такого фильма. Машеров уточнил, что это должен быть именно художественный фильм, но построенный на документальном материале. Фильм о подвиге народа в войне.

Одни были за, другие против... Дискуссия продолжалась. Когда стали расходиться, было уже далеко за полночь. Всем было ясно, что создать многосерийный художественный фильм не удастся.

Вернувшись в дом № 15, я лег спать. Слышно было, как за стеной переговариваются Иван Мележ и Алексей Русецкий. Мележ рассказывал о поездке по местам, связанным с Черняховским, о том, что продолжает переделывать роман «Минское направление»... Русецкий интересовался какими-то деталями, но какими, я не понял, — меня клонило в сон...

На другой день было воскресенье. Проснулись все рано. Когда я встал и вышел, Петрусь Бровка уже прогуливался по поляне. Василь Витка шел умываться. С ним был и Павел Ковалев, недавний главный редактор журнала «Полымя», а ныне просто персональный пенсионер республиканского значения.

Тихо было только в доме № 16, где поместились Андрей Макаенок и Иван Шамякин. Вчера Шамякин страшно устал и вдобавок промерз. Вечером стоит на асфальте с измученным лицом, переминается с ноги на ногу.

— Вид у вас неважный, Иван Петрович, — говорю.

— Устал. И замерз. Не захватил плащ, думал, тепло будет, а тут...

— И шли бы себе спать!

— Неудобно как-то, — и кивает в сторону Машерова.

Пошли на Нарочь. Постояли на берегу, рассказывая анекдоты. Здесь были Павел Ковалев, Василь Витка, Алесь Божко. Потом подошли критики — Дмитрий Бугаев и Виктор Коваленко. Критики держались тихо и как-то обособленно.

Дальше все пошло по распорядку. Завтрак. После завтрака потолкались на берегу Нарочи. Потом сели в автобусы и поехали на теплоход. Потом прогулка на теплоходе и фотографирование возле памятника воинам и партизанам. Потом — обед — уже с вином, — а после обеда опять сели в автобусы и поехали в Минск. Жизнь изучили, чего еще надо!

На границе с Вилейским районом (возвращались через Вилейку) остановились. Здесь нас уже поджидали участники художественной самодеятельности. Несколько песен — «развітальных», — каждому из нас вручили памятные подарки — значок «Нарочь» и альбом «Нарочь»... Рукопожатия, взаимные благодарности и — снова в путь. По сторонам замелькали те же поля, леса, деревеньки. Только заборы уже не были подрезаны и побелены, и на улицах не стояли приодетые детишки, женщины и мужчины. Очевидно, в этих местах не проводилось недели, тем более месячника по благоустройству...

Если говорить об устроителях этой поездки-семинара, как ее называли в тостах, то наиболее благоприятное впечатление произвели А. Н. Аксенов и А. Т. Кузьмин. Первый отличается живым умом, живой речью и какой-то раскованностью в общении с людьми. Кажется, он чувствует себя прежде всего человеком, а потом уже секретарем, и в этом все дело.

Кузьмин все время был молчалив, сдержан. В воскресенье после завтрака подошел ко мне, взял под руку:

— Пройдемся!

Я ожидал, что разговор пойдет если не о литературе, то, по крайней мере, о журнале. Ничего подобного! Он стал вспоминать, как отдыхал здесь, на Нарочи, вот на этой поляне, дикарем. Поставил палатку и жил, ловя рыбу. В то время здесь жил какой-то местный рыбак, знавший места, где клюет. Он, то есть Кузьмин, все просил того рыбака поделиться секретами, споил цистерну водки, — черта с два. Выйдет на берег, разведет руками, показывая на горизонт:

— Во-он там! — и дело с концом.

Двойственное впечатление оставляет Машеров. С одной стороны, рост, осанка, голос. А с другой — некая заданность, граничащая с театральностью. Слова, которые он произносит, похожи на гальки, побывавшие в тысячах и тысячах руках: они круглы, гладки и... неинтересны. Слушаешь — все правильно, все так и надо, а — не задевает и не трогает.

Отталкивает и налет барства. М. М. Джагаров во время войны был боевым партизаном, чуть ли не начальником штаба бригады. Казалось бы, с ним-то Машеров и другие должны быть на дружеской ноге. Свой же брат, партизан... Так нет, Джагаров буквально немеет и цепенеет при виде начальства. Во время обеда или завтрака ходит вдоль стола на цыпочках и со страхом посматривает на тарелки Машерова и Аксенова. Особенно Машерова. И обедает не вместе со всеми, а в сторонке, за отдельным столиком, судя по всему, предназначенным для обслуживающего персонала.

Впрочем, в «обслуживающий» попал и председатель райисполкома. Под конец, во время обеда, Машеров поднял его и давай отчитывать. Мол, так дело не пойдет... Мол, ты такой-сякой, эгоист и прочее... О чем шла речь, мы не поняли. Но всем стало неловко. Позже, когда прощались на границе с Вилейским районом, этому председателю все особенно сочувственно жали руку.

27 июня 1972 г.

Вышел шестой номер «Немана». В нем — великолепные стихи Светланы Евсеевой, стихи человека, который много пережил, передумал, на деле познал, почем фунт лиха, и все же сохранил и веру в жизнь, и желание жить.

Забыв о том, что есть предел,
Что где-то все кончали,
Что общество спокойных стрел
Там ждет ее в колчане...

Так устремленна и остра!
Не скучно ей... Напротив!
Я одинока, как стрела,
Когда она в полете.

6 июля 1972 г.

Вчера встречали Фиделя Кастро.

Впечатление было такое, будто весь Минск высыпал на проспект. Толпы, толпы... Многие с флажками.

Где-то около часа дня мы, неманцы, тоже вышли на крыльцо редакции. Смотрели на публику, которая рекой текла по тротуару, говорили о Фиделе, о притягательной силе его личности.

И вдруг возгласы:

— Едут! Едут!

В самом деле — со стороны площади Победы двигалась вереница машин: впереди три желто-синих «ГАИ», следом — открытая машина, в которой стояли Фидель Кастро, Машеров, еще кто-то... Нас как ветром сдуло на тротуар — хотелось поближе посмотреть на человека, который стал одной из самых ярких фигур нашего столетия.

Высокий, немного неловкий, широкоплечий, чувствуется — очень простой. Стоял, поглядывая то направо, то налево, и помахивал правой рукой. Публика тоже махала. Молча... Только где-то на другой стороне вдруг раздался одинокий выкрик: «Viva!»— и все.

Сегодня есть сообщение, что Фидель Кастро вернулся в Гавану. Может статься, что в Минск он больше не заглянет. А Минска без него уже и не представишь. Пролетел — как метеор, — оставив в душах людских какой-то след. Так, наверное, бывает всякий раз, когда судьба (или случай) сталкивают нас, хоть ненадолго, лицом к лицу с настоящим человеком.

22 июля 1972 г.

На перекрестке стояла машина, нагруженная лесом. Рядом топтались, а вернее сказать, не топтались, а перебегали с места на место, что-то выкрикивая, четверо мужчин. Разобрать можно было лишь одно слово — лоси.

Мы подошли. Поляна была довольно широкая и светлая — на ней частенько играли детсадовские ребятишки... Слева — подросший сосонник, справа — саженцы поменьше, — они еще огорожены колючей проволокой. Почти на самой дороге — высокий, развесистый, возможно, двухсотлетний дуб.

Впереди, шагах в сорока, действительно паслись лоси. Самец-рогач довольно внушительных размеров и стройная, тонконогая, какая-то вся поджарая самка. На машину (мотор продолжал тарахтеть) и на людей они не обращали никакого внимания.

— Идут, идут! Смотрите, идут! Сюда идут! — наперебой выкрикивали мужчины. В их словах слышались и восхищение лесными великанами, и опасение, как бы эти великаны не кинулись на людей.

Мы с Валентиной прошли немного вперед и стали на открытом месте. Дуб, правда, был рядом, шагах в пяти от нас, и я подумал, что в случае чего можно укрыться за этим дубом.

Однако лоси не проявляли агрессивных намерений. Они медленно брели и брели вдоль опушки, обкусывая на соснах молодые побеги, изредка останавливались, как-то мельком, равнодушно взглядывали на людей, снова начинали кормиться.

Вот они совсем вышли на поляну. Мужчины взобрались на уложенные в кузове бревна, и машина покатила дальше. Мы остались, так сказать, пара на пару: лось с лосихой и мужчина с женщиной. Не только могучие, но и красивые животные! Я впервые видел их на свободе так близко. Двадцать шагов, пятнадцать… Хорошо различаешь рога — лопаты — и толстые губы, и «серьгу» у самца, и светло-коричневую шерсть, слышишь ровное, спокойное, полное достоинства дыхание.

— В эту пору они не опасны, вот в октябре-ноябре, когда у них начинается гон, другое дело! Тогда им не попадайся! — говорю я, а сам не свожу глаз с лосей.

Вот они подошли совсем близко, шагов на десять… Остановились и стоят, смотрят на нас, мы — на них. Посторонний мог бы, наверное, подумать, что мы играем в старинную игру: кто кого переглядит. Но «игра» продолжается недолго — минуту, ну от силы две… Рогач делает еще шаг, и наши нервы не выдерживают — мы пятимся, пятимся, а потом и совсем уходим.

Перед тем как свернуть направо, в сторону Московского шоссе, я оглядываюсь в последний раз. Лоси стояли посредине поляны — неподвижные, как

неживые, — и с сожалением смотрели нам вслед. «Ах, какие люди, как они недоверчивы!» — казалось, думали они в недоумении.

27 июля 1972 г.

Заглянул один ученый, — кажется, Манин, кандидат и прочее. Он печатался у нас в «Немане».

Разговорились о том, что материальная сторона в жизни людей берет верх над идейной, то есть духовной.

— Почему это происходит? — я пожал плечами. — Ведь идеология-то наша еще молодая!

— Ну, пятьдесят лет — это уже не молодость, даже для идеологии, — заметил кандидат. — А во-вторых, и всякие влияния сказываются — на всех, сверху донизу. Все хотят иметь дачи, машины... не знаю, что еще... А завел человек дачу, машину — у него и интересы появляются дачные. И все, что раньше было на первом плане — революция, коммунизм, — отодвигается куда-то в сторону. Для него, для этого человека, куда важнее какого-то абстрактного коммунизма конкретные доски для ограды, удобрения для огорода... наконец, колесо для машины...

* * *

Был академик Н. П. Еругин. Принес книгу «Будущее науки» (выпуск пятый), сделал дарственную надпись.

* * *

Андрей Макаенок — после того, как я передал ему суть разговора с Маниным, кандидатом:

— Не знаю, не знаю... — он вперил взгляд куда-то в угол. — Вот я сейчас говорю не для тебя — для себя, чтобы уяснить прежде всего для себя, — думал ли я, когда писал «Трибунал», о материальных благах? Нет! Честное слово, нет! Я говорю это не для тебя — для себя, значит, я не лгу. Да мне и лгать нечего... Нет и еще раз нет! Не думал! Материальные блага пришли потом, сами по себе... Понимая, что они принадлежат мне по праву, я взял их и стал пользоваться ими.

Но к разговору с Маниным это, кажется, не имеет прямого отношения.

31 марта 1973 г.

Мысли некстати...

Андрей Вознесенский сложен, усложнен, зачастую впадает в безудержный формализм, в котором тонут мысли и чувства.

Другое дело Евг. Евтушенко. Он предельно прост и общедоступен, и этим — отчасти — объясняется его популярность. Эти общедоступность, желание быть общедоступным приводят иногда к тому, что Евтушенко перестает верить себе и начинает разжевывать то, что и так ясно. Отсюда — многословие и вялость стиха.

* * *

Чингиз Айтматов, наверное, принадлежит в первую очередь киргизской литературе, как Василь Быков — белорусской. Но без того и другого уже невозможно представить и русской литературы.

Как и в старые времена, русская литература делается сейчас руками писателей многих национальностей. Разница лишь в том, что раньше, начиная писать по-русски, писатель чаще всего старался быть русским и становился русским.

Сейчас же, пиша по-русски (или переводя себя на русский, что практически все равно) писатель остается национальным и тем самым как бы вносит в море русской литературы струю своей национальности.

29 апреля 1973 г.

Мне пятьдесят пять. И много и мало — это как смотреть.

В этот день (в страстную субботу) было партийное собрание. Доклад делал А. Т. Кузьмин, секретарь ЦК КПБ по пропаганде. Я сидел в президиуме рядом с Иваном Мележем, Максимом Танком и Иваном Шамякиным, а потом и выступал, — и думал о том, что все это суета сует. Захотелось — как-то пронзительно захотелось — туда, в Прыганку, в дола и лога, в сосновый бор... Видно, и правда, старость — это одиночество, а одинокий человек больше живет прошлым. Именно там, позади, мелькают мгновенья, которые сейчас, спустя годы и годы, представляются счастливыми.

28 мая 1973 г.

Вчера в «Правде» Евг. Евтушенко — едва ли не впервые! — назван большим поэтом.

Признание знаменательное. Однако оно наводит и на грустные размышления. Талантливые люди у нас сперва подвергаются всякого рода гонениям, а потом уже получают признание. Разве не такова судьба не только Евг. Евтушенко, но и Василя Быкова? А если заглянуть подальше, то и Мих. Булгакова?

О «шипах» при жизни и «розах» после смерти хорошо сказано в Аленкиной пьесе «Дом на берегу моря», которую мы сегодня сдаем в набор.

6 июня 1973 г.

Опять семинар. Писатели, художники и композиторы побывали в Институте физики Академии наук БССР и в объединении «Планар» — так, кажется, оно называется...

Впечатление огромное. Будто попадаешь в совершенно иной, фантастический мир. Все просто и сложно, знакомо и незнакомо... Лазеры, мельчайшие по размерам электронные приборы... Когда читаешь о них — одно, а когда видишь и осязаешь, — совсем другое.

И вот что бросилось в глаза. Когда говорят специалисты, ну, скажем, директор института физики Б. И. Степанов или генеральный директор объединения «Планар» И. М. Глазков, все хорошо. Ты чувствуешь, что эти люди стоят с веком наравне, они отлично знают то, о чем говорят, и речь их кажется хотя и далеко не простой, но вполне естественной и убедительной. Но вот слово берет партийный работник, в данном случае — П. М. Машеров, и получается чепуха. Набор каких-то пустых слов.

Машеров сначала перебивал Глазкова репликами. Потом поднялся и проговорил минут пять-десять. И вся его речь представляла собой примитивную вязь, сотканную из пяти-шести, в сущности, одинаковых фраз. Я записал их, эти фразы, в том порядке, в каком они произносились:

— Мыслить на уровне новых категорий... Мыслить новыми категориями... Работать на началах новых категорий... Минский автозавод я не отнесу к числу тех, кто мыслит новыми категориями... Там, где должны действовать факторы объективного влияния... Работать на уровне большого напряжения моральных и умственных сил... Область действия факторов объективного порядка...

И все слова, слова, слова.

Он высок, строен, красив. Когда выходил, чтобы сказать что-то, то скрещивал на груди руки и слегка вскидывал голову. Ну точь-в-точь Наполеон Первый!

...Не знаю, как остальным, а мне почему-то было очень грустно.

14 июня 1973 г.

Вот уж поистине — нет добра без худа, как и худа без добра.

...Приходит к Макаенку директор литературного архива. Муж умер, сына надо женить — купи то, другое, третье, — а денег нет. «Дай, Андрей Егорович, взаймы рублей пятьсот-шестьсот...» Отказал — обидел.

Несколько дней спустя является Владимир Короткевич. И — та же песня: собрался с женой за границу, а грошей нема, — одолжи восемьсот-девятьсот рублей... И Короткевичу отказал, и в его лице нажил врага. А сколько таких случаев! На Макаенка многие смотрят, как на денежный мешок, и многие (из этих многих) не прочь запустить в него руку.

Но — увы! — Макаенок тоже не промах!

9 декабря 1973 г.

О господи, опять беда на нашу голову! Главлит снял повесть Петра Мильто из первого номера лишь по той причине, что в ней показаны действия нашей армейской разведки на Халхин-Голе и в Маньчжурии.

Разговор по телефону проходил в таком духе:

— Значит, Марина Константиновна, повесть снимается?

— Нет, что вы! Редакции надо только взять разрешение...

У кого? Какое? Ведь это повесть! Все в ней вымышлено — и герои, и описываемые события.

Все равно. Надо взять разрешение в управлении разведки Генерального штаба. Мол, сведения, сообщаемые автором, не являются секретными. Или что-нибудь в этом роде.

Но ведь улита едет, когда-то будет. Пока в Генеральном штабе читают, пока заключают... Пройдет месяца три, а то и все полгода... Выходит, надо снимать.

— Повторяю еще раз: мы не снимаем! Мы только требуем разрешения Генерального штаба. Вы как хотите, в конце концов, это дело редакций. А мы не снимаем! И вообще... Учтите на будущее, что все, что касается армейской разведки, должно проходить через разведуправление.

— Спасибо. Учтем. — Кладу трубку.

И вот как будто неплохо сбитый первый номер летит в тартарары. Вместо повести «На сопках Маньчжурии» даем повесть «Ужин в Лозовахе». Но первая хоть читается (по художественному уровню они примерно одинаковые), вторая же так и дышит скукой. Усилия редакции «заманить» читателя, дать ему с первого номера что-то интересное, читабельное разбились о железобетонную стену Главлита. А ведь это только цветочки. Впереди у нас записки Эдика Свистуна. Мама родная, что-то будет!

19 декабря 1973 г.

Когда-то на этом месте были огороды, поля, сады и, может быть, перелески.

Потом город разросся и подмял все это под себя. О прошлом напоминают лишь уцелевшие кое-где вековые липы, купы яблоневых и других фруктовых деревьев.

Но жаворонки, должно быть, по привычке, прилетают по-прежнему сюда, на это место. Летом на пустыре, который со временем превратится в асфальт или площадь с чьим-нибудь монументом, они порхали стайками, взвивались в небо и оттуда рассыпали свои нехитрые трели. Слушая их, легко было представить себя где-нибудь вдали от города.

Сейчас зима. Декабрь. Морозы доходили до двадцати градусов. Это вам не шуточки! А жаворонки не улетели. Во всяком случае, не все улетели. Идешь на работу или с работы, глядишь, то тут, то там вспархивают пара, другая, третья. Держатся ближе к тропинкам, копаются в мусоре, наверное, ищут корм. Подпу-

скают совсем близко. Только когда подойдешь шага на три-четыре, вспархивают и перелетают на новое место.

Как-то я взял в карман горстку пшена. Завидев жаворонков, рассыпал пшено и ушел. Оглянулся. Жаворонки хотя и не сразу, однако же вернулись и стали клевать. Может быть, они и остались-то зимовать здесь, в городе, среди девяти- и двенадцатиэтажных зданий, потому что прониклись доверием к людям? Мол, не обидят, прокормят, с ними — большими и сильными — нам никакие холода не страшны... Или почуяли, что зима будет теплая? Кто знает!

27 декабря 1973 г.

Заказ на первый номер за 1974 г. составил 118 500. Невиданная цифра! «Неман» стал вровень с некоторыми московскими журналами. Во всяком случае, в этом году «Дружба народов» и «Наш современник» выходили куда меньшим тиражом.

Но, как обычно бывает, возникли затруднения с бумагой. М. И. Делец, председатель комитета, вознегодовал. Еще бы — непредвиденные хлопоты! Директор издательства В. Ф. Терещенко тоже схватился за голову. Макаенок в ЦК, к А. Т. Кузьмину. Тот обещал помочь. Посмотрим, что выйдет, на какой тираж наскребут бумаги. Рассчитываем на сто — сто десять тысяч.

Популярность журнала растет, а работать становится труднее. Впрочем, наверное, в этом есть своя закономерность. Особенно тяжело с Главлитом. Повесть Петра Мильто «На сопках Маньчжурии» пробили, точнее сказать, отстояли. Оказалось, визы Генерального штаба и не требуется, все можно решить на месте, было бы желание. Теперь боимся за записки Эдика Свистуна. А вдруг не поймут в Главлите, заартачатся, снимут? На всякий случай готовим запасной вариант — набрали и сверстали повесть Валерия Высоцкого «Ужин в Лозовахе» и сегодня сдаем в набор большой кусок румынского детектива «Смерть манекенщицы».

Позавчера Макаенок сказал, что надо закрепить стотысячный тираж и на следующий, 1975 год. Я заметил, что дела у нас складываются неплохо, есть что печатать, и повестей, и романов — всего хватает, лишь бы нам не помешали... И это правда. Повесть Аркадия Савеличева «Воротись до полуночи», роман Эрнеста Ялугина «Острова», рассказы Лидии Вакуловской (из цикла «Черниговские сказания») — одного этого достаточно, чтобы «заманить» читателя и подписчика. Лишь бы нам не помешали.

29 декабря 1973 г.

Кончается год, грядет новый, полный тревог и волнений.

Окончательный тираж «Немана» еще не утвержден. Весь вопрос упирается в бумагу.

Экономисты подсчитали, что при тираже 110 000 экз. журнал даст за год 168 тыс. руб. чистой прибыли! Экономим на копейках, а тут тысячи... Есть о чем подумать!

Вчера звонил из Москвы Никифор Пашкевич. Рецензию на книгу Ивана Шамякина приняли, хотят дать в третьем номере. Для меня это все равно — что во втором, что в третьем... Книга не по душе, и рецензия получилась вялая, неинтересная. Вместо того, чтобы сказать правду, я хожу вокруг да около.

Боимся за Эдика Свистуна. Все боимся... Арлен Кашкуревич нарисовал остроумные рисунки. И Кашкуревича будет жалко, если все полетит в тартарары. 2—3 января получим вторую корректуру, значит, числу к десятому наша бесценная Марина Константиновна прочитает и скажет свое веское слово. Вообще-то в повести ничего нет, никакой крамолы. Просто боимся, что Марина Константиновна не поймет. А коли не поймет, то и не пропустит.

Погода стоит мерзкая. Мокрядь, слякоть, даже воздух кажется каким-то водянистым — дышать нечем. Вот вам и зима!

* * *

Только что разговаривал с директором издательства В. Ф. Терещенко по телефону. Он, что называется, обрадовал: первый номер печатаем тиражом 106 000 экз. Остальные 12 тыс. 500 — коту под хвост.

8 января 1974 г.

Вчера позвонил Петр Хорьков и сообщил, что Аленке за пьесу «Просительница» присуждена третья премия на конкурсе.

— Передай от меня самые горячие поздравления, — сказал он.

Я спросил, что собою представляет эта премия. Хорьков ответил, что в данном случае важны не деньги (двести рублей не бог весь какой капитал), а, так сказать, моральный фактор. Я согласился с ним. Да, моральный фактор в данном случае, может быть, важнее двухсот рублей. Зато автор... автор рассудила поиному. «Как? Только двести рублей? Почему так мало?»

Премией Аленка обязана, конечно, Макаенку. Не попадись пьеса ему на глаза, не прочитай и не оцени он пьесу по достоинству, и не видать бы ей даже этих двухсот рублей как своих ушей.

* * *

А сегодня решился вопрос и с Эдиком Свистуном. Опасения в общем оказались напрасными. Наша Марина Константиновна две первых части одобрила без всяких разговоров. Предложила только убрать три строки насчет иностранцев, которым мы привыкли верить.

Что ж, теперь посмотрим, что скажет критика. Во всяком случае, судьба Эдика Свистуна теперь целиком и полностью в руце божией, и мне, автору, ничего не остается, как возвести очи горе и сказать:

— О господи, боже милостливый...

18 января 1974 г.

Макаенка приглашает к себе Полянский, нынешний министр сельского хозяйства. Наверное, хочет дать «социальный заказ»: мол, напиши-ка пьесу о современной деревне.

Перед тем как отправиться в Москву, Макаенок побывал у Машерова и попутно, между прочим, выбил кое-что для «Немана». Ну, во-первых, две штатные единицы: зав. редакцией и фотокорреспондента. Затем — две с половиной тысячи на рецензирование рукописей. И, наконец, тысячу двести на командировки.

«Неман» стал популярнее, и работать стало труднее. Каждому хочется напечататься в нем! Сегодня предстоит трудный разговор с Александром Адамовичем и Янкой Брылем. Они «толкают» свою «вёску». Мы берем, но только шесть листов: по два в трех номерах. Им это кажется мало. А мы больше дать не можем, потому что материал-то однообразный, да и известный. Он уже вряд ли привлечет читателя.

2 февраля 1974 г.

Полмесяца не брался за дневник. Все некогда было. За это время много воды утекло.

Прочитал повесть Виктора Козько «Здравствуй и прощай». Есть отличные места, особенно там, где он описывает тайгу. Но в общем, когда читаешь, не покидает чувство зажатости. Будто весь мир клином сошелся на крохотном пятачке и дальше ходу нет.

Аленка закончила пьесу «Под созвездием Гончих Псов». По-моему, это шаг вперед — для нее, для автора, разумеется... И главное, вполне, вполне цензурно,

чего не скажешь о «Кругах» и «Художнике». Посмотрим, как примут эту пьесу и здесь, и там...

Макаенок вернулся из Москвы окрыленный. Он все больше проникается мыслью, что наступает время для сатиры и сатириков. Для серьезной сатиры.

Что ж, поживем — увидим.

Мой Эдик Свистун выходит в люди. На первых порах он вызывает даже не улыбки, на что я рассчитывал, а скорее удивление и недоумение. Что это, мол, за чудище?! Во всяком случае, такой прием ему оказали в «Вечернем Минске». Сначала попросили, хотели дать в нескольких номерах, а потом вдруг вежливо отказались. Бормотали что-то насчет объема... Но было ясно, что дело не в объеме, просто-напросто Эдик оказался слишком экстравагантным для такой серьезной, добропорядочной газеты, какой является «Вечерний Минск».

10 февраля 1974 г.

Читаю седьмой том Достоевского. Отрывки, наброски, незаконченные фразы, — словом, черновая работа мысли. Но — какой мысли!

При чтении возникает почти физическое ощущение, как Достоевский ходил сутулясь или часами просиживал за столом, над чистыми листами бумаги, обдумывая идеи, образы, характеры и, наконец, конструкцию романа в целом. Это, наверное, самая мучительная и увлекательная часть работы.

15 февраля 1974 г.

А «Вечерний Минск» я напрасно хаял. Эдик Свистун понравился, и редакция хочет дать его в нескольких номерах. Правда, в отрывках.

* * *

Вчера была редколлегия. Я докладывал об итогах прошлого года и планах на этот год. Итоги выразились в цифрах достаточно внушительных: начинали мы год тиражом 60 000 экз., а кончаем тиражом без малого 69 000 экз. Доход планировался 59 000 руб., а фактически составил 73 628 руб. Ну, и планы ничего, дай бог силы выполнить их! Главное — есть проза! Есть, есть! И Виктор Козько, и Аркадий Савеличев, и Эрнест Ялугин — все это серьезно.

16 февраля 1974 г.

Солженицын лишен советского гражданства и выдворен из страны. Говорят, в ФРГ.

Из-за скудости нашей информации (всего десять строчек петита) случай с Солженицыным вызывает уйму кривотолков. В интеллигентских кругах брожение, пусть тихое, словесное, но брожение: мол, мы не можем судить, дайте нам почитать этот самый «Архипелаг ГУЛАГ».

13 февраля, до того, как передали сообщение, Макаенку позвонил Матуковский, собкор «Известий»:

— Слушай радио, — говорит, будут передавать сообщение, и ты должен знать, в чем его суть.

— Что за сообщение?

— Оно касается Солженицына.

— А почему я должен знать суть?

— Твоя подпись стоит под одним заявлением... Там много подписей, но в том числе и твоя...

На другой день, перед тем как начать заседание редколлегии, мы с Макаенком сидели у меня в кабинете и толковали о всякой всячине. Когда разговор коснулся Солженицына, я открыл стол и вынул рассказы этого автора, присланные когда-то в «Неман» на предмет опубликования.

— Порвать?

— Нет, зачем же! Пусть лежат! — возразил Макаенок.

А вчера зашел ко мне Олег Фомченко из «Вечернего Минска» и сказал, что нет-нет да и раздаются звонки в редакцию. Некие «доброхоты» выражают свое возмущение. Звонят, разумеется, из автоматов.

— Почему? На каком основании? — И все в этом роде.

Между прочим, Олег Фомченко заходил лишь затем, чтобы сообщить «пренеприятное известие»: редактор «Вечернего Минска» Язылец зарезал-таки Эдика Свистуна. Испугался и зарезал. Бедный Эдик!

16 февраля 1974 г.

Вчера в редакцию пожаловал консул Польской Народной Республики Роман Вацлавский, человек лет под пятьдесят, как мне показалось, который изо всех сил старался выглядеть дипломатом.

Утром Макаенок позвонил мне и попросил купить бутылку коньяку и конфет, что я и сделал, когда шел на работу. За его счет, разумеется, у меня в кармане хоть шаром покати... Мы сидели за столиком, пили, вернее — тянули коньяк, закусывая конфетами, и вели всякие разговоры. Консула интересовало все и... ничего. То он спрашивал, над чем Макаенок работает, какую пьесу пишет, то как бы между прочим напоминал, что в апреле исполняется 30 лет освобождения Польши, тем самым намекая, что надо бы как-то отметить эту дату в журнале. Я сказал, что хорошо знаю Польшу, а когда речь зашла об Елене Гуре (Гиршберге), спросил, как замок Гер. Гауптмана, сохраняется ли. Вацлавский сказал, что да, сохраняется, хотя по всему чувствовалось, что он не в курсе.

Разговор в таком духе продолжался ровно час. Потом консул взял свою рюмку, поднял ее:

— Ну, на «посошок», как у нас говорят!

— У нас тоже говорят на «посошок», — заметил Макаенок.

— Ну, так у вас и у нас... На «посошок»! — И, чокнувшись с нами, выпил, встал и начал одеваться.

Мы проводили его до порога.

За коньяком не могли не вспомнить и о Солженицыне. Макаенок сказал, что там (имеется в виду — на Западе) повозятся с ним год, ну, может быть, немного больше, и все его забудут.

— Да, конечно, — неуверенно мотнул головой консул.

18 февраля 1974 г.

Люди живут ожиданием перемен. Каждый намек на эти перемены, каждое обнадеживающее словцо, исходящее «оттуда», то есть из верхов (низы сейчас не способны на какие-либо активные действия) вызывают щемящее чувство надежды.

По словам Макаенка, Полянский поддержал его мысль о том, что там надо смелее писать о недостатках. Он будто бы сказал даже так: «Сколько у нас в ведомстве журналов? Тридцать? Ну так вот, один из них надо сделать журналом острой сатирической направленности!»

Завтра приезжает В. Ф. Шауро, зав. отделом ЦК КПСС. На встречу с ним приглашены Макаенок и я. Может быть, ничего нового Шауро не скажет. Однако мы ждем... Ждем — чего? И сами не знаем, все еще ждем того, что берется, а не дается.

20 февраля 1974 г.

Увы, ожидания были действительно тщетными. Ничего нового Шауро не сказал. Была обычная лекция об идеологической работе в современных условиях, потом ответы на вопросы, касавшиеся, главным образом, Солженицына. Если

верить лектору, у нас все хорошо, лучшего не надо. И литература процветает, и театр, и кино, одним словом, все, все.

Солженицына выдворили во Франкфурт-на-Майне. Там его встретил Генрих Бёлль. После двухдневного пребывания у Бёлля (дружба!) Солженицын отправился в Швейцарию, в Цюрих, поближе к своим капиталам. А капиталов у него, говорят, накопилось порядочно. До выхода «Архипелага ГУЛАГа» у Солженицына на счету было полтора миллиона. А сейчас около двух или более двух! Человек знал, какой товар дороже ценится!

Завозились и наши «левые». Евтушенко написал письмо на имя Брежнева. Это письмо каким-то образом попало в Италию и было напечатано в какой-то буржуазной (говорят, что буржуазной) газете, а потом и передано по радио. В связи с этим не состоялся его творческий вечер в Колонном зале, который должен был транслироваться по телевидению.

Отвечая на записку, Шауро сказал, что о вечере не могло быть и речи — Евтушенко был в таком состоянии... Макаенок бросил реплику :

— Он что, был пьян?

— Нет, — ответил Шауро, — Евтушенко не был пьян, но находился в таком состоянии, что о вечере не могло быть и речи.

Андрей Вознесенский в разгар событий работал здесь, под Минском, в Аксаковщине. Когда случилась история с Солженицыным и когда стало известно о письме Евтушенко, Вознесенский сразу собрался и махнул в Москву. «Посоветоваться с Зоей Богуславской, как ему вести себя», — пошутил по этому поводу Макаенок.

14 марта 1974 г.

Умер журналист, острый ум и острое перо.

Умер человек с задиристым, ершистым характером, с множеством недостатков, но и с достоинствами, которые, несомненно, с лихвой перевешивали эти недостатки.

Умер Борис Устинов.

13 марта он умер, и в тот же день в «Вечернем Минске» появился Указ о присвоении ему звания заслуженного работника культуры республики. Вечно-то мы опаздываем!

Говорят, незадолго до смерти ему зачитали текст Указа. Он будто бы сказал: «Ну все... Это конец!»

И это, действительно, был конец. Итог. Черта.

Мы с ним долгое время были соседями. Жили через коридор. Виделись каждый день.

Потом разъехались и — разошлись. Он любил карты и выпивки, мне это было неприятно, и общих точек соприкосновения с годами становилось все меньше и меньше.

Встречались чаще всего в редакции «Немана»: Борис то приходил занять пятьдесят рублей (обязательно пятьдесят), то приносил материал, мелкий, для «разных разностей»... Разговор был, что называется, на ходу: «Как жизнь? Как Валентина Алексеевна?» Вот и все.

Месяца два назад я встретил его в лечкомиссии. Он сделал вид, что не заметил меня, и прошел мимо. Я тоже не остановил его. Лишь обернулся и посмотрел ему вслед — на его согбенную спину уже пожилого и к тому же больного человека. У него оказался рак правого легкого.

Он хорошо знал Чехова. И любил цитировать его на память. Особенно ему нравилось начало повести «Моя жизнь». Бывало, процитирует с выражением и потрет руками от удовольствия: хорошо! Но мне приходит на память другое место из той же повести — начало последней главы: «Если бы мне вздумалось заказать себе талисман, я выбрал бы такую надпись: «Ничто не проходит»...

...Ах, как хотелось бы, чтобы это было именно так!

21 марта 1974 г.

Читаю роман Бориса Павленка «Мои далекие синие горы». На ложку беллетристики бочка публицистики. Но — занятно и... верно! Посмотрим, что будет дальше.

* * *

А Макаенок погорел — в буквальном смысле слова. Позавчера, то есть в прошлый вторник, у него сгорела дача в Ждановичах. Прекрасная была дача! Великолепная дача! Он в свое время отдал за нее шесть тысяч рублей. А полтора года назад один северянин давал ему за нее уже четырнадцать тысяч! И вот — сгорела!

Между прочим, передавая подробности пожара, строя всякие предположения насчет того, что могло вызвать этот пожар (не исключается и поджог, так сказать, вторжение без оружия), он сказал:

— Не везет так не везет! Позавчера дача сгорела, а сегодня подметки оторвались. Только купил ботинки, неделю назад, и на тебе — оторвались! — И сам же громко засмеялся.

25 марта 1974 г.

Прочитал роман Бориса Павленка «Мои далекие синие горы». Хороший роман, неравнодушный.

Да, в нем много публицистики. Но публицистика пропущена через сердце Андрея, главного героя романа, и не кажется чужеродной.

В романе много живых фигур, отличных сцен. Однако важнее, пожалуй, другое: автору удалось показать народ в первые дни войны, и показать не избито, по-своему, как еще никто не показывал. Реализм чистейшей воды окрашен романтикой почти мальчишеских лет — и это впечатляет.

Вчера роман взял читать Макаенок. Посмотрим, что он скажет. Передавая рукопись, я, во всяком случае, твердо сказал, что я за публикацию. Не в этом году (этот год забит до отказа), — в первом и втором номерах за будущий, 1975 год.

4 апреля 1974 г.

Разговор о« Борисе Годунове». Я считаю эту трагедию превыше многих, шедших и идущих на сцене. Макаенок, наоборот, относится к ней с холодком.

— Не сценичная. Потому-то и не идет.

— Зато читается, вот ведь какая штука. Есть пьесы, которые идут, но которые читать невозможно. А есть — не ставятся, а читать их одно удовольствие. Первые становятся фактом театральной жизни, вторые — фактом литературы. Даже Шекспир уже редко ставится. А читать... Дай-ка его новое собрание сочинений — в миг расхватают! Да и тот же «Борис Годунов»... Издают, издают, а все мало.

— Нет, трагедия все-таки неудачная. Пушкин на этом материале должен был бы написать прозу, ну, роман, например...

— В духе Вальтера Скотта?

— Может быть...

— Пушкину это советовали... И знаешь кто? Николай Первый!

—Не может быть! — Макаенок даже попятился немного.

— Да, да, представь себе! И именно в духе Вальтера Скотта!

— Какой умный был царь! — перевел все на шутку Макаенок и первым громко рассмеялся.

Не знал или забыл? Впрочем, мог и не знать. В партшколе этого не проходили, а самому прочитать не довелось. Да, как я заметил, читает он вообще мало, большей частью то, что имеет непосредственное отношение к его нынешней работе. Сейчас, например, он штудирует биографии Черчилля, Де Голля и других великих мира сего.

7 апреля 1974 г.

Утро. Еще нет и шести. Восток только-только начал светлеть. И вдруг в открытое окно полилась песня жаворонка. Настоящего жаворонка!

И сразу пропало чувство города и городской квартиры со всеми удобствами вплоть до газа и мусоропровода, и на какое-то время показалось, будто я там, в степи, может быть, в тех же логах, и кругом никого нет. Степь, синее небо и — эти жаворонки... Хорошо!

Неужели это те самые жаворонки, которые оставались здесь на зиму? Или прилетные? Как бы то ни было, а их привязанность к родному клочку земли не перестает удивлять. Кругом дома — девяти-, двенадцати- и шестнадцатиэтажные, — снуют автобусы и легковушки, без конца бродят люди, а им, птахам, хоть бы что! Еще и гнезда совьют где-нибудь на пустыре, и птенцов выведут! Что ж, в добрый час!

А вообще-то чему же здесь удивляться? В будущем так и будет. Чем острее человек будет чувствовать потребность в природе, тем добрее, бережнее станет относиться к ней. И в конце концов наступят времена, когда звери и птицы — если не все, то многие, — увидят в людях не врагов, а друзей, и перестанут их бояться. И уже людям надо будет остерегаться, как бы не наехать, не наступить на потерявшего всякий страх зверя или птицу, не причинить им нечаянного вреда.

11 апреля 1974 г.

А сегодня звонил Борису Павленку. Сказал, что роман прочитал, и прочитал с удовольствием. Почти не отрываясь.

Макаенок (он тоже прочитал) говорит, что это, строго говоря, не роман — ему надо дать другое жанровое определение. Я с ним согласен. Однако это не меняет положения. Будем печатать.

29 апреля 1974 г.

Говорят, в Москве действует какая-то шайка, которая занимается тем, что поджигает дачи состоятельных товарищей. Денежных товарищей.

В Минске то же самое. Начались ограбления. Но какие ограбления! У предсовмина Киселева исчезли золото и хрусталь. Не все золото и не весь хрусталь, разумеется, — какая-то часть. Вора нашли. Кое-что вернули. Остальное пропало. Дело возбуждать постеснялись. Неудобно предавать гласности такие вещи.

Потом обокрали квартиру Пилотовича, бывшего секретаря ЦК КПБ, а ныне посла в Польше. Хранительницей квартиры оставалась теща Пилотовича, Розалия Антоновна. Однажды она куда-то вышла на минутку. А воротилась, ее встретили дюжие молодчики. «Тихо, а то будет худо!» Втолкнули в туалет и приказали помалкивать. А сами тем временем стали «убирать все лишнее», опять же золото и хрусталь, как вещи, не теряющие цены. Взяли, вышли, погрузили на машину и... поминай как звали.

Розалия Антоновна, разумеется, подняла шум, прибежала милиция, начались поиски... Все тщетно!

Наконец самый свежий и самый смешной случай. Днем подъехала машина, из нее вышли, допустим, те же молодчики и очистили квартиру Марцелева, зав. отделом культуры ЦК КПБ. Все забрали. Впрочем, не вообще все, а все или почти все золото и почти весь хрусталь, и опять — никакого шума. Как будто ничего и не было.

21 мая 1974 г.

Макаенок приехал из Польши. В составе делегации был и Владимир Солоухин.

— Настоящая русская душа. Смотрит тебе в глаза — и ты знаешь, что то, что у него на уме, то и на языке. Будет хвалить или хаять — все от души, искренне.

— Между прочим, — продолжал делиться своими впечатлениями от поездки, — я сделал для себя одно открытие. Меня все время упрекают, за язык упрекают, будто бы в языке у меня много русизмов. Люди у меня пьют не из шклянок, а из стаканов, едят не цукерки, а конфеты. Теперь, если бросят упрек, я знаю, что ответить. Я напомню им, что язык-то у нас белорусский!.. Белорусский, обрати внимание, а не белопольский! Посмотрю, что они на это скажут!

О приеме в советском посольстве рассказывает:

— Дворец — ну прямо-таки княжеский! Приезжаем. Вместе с Солоухиным. Сидим десять, двадцать минут. Нет посла, то есть Пилотовича. Солоухин пожимает плечами: «Может, хватит ждать?» — «Погоди, — говорю, — ты увидишь что-то интересное!» Проходит еще двадцать минут. Наконец является. Приглашает в кабинет. Посочувствовал мне (насчет сгоревшей дачи), я посочувствовал ему (насчет ограбленной квартиры)... Потом спрашивает: «Ну, как вас здесь принимают?» А я уже на взводе и про себя думаю: я тебе сейчас выдам по первое число... «Как, — отвечаю, — какой посол, такой и прием!» Пилотович насторожился, но пилюлю проглотил. Кивает помощнику: дескать, чаю... Я говорю: «Только чаю?» Тогда Пилотович снова кивает: «Пусть принесут коньяк!» Я вздыхаю и говорю с укором: «Вы и здесь коньяк с утра пьете!» Пилотович побледнел, потом покраснел, но и эту пилюлю проглотил. Что ему оставалось делать? А когда мы вышли, я сказал Солоухину: «Ничего, пусть не заставляет людей ждать так долго!»

Продолжение следует.

Бабуля с репкой и подсолнухи в глазах

У Заира Азгура есть замечательное воспоминание о том, как однажды к жившему тогда в Минске на улице Провиантской Янке Купале пришли молодняковцы Владимир Дубовка, Михась Чарот, Алесь Дудар, Анатоль Вольный, Язеп Пуща и Андрей Александрович. Обычное явление того времени: беседа плавно перешла в чтение стихов. И вот после того, как хозяин дома прочитал гостям свое стихотворение «Паязджане», «у Міхася Чарота з вачэй паліліся слёзы, ён кінуўся да Янкі Купалы і пачаў яго цалаваць.

— Ты наш бацька, — сказаў ён Купалу».

На первый взгляд это воспоминание кажется чересчур сентиментальным и красивым, но стоит почитать свидетельства других участников подобных встреч, чтобы убедиться: оно довольно точно отражает отношение тогдашней творческой молодежи к тем, чьи стихи она с детства знала наизусть. Кстати, «бацьку» Купале на тот момент было чуть больше сорока: по сегодняшним литературным меркам — совсем ничего.

Существовала ли в двадцатые годы в литературе проблема поколений? Конечно. Она существовала всегда, поскольку в основе ее лежит желание молодых самоутвердиться, и наше время в этом плане не исключение. Но есть ли разница в отношениях между «отцами» и «детьми» теми и нынешними? Есть, и, увы, не только *теми*. То ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х годов прошлого века на съезде Союза писателей Беларуси Иван Науменко в ответ на призывы молодых провести «чистку» на вершине литературного Олимпа, не сдержавшись, бросил из президиума:

— Поднимите руку, кто пишет лучше, чем Иван Науменко!

Поднялся десяток рук!

Наверное, в тот момент обиженными почувствовали себя многие писатели старшего поколения. Но, поднимая руки, молодые тем самым хотя бы утверждали, что знакомы с творчеством автора «Сосны при дороге» и «Ветра в соснах», «Общежития на Немиге» и «Осенних мелодий». А то, что отечественной литературе необходимо обновление, так об этом говорилось и до них. Многие, вероятно, еще помнят дискуссию в газете «Літаратура і мастацтва», начатую в самом начале 1983 года полемической статьей Таисы Бондарь «Поэзия или версификаторство?». Вопросы поднимались в ней не менее острые: «Стихосложение — еще не творчество, сочинение в стихах — еще не поэзия. Казалось бы, разве надо это сегодня кому-нибудь доказывать? А раскроешь любой из журналов, бросишь взгляд на плотно заставленные поэтическими сборниками полки книжных магазинов, и становится не по себе. Десятки, сотни поэтов — в то время когда мы со всех трибун говорим об упадке поэзии? Или эти десятки, сотни как раз и свидетельствуют об упадке?» Как и следовало ожидать, позицию Т. Бондарь активно поддержали молодые. Но любопытно, что их в этой дискуссии не одернули старшие коллеги по цеху. Наоборот, кое в чем поддержали, а говоря о достижениях современной поэзии, продемонстрировали достаточно хорошее знание творчества тех, кто только начинал свой путь в литературе.

Могут ли сегодня наши именитые поэты и прозаики похвастаться тем, что внимательно следят за творчеством своих юных коллег? И часто ли молодые читают тех, кто давно и плодотворно работает в литературе? Вероятно, и те и другие тешат себя надеждой, что так оно и есть. Возможно, это действительно так. Тем не менее, некоторые очевидные факты заставляют усомниться в этом. Если обратиться к «ЛіМу» еще той, советской эпохи, то нельзя не заметить, что было обычным явлением, когда корифеи от литературы писали рецензии на книги начинающих авторов, а сами молодые делились своими впечатлениями от прочтения книг именитых поэтов и прозаиков. Полистаем, например, подшивку «ЛіМа» за 1987 год. Вот совсем еще юный Петро Васюченко печатает рецензию на книгу Алены Василевич «Люблю, хвалююся — жыву». А вот Иван Рубин рассуждает о новой книге стихов Степана Гаврусева «Пладаноснасць», Евгения Янищиц отзывается возвышенными словами на полымянскую подборку стихов Анатолия Велюгина. Вот Микола Ермалович радуется появлению в журнале «Маладосць» повести «Дзень,

калі ўпала страла» молодого — на то время — прозаика Владимира Орлова, а Владимир Юревич пишет добрые слова о стихах Владимира Мозго...

А теперь возьмем в руки подшивку «ЛіМа» последних лет. Увы, судя по публикациям в разделе критики, прежнего интереса одного литературного поколения к другому уже нет.

Уточним: речь идет именно о поколениях, а не об отдельных личностях.

Конечно, за это время многое изменилось в нашей литературной жизни, во многом изменилась сама литература. У молодых свой стиль, свой язык, наконец, свое мироощущение. Далеко не единицы из них увлечены постмодернизмом, а посему стихи о «березках» и «цветочках» в принципе не воспринимают или, скажем, воспринимают с таким же чувством, с каким в свое время рокеры реагировали на песни группы «Modern Talking». Старшие поколения упрекают молодых за то, что в их стихах мало души, мало чувств, молодые же уверены, что сладкоголосое чувственное пение, бесконечное повторение в стихах одних и тех же мотивов, образов, тем, стилистическое и языковое самоограничение, гордо именуемое верностью традициям, ведет к саморазрушению поэзии. Похожая ситуация и в прозе.

Тогда стоит ли удивляться, что молодому критику Маргарите Алешкевич куда интереснее писать о прозе Альгерда Бахаревича или Сергея Балахонова, чем, скажем, о прозе Ивана Копыловича. Но это совсем не значит, что нет критика, которому интереснее писать как раз-таки о прозе Ивана Копыловича.

В этом плане юным и опытным рецензентам XX века было значительно проще.

Мы ўсе на час ківаем, што так рэдка
бываем дома, дзе бабулі-мацяркі,
нібы ў той казцы, цягнуць з дзедам рэпку,
чакаючы унукаў гарадскіх.

Сразу даже трудно определить, кто это писал в том далеком 1987 году — опытный автор или молодой. Но понятно, что написано в традиции той эпохи.

И вот другой пример:

ейныя пальцы пахнуць травой і лавандай
ў ейных вачах сланечнікаў поўнае поле
ў ейнай валізцы плешчацца кантрабандай
міжземнае мора французскага алкаголю

Уловили дыхание нынешнего времени? Язык, стиль — все говорит о том, что автор молодой или, по крайней мере, достаточно молодой.

Но в отношениях между поколениями нет противостояния, нет конфронтации, а это значительно упрощает путь к взаимопониманию. Ведь какими бы ни были возможности у сегодняшних молодых печататься да издаваться (использование Интернета вообще отдельная тема), сколько бы ни переводили их на другие языки, а признание их творчества маститыми сотоварищами по перу вещь для них тоже не последняя. Это в какой-то степени признание целой эпохи, которую они захватили только краем, а потому эпохи загадочной и не до конца понятной. Но ведь и много десятилетий работающим в литературе авторам, отмеченным не одной премией, тоже хочется услышать со стороны молодых положительную (желательно высокую, еще лучше — очень высокую) оценку своего творчества. Ведь если премия — это признание дня сегодняшнего, то устами молодежи, как известно, в какой-то степени говорит будущее.

Молодые любят быть категоричными. Особенно по отношению к другим поколениям. Вот и получается, что в XX веке была всего-то «жменька» белорусских писателей, которым удалось создать кое-что ст**о**ящее. А все остальные — это так, любители. Допустим, планку требовательности можно поднять и до такого уровня. Только вот если по этим же меркам подходить и к тем, кто пришел в литературу недавно, придется предположить (дай-то бог ошибиться!), что из них — коих не десятки, а даже сотни, — вероятнее всего, в большой литературе оставят свой след тоже единицы «стоящих». Но, к счастью или сожалению, писание стихов или романов — это не совсем то же, что изготовление на предприятии деталей для какого-нибудь механизма: это — стандарт, это — брак, способный вывести механизм из строя.

Впрочем, категоричными, а значит, не совсем правыми и справедливыми, бывают не только молодые.

Сегодня «Нёман» предлагает читателю несколько монологов и тех, и других. С надеждой, что вскоре на его страницах появится их диалог…

Алесь БАДАК

Литературные поколения: диалог или конфронтация?

Взаимоотношения между писателями разных поколений — прежде всего вопрос литературного процесса, настоящего и будущего изящной словесности. Он важен как для самих ее творцов, так и для читателя. Поэтому мы решили попросить литераторов, разделенных возрастом, «отцов» и «детей», обменяться мнениями на тему состояния и развития художественного слова в Беларуси именно в разрезе их различного опыта, взглядов на традицию и новаторство, правду и ложь в искусстве. В совокупности этих размышлений выясняется главное — ради чего затеян разговор: что объединяет и разъединяет молодых и далеко не молодых мастеров слова.

От редакции

Вопросы литераторам старшего поколения:

1. На Ваш взгляд, существует ли сегодня в белорусской литературе проблема «отцов и детей»? Могут ли чем-то «отцы» помочь «детям»?

2. Какие заметные имена появились в белорусской литературе за последние 10—20 лет?

3. Традиции и новаторство в творчестве молодых. Насколько продуктивны их литературные эксперименты?

4. Каким Вам видится будущее белорусской (русско- и белорусскоязычной) литературы?

Раиса БОРОВИКОВА:

1.Разминувшаяся с нежностью цивилизация... Наверное, несколько обескураживающее начало этих моих заметок, но у меня в последние годы такое ощущение, что он, мир, становится все более и более жестким, упивающимся убийственным равнодушием и потерянностью ориентиров, где созидание подменяется колоссальной разрушительной энергией на всех уровнях человеческого бытия: от духовного до материального…

Совсем недавно в каком-то телевизионном кадре меня потряс мужчина, который плакал в Каире, взывая о помощи, чтобы защитить и уберечь сокровища национального музея, а гора цветов на месте взрыва в Домодедово в память о невинно убиенных и скорбные лица их приносящих! Мир бурлит и клокочет, раздираемый противоречиями самого разного толка. «О подвигах, о доблести, о славе я не мечтал на горестной земле», — писал Александр Блок в свое время, «Не ревнуй меня к прошлому, к неуживчивой «славе», позабытой и брошенной в прошлогодней канаве», — пишет в наше время известная русская поэтесса Надежда Кондакова в стихотворении, напечатанном в книге «Московский год поэзии», и там же, в другом ее стихотворении: «А что поэт?! Ну, искрой небывалой, ну, просиял, ну, помер, ну, исчез…» Пушкин, простите, был более оптимистичен: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа…» У каждого времени свои поэты и свои строки, которые каким-то образом, исподволь, характеризуют время и говорят о месте самого поэта в том или ином времени.

…Помню себя совсем юную, корреспондентку Быховской районной газеты «Маяк Прыдняпроўя», праздничный день 9 Мая 1966 года в одной из деревень, куда съехались бывшие партизаны, чтобы вспомнить одну из тяжелейших блокад на Быховщине… Среди гостей были и поэты, пережившие ту блокаду: Марк Максимов из Москвы, который написал великолепные стихи к фотоснимку, сделанному фотокорреспондентом из нашей газеты, — березка, проросшая через солдатскую каску в земле. Была еще Вера Звездаева, писательница из Смоленска... Запомнились их выступления на импровизированной сцене, а потом все закончилось… Гости уехали, люди разошлись, остались только несколько человек, которые готовились разобрать сцену, ну и я задержалась, чтобы привести в порядок какие-то свои корреспондентские записи, зная, что до рейсового автобуса еще далеко. И что-то меня дернуло, захотелось постоять на той сцене и, конечно же, представить себя поэтом… Я и взошла на нее, и какой-то молодой рабочий весело крикнул: «Ну, давай, скажи нам что-нибудь…» Я и сказала, вернее, стала читать свое стихотворение, посвященное памяти мальчика, пионера-героя Марата Козлова, подростка-разведчика, замученного гитлеровцами… Когда дошла до последних строчек: «…спяваюць птушкі, шапацяць рамонкі, зямля пад сонцам росная ляжыць, прыслухайцеся, гонкія сасонкі, — тут недзе хлопчык сцежкаю бяжыць», я уже вся заливалась слезами, мне было очень жалко погибшего мальчика, а рабочие в конце тихо зааплодировали... Это была моя первая сцена и первые тихие аплодисменты, которые, возможно, так бы и остались в моей жизни первыми и последними, да и стихи со временем ушли бы, если бы на моем пути не появился выдающийся поэт, классик белорусской поэзии Алексей Васильевич Пысин, которому я очень поверила, что мне нужно оставаться в поэзии. Практически, он стал моим первым Поэтом-Учителем, и я знаю, что не подвела его, как уж получалось, выстраивала свою лирическую планету… Вообще, в моей юности было очень много лирической поэзии: Вера Вярба, Женя Янищиц, Таиса Бондарь, Валентина Ковтун… Мы были, безусловно же, разными, и вместе с тем в нас было очень много какой-то глубокой душевной нежности, которая помогала очень остро чувствовать далеко не нежный мир вокруг, в этих чувствах было много страданий, переживаний, самой разной душевной боли, из которой выкарабкиваться нам помогала поэзия. Мы собирались и читали стихи, и нам казалось, что это и есть та ось, вокруг которой вертится Земля.

В то наше время не было проблем «отцов и детей» в литературе. Помню строки Жени Янищиц «Старэйшыя мае, мне з вамі добра» и помню крылатое высказывание еще одного моего Поэта-Учителя (это уже был Литинститут в Москве) Льва Адольфовича Озерова: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».

Эти формулы, в принципе, работают и сейчас… Стоит только представить творческий вечер наших народных поэтов Рыгора Бородулина или Нила Гилевича, и увидится зал, где очень много будет творческой молодежи, и чуть ли не каждый назовет этих больших белорусских поэтов своими литературными Учителями. Другое дело, что время сейчас иное… Если в прошлом столетии Поэзия собирала на литературные вечера стадионы, сейчас, скажем, наступивший этот Новый год объявляется Годом чтения, чтобы хотя бы таким образом привлечь внимание к книге... Изменились нравы, соответственно, и вкусы. Об этом я попробовала сказать в самом начале, тонкие изящные чувства уходят, как дорогой сосуд, разбиваясь о камень… Чего? Наверное, того, что мы изо дня в день видим на экранах своих телевизоров. И как тут, и в чем тут могут помочь «отцы» «детям»? Время уж больно не поэтическое…

2. И все же… новых имен в поэзии появляется много. Лично мне интересны Вика Тренас и Оксана Спринчан, Валерия Кустова и Юлия Новик, Рагнед Малаховский и Артем Ковалевский, Татьяна Сивец и Ольга Гапеева, и Маргарита Латышкевич из Бреста, и Змицер Арцюх, и совсем молодые поэты Павел Боярка да Алена Белоножка… В журнале «Маладосць» ежегодно представляется не менее двадцати-тридцати поэтических дарований, а есть же еще и проза, где

очень успешно работают и Серж Минскевич, и Михась Южик, и еще более молодые Алесь Хитрун, Анатоль Трофимчик, Сергей Белояр… Имена можно называть и называть, иное дело, спроси я у людей в переполненном троллейбусе: кого из молодых белорусских писателей они знают? И в лучшем случае люди пожмут плечами. А ведь когда-то тот же Евгений Евтушенко в свои чуть ли не тридцать два года в Америке встречался с президентом Джоном Кеннеди. Вот вам и «железный занавес», а с другой стороны, был счастливый момент «хрущевской оттепели» и невероятный интерес к литературе, когда любой талантливый поэт стремительно делался известным. Многие из нас очень хорошо помнят тот «книжный бум», когда на всех не хватало издаваемых книг, их приходилось доставать, извините, по большому блату. А потом было очень много потрясений, которые закончились для той большой страны 1991 годом, из общества была изгнана та идеология, ну а литература, как известно по Ленину, была одним из главных винтиков в ней… Тогда-то, но это лично мое мнение, и упал интерес к литературе, что называется, с пеной выплеснулось и дитя.. Сейчас нужно очень сильно полюбить нашу независимую родину, чтобы полюбить и ее литературу. И тут уже, как ни крутись, снова идеология, но не марксизма-ленинизма, а нашего отечественного патриотизма.

3. Во время любого эксперимента очень трудно судить о его продуктивности. О результате можно говорить только через какое-то время. Что называется, «лицом к лицу лица не увидать». А классик нашей литературы Михась Лыньков со слов тех, кто его знал, очень любил обращаться к молодым со словами: «Дерзайте, юноши!» Молодежи свойственно дерзать, и она рано или поздно из этих дерзаний вырастает. Одни, тем не менее, находят себя и свой истинный путь в литературе, другие в своих же собственных дерзаниях со временем разочаровываются и никакого иного пути не находят… Одним словом, это очень сложный процесс, где не сразу проявляется истина. Одно известно, «дети» никогда черта в черту не повторяют «отцов» и нередко получаются лучше последних. Одним словом, я верю в наших молодых и не исключаю, что многим из них лично моя поэзия кажется старомодной.

4. Когда-то давно, когда я попросила рекомендацию в Союз писателей у нашего народного поэта и очень любимого молодыми творцами Пимена Емельяновича Панченко, он ответил, что рекомендацию даст, и заметил, что ему импонирует мой молодой оптимизм. Я и сейчас не теряю этого оптимизма, когда смотрю в будущее нашей литературы.

Люблю повторять где-то однажды прочитанное, что если бы в далеком прошлом во время извержения Везувия на пути обезумевшей толпы спасающихся людей вдруг встал потерянный Поэт и стал читать что-то вроде «Шепот, робкое дыханье, трели соловья»… его ничуть не задумываясь смяли и растоптали бы. А через несколько веков поставили бы памятник и были бы горды, что имеют такого поэта. Мне очень верится в то, что наши далекие потомки будут иметь счастье видеть на нашей земле много памятников, в том числе воздвигнутых творцами нашей литературы.

Георгий МАРЧУК:

1. Даже если допустить, как утверждает китайская пословица, что писатель писателя не признает, а старый писатель о молодых скажет, что они не о том пишут и не так, я придерживаюсь мнения, что новые поколения имеют право, и им сполна пользуются, на свой взгляд на мир и свой метод отображения действительности и своих эмоций. Сила убедительности зависит от таланта, талант — от самоусовершенствования, самоусовершенствование — от труда.

Что трогает мою душу в произведениях молодых? Искренность, народность, патриотизм, лиризм, оригинальная трактовка «старых тем».

К чему остаюсь равнодушным? К искусственному желанию удивить во что бы то ни стало, циничному отношению к человеку, издевательству над чувством патриотизма.

2. О заметных именах в нашей литературе, которые появились за последние 10—20 лет, можно будет говорить через 10—20 лет. Талантливых людей появилось достаточно, пока нет высокоталантливых и высокохудожественных произведений этих талантов. Литература — это не только вдохновение, полет фантазии, гимн любви. Это еще и тяжелая работа. Для этого нужно время. Только сейчас я могу сказать, что это время определило — очень талантливыми писателями, гордостью белорусской литературы стали Я. Сипаков, В. Адамчик, в русской литературе Беларуси — Ю. Фатнев, Н. Ильинский. Некоторые критики и литературоведы — Шевлякова, Олейник, Безлепкина — искусственно подтягивают к классикам своих любимчиков, но это неблагодарное дело, провокационное. Они умышленно замалчивают значительные произведения старшего поколения.

3. Талантливый человек — талантлив во всем, и в традиции, и в новаторстве. Однако новаторство ради новаторства, эксперимент ради эксперимента — всегда искусственность, холодность, скука. Нет души — нет ответной эмоции читателя. Каждый писатель — это свой стиль, свой взгляд на мир и на человека. Творец, удивляй, но не издевайся над народом, над человеком. Изучай его в разных ситуациях XXI века и делись с нами своими наблюдениями, а вдруг получится открытие, твоя «Альпийская баллада», «Люди на болоте», «Дикая охота короля Стаха», «Пожня» белостокского писателя В. Петручука.

О чем бы ты, молодой писатель, ни писал, все равно тебе придется анализировать причины и следствие зла и добра, ибо таков удел человека на земле — «зависать» между этим понятиями, и таков удел творческой личности: искать смысл жизни и пути постижения этого смысла.

4. Будет народ, будет читатель, будут журналы, газеты, Интернет, диски — будет и будущее у литературы.

Сейчас русская литература, избавившись от пошлости, оплевания собственной истории и ее народа, от цинизма несусветного, порнографии, вновь набирает свойственную ей на протяжении тысячелетия высокую духовность, художественность.

Белорусы по менталитету неторопливы во всем. У нас среди литераторов меньше было циников и «порнографов», хулителей истории и народа, поэтому растет поколение, которое не отрицает поголовно все то, что с трудом было создано предыдущими поколениями, а впитывает через «коллективное бессознательное» (Юнг) все то значительное, что устоялось, а все то, что не совсем получилось, осмысливает. Произведения молодых, пока живы государственные издательства, надо активно издавать. Кстати, в далеком XVII веке «Дон-Кихота» тоже издало государственное издательство короля.

Трагедия молодых в том, что, опубликовав десять стихотворений, три рассказа или одну повесть, они требуют незамедлительной всебелорусской славы и признания вплоть до мирового. Самоуверенность всегда должна проверяться самооценкой и самоответственностью, но быть в достижении целей упрямым и настойчивым. Такого еще не было, чтобы выдающееся произведение и своими критиками, и инородцами было замолчано навсегда. Вспомним поэзию Есенина, Жилки, прозу Платонова, Мрыя, Шаламова. Так что дерзайте — мой совет молодым. Вечная тема любви все же среди людей присутствует, а остальные слегка модернизированные «старые темы» подбрасывает каждый день жизнь. Надо только уметь видеть и уметь сострадать трагически-счастливому времени жизни человека на земле.

Наум ГАЛЬПЕРОВИЧ:

1. Проблема «отцов и детей» существовала всегда. И не только в литературе. В литературе же зачастую молодые «шли в рожки» с «аксакалами», чтобы

потом спокойно войти в их ряды и затем совместно выдерживать осаду новых молодых.

Вместе с тем всегда существовала опека юных талантов со стороны классиков: каждый из них старался воспитать своего ученика, чаще всего земляка, следил за его творчеством, давал публичное напутствие на долгожительство в литературе.

Известно, что Алексей Пысин таким образом «шефствовал» над Анатолем Сербантовичем, Алесем Письменковым, Петрусь Бровка давал дорогу землякам Евдокии Лось, Рыгору Бородулину, тот в свою очередь — Олегу Салтуку, Виктору Стрижаку, Иван Шамякин — Анатолю Гречанникову, Янка Брыль — Владимиру Яговдику…

Своим наставником десятки творцов могут назвать Анатоля Велюгина, Янку Скрыгана, Владимира Домашевича, Миколу Аврамчика.

«Нас классики гладили по голове», — признался как-то автору этих строк один известный поэт.

К сожалению, эти традиции уходят. И дело не в том, что сегодняшние «отцы» должны раскрывать для юных страницы газет и журналов, что тоже неплохо, теряется связь поколений, когда старших и младших объединяет стремление создать полноценную национальную литературу, жертвовать во имя ее какими-то своими личными пристрастиями или антипатиями. А пока наоборот: часто литераторами движет обида, зависть к коллегам, неприязнь. И от этого становится грустно. И самое обидное, что от этого страдает сама литература.

2. Имен этих, к сожалению, не так много. Вернее, имена и фамилии мелькают на страницах прессы, Интернета очень часто, но назвать тех, кто вызывает интерес своим талантом, позицией, творческой стабильностью, довольно сложно. Я бы выделил Алену Браво, Валерия Гапеева, Янку Лайкова, Рагнеда Малаховского, Татьяну Сивец, Оксану Спринчан, Миколу Кондратова, Алену Масло, Вику Тренас, Андрея Тявловского, Валерию Кустову — тех, кого регулярно читаю, за чьим творчеством слежу.

Очень яркое событие в современной прозе, на мой взгляд, творчество Алены Браво. Ее проза привлекает глубиной, философичностью, неординарностью поставленных проблем.

В последние годы ярко засверкал талант Владимира Степана. Его миниатюры, рефлексии из мира детства и юности восходят к образцам лучшей мировой литературы в этом жанре.

С удовольствием читаю литературоведческие статьи Ирины Шевляковой, Лады Олейник.

Приятно, что за эти годы в ярких современных творцов выросли и представители более старшего поколения — Андрей Федаренко, Алесь Наварич, Людмила Рублевская, Адам Глобус…

3. Стремление к новаторству всегда было характерно для молодых. Всегда перед ними вставал вопрос: как же выделиться из общей массы, написать так, как до тебя никто не писал. Это было и в русской, и во французской литературе, это характерно для большинства молодых литераторов Западной Европы. К сожалению, чаще всего эти эпатажные опыты, делаясь своеобразными «калифами на час», быстро забываются, становясь лишь предметом изучения историков литературы. Многим кажется, что литература начинается с них, и это их, по-видимому, утешает.

Любое новаторство тогда интересно, когда оно подкреплено могучим талантом, традициями предшественников, уважением к классике.

Далеко не юный Максим Танк писал верлибры и свободные стихи, несомненным новаторством отмечены произведения Алеся Рязанова.

В науке эксперименты — еще не результат. Даже в криминалистике — эксперимент — еще не доказательство. Поэтому и в литературе эксперимент имеет

полное право на существование, но вырастет ли он в яркое явление, шедевр, покажет время, дальнейшее развитие опытов в полноценное творчество.

4. Хотелось бы видеть это будущее счастливым. Белорусская литература на пути своего развития создала немало ярких, незабываемых страниц, вписанных в величественную книгу, созданную многими поколениями мастеров пера. Хотелось бы, чтобы всех современных авторов объединяло чувство ответственности за сказанное и написанное слово, любовь к нашей земле, что нам дана судьбой, уважение к традициям, языку и культуре белорусского народа. Очень важно, чтобы существовала реальная преемственность поколений, которая является залогом сегодняшнего и будущего состояния любой литературы.

Наталья КУЧМЕЛЬ:

1. На мой взгляд, проблема «отцов и детей» в литературе — проблема надуманная. Талант, дар не имеет возраста (вспомним 15-летнего Артюра Рембо, 17-летнюю Франсуазу Саган или Дину Рубину, которая начала публиковаться в 16 лет); многие считают, что не имеет и пола. Как ответил лет тридцать назад на такой же вопрос кто-то из творческих людей: «Куда развивается искусство? Как это — «куда развивается»? Один — туда, другой — сюда». Одна звезда зажигается, другая гаснет, а третья десятилетиями все коптит и коптит. И это никак не связано с талантом. Вопрос случая. Один хиленький цветочек оказался на клумбе, где с ним стали нянчится; а другой, может быть, хороший и здоровый, — под колесами телеги. Случай — и все.

Так же и помощь оказывается кем-то кому-то не потому, что ты там «отец», а он — «дитя». Кто-то кому-то симпатичен или сам по себе, или талантом, или какими-то другими качествами — и тот его тащит, иногда даже вытаскивает на определенный уровень. А вот высоко ли вытащил — мы разобраться все равно не сможем. Ни у кого из нас не получится хотя бы через сто лет прийти посмотреть, кто засох, а кто остался. А ведь только тогда это станет ясно.

2. По-моему, этот вопрос не очень корректен. Потому что мне придется назвать бóльшую часть своих друзей или даже недругов. Вся белорусская литература, сумевшая хоть как-то приподняться над уровнем крестьянского лаптя и партизанской землянки, выросла и расцвела, мне кажется, именно в этот период. И как же жалко тех, кто блеснул — и погас. А таких было достаточно. Нет, они не умерли, они где-то живут, — но их не видно и не слышно. А обещали много, очень много. Но одни ринулись в зарабатывание, другие — в «замуж», третьи — в пьянку, четвертые просто изнемогли в борьбе с жизнью или решили, что без творчества им будет легче. Ведь пробиваются в литературе совсем не самые талантливые, а самые упорные. Не знаю, насколько уместен здесь такой вот пример из моего детства — но лет в десять мне рассказали следующую историю. Одна девочка писала стихи в тетрадочку, потом ее маленький брат эту тетрадочку порвал — и она бросила писать. «Ну и дура, — сказала я тогда. — Да я бы назло написала еще больше!» Вот те, кто так относится к литературе, — те и остаются. Хотя бы на пару десятилетий. При том, что другие были, быть может, и талантливее, и ярче.

Таким образом, я не могу назвать ни одного имени. Или же надо называть все — по алфавитному списку. В эти пару десятилетий вообще белорусская литература «подняла уши», и спасибо им за это.

3. Нельзя не сказать о том, что, постоянно топчась вокруг традиций, мы рискуем стать элементарно неинтересными читателю. И вовсе не потому, что читатель наш так уж разборчив. Просто рано или поздно уходят те или иные жизненные реалии, и соответственно «отсыпаются» читатели и почитатели литературы, реалии эти описывающей. Читатель хочет читать про «свою» жизнь. Или же эти ушедшие реалии время должно окружить романтическим

ореолом — как эпоху рыцарей, мушкетеров или заброшенных дворянских усадеб, — чтобы с ними можно было «играться», перетасовывать, переосмысливать. Вот тогда книги о них будут интересны. А что мы имеем? «Коласовская» деревня отмерла, причем, сравнительно недавно, а от «мележевской» выходцы из нее отпихиваются руками и ногами. То же и с войной. Она слишком еще болит, чтобы с ней можно было «играться» и переосмысливать, и слишком уж навязла в зубах в своем «натуральном» виде, чтобы страницы о ней хотелось читать и перечитывать. А что до традиций любовной лирики — и люди теперь другие, и любовь другая. Достаточно хотя бы сказать, что в массе своей современный читатель белорусской литературы — человек сравнительно молодой, образованный и городской. (Спасибо, опять же, последним 20 годам, вырастившим таких читателей.) Отсюда и вытекает то, чего он хочет от литературы. Так что названные выше традиции — уже «не его» традиции. Как и еще одна традиционная функция литературы — «поучающая». Она тоже «не его». У молодого читателя аллергия на поучения. А вот как раз поучать обожают графоманы. И традицией прикрываются.

Тут мы плавно переползаем к так называемому «новаторству» и «экспериментам». Дело в том, что в большинстве случаев никакого «эксперимента» и нет. Конечно, в это сложно поверить тем, для кого «новаторство» — все, что написано не про историю, не про войну, не про лапоть, не про реченьку и не пятистопным ямбом. Однако тем не менее... Нет, нет эксперимента! Молодые вовсе не «выпендриваются» в пику традиционалистам. Просто пишут так, как видят. Факт остается фактом: да, они действительно так видят. Они в большинстве случаев родились и выросли в городе. Они прочли кучу книжек, знают парочку иностранных языков, а компьютером владеют в худшем случае со студенчества, обычно же — с самого мелкого возраста. И в отличие от романтиков-традиционалистов, уже в самом раннем возрасте были практичны, то есть, знали, чего хотят и куда для этого идти. Занятые зарабатыванием родители дали им все что могли, но, собственно, не «воспитывали» — то есть не имели времени лгать, — или же «воспитывать» в пустоту. Следовательно, они самостоятельны. Они тоже озабочены зарабатыванием денег, и главное, умеют это делать. Им, может быть, и больно оттого, что слишком многое измеряется деньгами, — но ведь все вокруг так живут. У них нет времени и сил на рефлексии и долгое размазанное любование чем бы то ни было, — а может быть, просто нет привычки. Потому они действительно видят так, как пишут, и никому не хотят этим досадить или эпатировать. Они пишут для своего дёрганого читателя — такого же, как сами, — своим дёрганым языком и ритмами свою дёрганую действительность, в которой вынуждены существовать. А «продуктивны» или «непродуктивны», как обычно, не новаторство или традиции, а талант или его отсутствие. Даже при условии попадания в нужное время и нужное место.

Хотя нет: кое-что продуктивное все же есть. Уже даже то, что в белорусской литературе исчезли интонации «плача». Даже самые записные провинциальные «Бояны» больше не рискуют «плакать о сторонке». И хоть немножечко «разбавился» другими ритмами этот вечный липкий сироп многометровых и однообразных ямбов и хореев. Перестали плакать и запели, засверкали — пусть, может быть, и холодным блеском.

4. И все равно, невзирая на это, будущее литературы видится мне неопределенным. Не только нашей, а литературы вообще. Не только у нас, но и в мире все больше становится «писателей» и все меньше «читателей». Каждому хочется высказаться, как-то выскочить, показать себя — и никому не хочется смотреть и слушать. Вот в этой куче разобщенных вопящих «авторов» просто невозможно будет рассмотреть: ведь чтение серьезной, умной книги, над которой надо думать, представляет собой все равно что работу — работу мысли, логики, воображения. После же основной работы, для заработка, высасывающей у человека все, он закономерно хочет не напрягаться, а расслабиться. Поэтому за

литературой остается одна функция — развлекать и отвлекать. Воспитательная функция — смешна; с исследованием души человека неплохо справляется психология. А «показать себя»? Ну да: вот такой вот автор прыгает, показывает, а никто не смотрит... Это я вижу в будущем не только у нас, но и в мире. Однако пару десятилетий мы еще продержимся.

Вопросы литераторам младшего поколения:

1. На ваш взгляд, существует ли сегодня в белорусской литературе проблема «отцов» и «детей»? Могут ли чем-то «отцы» помочь «детям»?

2. Как часто вы перечитываете белорусские произведения 20 века? Кого из белорусских писателей вы можете назвать своими учителями в литературе?

3. Насколько важны традиции в литературе? Почему в творчестве молодых так много эксперимента?

4. Каким вам видится будущее (белорусско- и русскоязычной) литературы?

Виктор ЛУПАСИН:

1. Проблема «отцов и детей» возникает всякий раз при контакте более опытного и менее опытного литераторов. Так, например, поколение «Бум-Бам-Літу» (средний год рождения 1973-й, средний год дебюта 1994-й), которое в современной белорусской литературе является срединным (sic!), выступает «отцами» по отношению к Бажене Матюк, Михаилу Барановскому и Василию Пешкову, но «детьми» по отношению к Миколе Метлицкому и Андрею Федаренко; всего в нашем литературном процессе можно выделить не менее восьми поколений. Проблема обостряется в двух случаях: когда «сын» превосходит «отца» талантом, но не статусом, и когда «отец» превосходит «сына» жизненным опытом, но не актуальностью. Оба случая крайне характерны для любой живой литературы вообще и для белорусской в особенности.

Литератор, способный взять лучшее от своих «отцов» и «детей», становится великим.

2. Я вырос на русской, а не белорусской культурной почве, и настоящее знакомство с нашей литературой мне еще предстоит. Могу отметить «Новую зямлю» и «Сымона-музыку» Я. Коласа, «Чорны замак Альшанскі» В. Короткевича. Из современников не перечитываю никого, кроме себя. В плане стихотворной техники много мне дал Виктор Жибуль, еще больше — Вячеслав Рагойша. Своими учителями я бы назвал Алеся Туровича, Наталью Кучмель и Людмилу Рублевскую.

3. Я считаю, что творческие эксперименты уместны в творческой мастерской, заключенные в творческую пробирку. Как писал Илья Сельвинский,

Эксперимент (как и мятеж),
Не может кончиться удачей.
В противном случае его
(Как и его) зовут иначе.

Если же говорить о традициях и н о в а т о р с т в е, то оно естественным образом возникает при решении конкретных художественных задач. Если, скажем, для раскрытия образа героя писателю потребуется вклеить в роман кусок свинины, это будет смелое новаторство; та же свинина, вклеенная наобум как самоцель, будет пустым, бесплодным экспериментаторством.

NB: ни верлибры, ни заумь, ни палиндромы, ни поток сознания, ни конкретная поэзия, ни употребление неологизмов и нецензурной лексики не являются

экспериментом или новаторством. Все подобные технические приемы входят в литературную традицию наравне с прочими приемами и применяются по необходимости.

4. Будущее белорусской литературы будет таким, каким его определю я. Всякий раз, садясь за письменный стол или иную горизонтальную поверхность, каждым движением своей ручки я меняю белорусскую литературу в сторону, которую считаю лучшей. То же самое скажет о себе любой писатель любого поколения, если не боится умереть от скромности.

Мария МАЛИНОВСКАЯ:

1. Это вечная проблема и в жизни, и в литературе. Пока будут существовать такие категории человечества, будут возникать и проблемы. Именно в попытке их разрешения вижу источник развития, перехода на новый уровень отношений с учетом реалий времени.

Это относится и к литературе. Пожалуй, здесь, как ни в какой другой области, возможна «взаимопомощь»: дети будут взрослеть, формироваться на наследии, наработанном старшим поколением. Оно, в свою очередь, будет отслеживать новое, использовать его в своей практике.

Пример тому. Нам всем знакомо понятие «сетевая литература». Молодежь — массовый пользователь, но все больше людей старшего поколения осваивают современные технологии. Среди моих друзей есть люди, перешагнувшие 60-, 70-, и даже 80-летний рубеж, с которыми я активно общаюсь в Инете, и это, пожалуй, единственная возможность обмениваться новинками, произведениями, мыслями, как говорится, с пылу с жару.

2. В силу того, что учусь в 11-м классе, — читаю и перечитываю классику постоянно на протяжении последних десяти лет, в школьной программе.

Как человек творческий, самостоятельно открыла для себя имена М. Башлакова, М. Позднякова, А. Сыса, М. Шабовича, Г. Марчука, Л. Голубовича и многих других — всех не перечислить. Но радует то, что они есть.

3. Традиции в литературе — это фундамент, столпы, на которых зиждется все то, что мы имеем сейчас. Традиции — это незримые нити, которые тянутся из прошлого, связывая его с настоящим и, как следствие, с будущим. Их наличие непреложно. Это остов всей конструкции. Когда пытаются вытянуть какие-то звенья, она расшатывается. Но в самом мироустройстве заложена обновляемость: где чего-то недостает — прибудет в другом. В этом сила мироздания. Никакие эксперименты не поколеблют это совершенство, ведь то, что сегодня называем экспериментом, уже завтра — архаика. Но на то и молодые, чтобы искать, пробовать, ошибаться, а значит — учиться.

4. Оно будет!

Не важно, на каком языке автор обращается к читателю. Настоящая литература вне времени, языка, цвета кожи, гендерной принадлежности и т. д. Можно долго перечислять. Каким будет — зависит от нас с вами!

Юлия НОВИК:

1. Проблема «отцов и детей» — извечная, как и противопоставление классики, традиционных взглядов авангарду, новомодным веяниям. «Дети» могли бы опираться на достижения и опыт «отцов», пересматривая их в зависимости от своих позиций. «Отцам» могла бы пригодиться энергетика «детей» и их активность, свежие идеи. Диалог между ними возможен, но, к сожалению, редко имеет место как постоянное явление.

2. Хотелось бы перечитывать как можно чаще — ведь основы морали, взаимоотношений заложены именно в классических произведениях. Там они прочитываются четче, прописаны, возможно, проще, но искреннее, чем сейчас, когда кажется, что все уже придумано и написано. Учителями, скорее любимыми авторами, которые всегда будут актуальными, для меня являются Рыгор Бородулин («Ксты» — потрясающий пример не только поэзии, но и духовности), Владимир Короткевич (стихи и проза), Максим Богданович (не только как классик, но и новатор, первопроходец).

3. Литература не может существовать без традиций. Именно на их основе рождаются эксперименты. Сегодняшняя литература, а также шоу-бизнес оперируют репликами, репродукциями, реминисценциями из прошлого, из классических произведений — тогда это становится популярным и интересным.

4. Гадать о будущем не хочется, хочется его сделать более радужным. Белорусская литература может и должна развиваться в различных направлениях, в том числе быть открытой экспериментам, молодым творцам, мультикультурным контактам. Возможно, интерес к белорусскоязычной литературе возрастет со стороны международного сообщества — тенденция уже прослеживается.

Сергей ПАТАРАНСКИЙ:

1. Так уже у нас, белорусов, повелось, что существующие проблемы, как правило, мы не выносим на открытое общественное обсуждение, — особенно те, что касаются вечной проблемы «отцов и детей», я бы даже сказал — «дедов и внуков». Как говорится, из избы сор выносить не принято. Хотя время от времени следует! Чтобы «изба» была чище… И в данном случае поговорить есть о чем.

Сегодня в национальной литературе активно работают четыре поколения: «аксакалы»-шестидесятники, «романтики»-семидесятники, «возрожденцы»-восьмидесятники, а также «разношерстная» молодежная табола… Но всегда ли существует взаимопонимание между представителями хотя бы одного поколения? Я уже молчу о взаимопонимании между представителями разных возрастов.

Как мне кажется, многое зависит от человеческого фактора. Подобное, как говорится, всегда тянется к подобному. Именно на тонкой грани творческого и человеческого возникает или не возникает то самое «единение душ». А результаты этого процесса отражают наши редакционные кулуары и литературные тусовки, где, случается, разыгрываются настоящие шекспировские страсти.

Что бы там мне кто ни говорил, поколение молодых писателей, заявивших о себе в эпоху становления независимой Беларуси, по существу, было выброшено, нет, не из контекста самого литературно-художественного процесса, а просто «на произвол судьбы», — мол, выживай как хочешь… Мы были вынуждены без какой-либо серьезной поддержки решать те или иные творческие и жизненные вопросы и задачи, которые предшественникам помогало «претворять в жизнь» государство, да и в конце концов, старшие товарищи.

Особенно непросто пришлось моему поколению, — заявить о себе было неимоверно тяжело, издать свою книгу, по существу, невозможно. А журнал «Першацвет», по-настоящему аккумулировавший проблемы молодежной культуры и литературы и являвшийся их непосредственным отображением, был по непонятным причинам закрыт.

Кстати, вопрос о возрождении этого уникального литературно-художественного издания, хотя бы в качестве альманаха, стоит уже поднять на самом серьезном уровне, ибо потребность в нем сегодня огромная!

И опять же, кто как не «отцы» и «деды» должны, обязаны помочь своим «детям», чтобы проблема «безотцовщины», с которой столкнулось мое «сиротское» поколение, окончательно была исчерпана.

2. При всех сложностях в формировании нашего литературного языка и культурно-общественного пространства для белорусского слова XX столетие дало огромное количество прекрасных имен и произведений мирового масштаба в нашей литературе, любимых мной. Но лично для меня абсолютными ориентирами в данном случае являются Янка Купала, Владимир Короткевич и Анатоль Сыс, каждый из которых не только образ своей эпохи, но также представляется и выразителем Белорусского Духа…

Желаете понимать и любить Беларусь? — в первую очередь читайте и изучайте их.

Если же рассуждать о непосредственно творческом наставничестве, то невозможно не сказать о серьезной профессиональной поддержке молодежи и искреннем отношении к ней таких известных личностей, как Рыгор Бородулин, Виктор Гордей, Алесь Комаровский, Микола Метлицкий, Вадим Спринчан, Наталья Кучмель. Добрым советом меня никогда не обделяли Андрей Федаренко, Галина Дубенецкая, Любовь Турбина, которые являются настоящими товарищами «по цеху»… Моим мудрым советчиком, особенно при работе над произведениями критического жанра, которому отдаю предпочтение в последние десять лет, еще со студенческой поры стала Татьяна Орлова.

Всем дай Бог здоровья и новых творческих и жизненных свершений!

3. Если рассуждать о традиции и новаторстве в писательском творчестве, то в первую очередь необходимо говорить о таком понятии, как художественный вкус, отсутствием которого страдает добрая половина наших молодых творцов, зачастую подменяющих истинную неповторимость и авторскую самобытность извращенным оригинальничанием, называя «плён» собственного творчества «экспериментальным» жанром…

Но сколько там настоящих экспериментов, а сколько, простите, «экскрементов», видно и невооруженным глазом…

Малограмотность, малообразованность, бескультурье — бич современной молодежной культуры в Беларуси, и к творческим экспериментам ЭТО не имеет никакого отношения!

Многим подобным «новаторам» (не будем называть имен) я бы посоветовал прежде чем браться за перо как следует проштудировать классику, без которой (безусловно!) не может быть никаких новшеств. Она, классика, если хотите, есть фундамент, если не космодром, для новых открытий и необычных «звездных путешествий».

После ознакомления с «экспериментальным» творчеством некоторых «новаторов» вспоминается северянинское:

И хочется мне крикнуть миллионам
Бездарностей, взращенных в кабаке:
Уж лучше быть в фуражке почтальоном,
Чем писарем в дурацком колпаке!..

Иногда доходит до смешного, когда очередной новоиспеченный «новатор» не знает классики даже его любимого «экспериментального» жанра и апеллирует к шаблонным догмам советской школы, где вся национальная литература была «обута в лапти», а место ей было определено на свалке истории… Смех, да и только, с такого горе-«экспериментатора»!

Дорогие мои «новаторы», не следует изобретать колесо заново!

Почитайте, опять же, молодого Купалу, отца белорусского модерна, и его последователей Максима Танка, Пимена Панченко, Алеся Рязанова… Вот тогда и будем задаваться вопросами новых форм и оригинальных решений в современном искусстве. Потому что складывается впечатление, что сама так называемая контр- (суб-) культура (именуемая «постмодернизмом», — хотя не факт, что он там «ночевал», — ибо то, что нередко этим словом прикрывают, — профанация, а не творчество) на данном этапе закоснела в избранных ее идеологами стандартах и погрязла в примитивных низкоэстетических шаблонах.

Какие там эксперименты, если все заранее определено, как и то, что должно быть написано, создано и сказано… В этом наши непримиримые «модернизаторы» ничем не отличаются от идеологов соцреализма.

Но ведь творчество, тем более экспериментальное, — это, в первую очередь, Свобода, поэтому проблема новых форм в нашей литературе требует широкого обсуждения. Слишком уж много копий за последние годы было сломано в спорах на эту тему. Думаю, пора прийти к некому согласию и, как говаривал классик, — «учиться, учиться и еще раз учиться!».

4. Будущее белорусской литературы, как и всего национального искусства, для меня лично — как небо в алмазах!

Но если выше мы рассматривали вопросы новаторских форм и проявлений, то в данном случае обратимся к закономерным вещам. Наша литература одна из самых развитых и богатых в мире. Задачи ее на нынешнем этапе — освоение современной тематики, где, безусловно, подразумевается и эксперимент, и целенаправленная пропаганда нашей истории и исконных ценностей, а также сохранение бесценного опыта, накопленного предшественниками.

Лично мое мнение, что одной из основных задач сегодняшнего литературно-художественного процесса является его активная белорусизация, особенно в среде молодых писателей и поэтов.

Слава Богу, имперские этапы нашей истории позади и мы живем в независимом государстве, что дает возможность работать нашим национальным творческим кадрам на благо своей Родины. И функция языка титульной нации, особенно в сфере культуры, имеет важнейшее, если не исключительное, значение. Надеюсь, это понимают все.

С другой стороны: необходима тотальная пропаганда и популяризация, если хотите, даже экспансия достижений нашей культуры в мировой контекст, в первую очередь, путем перевода произведений на наиболее распространенные языки планеты, в том числе на русский, которым владеют и который понимает в мире не меньшее количество человек, чем китайским.

Но если для решения первой задачи условия более-менее существуют, то со второй — огромные проблемы.

Деятельность в переводческом направлении у нас, давайте скажем открыто, ведется на любительских началах. Хотя для подобной работы потенциал в стране есть, и на университетском, и на академическом уровнях. Я не могу понять, чем занимаются наши ученые мужи в Институте языкознания и литературы НАН? Неужели трудно разработать серьезную программу и организовать лингвистов, чтобы занять их вышеуказанной работой, что давно имеет место, к примеру, в маленьких, в сравнении с нами, балтийских странах.

В свое время национальная интеллигенция билась над вопросом: «Как возродить Беларусь и вернуть ее самобытный облик?» На что Василь Быков ответил в одном из своих интервью: «Хотите возродить Беларусь — начните с себя!»

Этот совет применим и в нашем случае.

Хочешь создать оригинальную и интересную национальную прозу и поэзию — начни с себя!

А серьезной работы у нас, молодых творцов новой Беларуси, хватит на долгие годы!

Вика ТРЕНАС:

1. Взаимоотношения представителей разных литературных поколений, их взаимодействие в национальном творческом пространстве, безусловно, сродни общению отцов и детей в общечеловеческом смысле. Однако тут есть своя специфика: писателей объединяют в одно поколение не по возрастному, а по эстетическому принципу. Необычайно важно то, когда тот или иной автор пришел

в литературу, начал публиковаться, получил признание читателей, приобрел профессиональный статус, авторитет. Это не зависит от года его рождения — скорее от таланта, трудолюбия, а также умения быть в «мэйнстриме», способности угадывать тенденции в культурном развитии общества, к которому он принадлежит и для которого творит.

Белорусская литература — не исключение. Закономерно, что старшие писатели — консерваторы, а молодые — нонконформисты. Первые лелеют классику, сохраняют и приумножают традиции, вторые — пытаются разрушить сложившиеся в массовом сознании читателей стереотипы относительно того, что наша литература «только о деревне и о войне». Важно понять: для непрерывного развития культурного процесса необходимо и то, и другое. В современной эстетической парадигме классика и авангард не противопоставлены — они дополняют друг друга. Богатство и разнообразие формальных практик, поиск и раскрытие новой тематики, стремление вписаться в общеевропейский контекст — все это требования времени. Как «отцы» могут помочь «детям»? Главное — не мешать развиваться. Они достаточно самостоятельны и образованны, чтобы дать национальной литературе глоток свежего воздуха. Глубокий индивидуализм, умение и желание работать в одиночку, без излишней декларативности — черты, присущие самому молодому поколению белорусских писателей. Процесс творческого мышления, литературная работа сама по себе, априори без каких-либо мешающих сопутствующих обстоятельств — вот что интересно литератору 21-го века.

2. Среди моих учителей в литературе, по большому счету, нет белорусских писателей 20-го века. Сложилось так, что я воспитывалась, с одной стороны, на произведениях эпохи Барокко (я филолог-медиевист), с другой — на классике европейского, в частности, французского и американского, модернизма. Однако часто перечитываю поэзию Максима Богдановича, Владимира Жилки, Ларисы Гениюш, прозу Кузьмы Чорного, Михася Зарецкого, Максима Горецкого, Владимира Короткевича, Василя Быкова.

3. Традиции нужны литературе так же, как любому народу — ментальность и самосознание. Каждая нация нуждается в своем языке, своей письменности — это основа основ любой цивилизации. Но давние традиции, как и непреложные истины, раньше или позже переосмысляются носителями определенной культуры. Они реформируются в соответствии с законами нового времени. Если это невозможно — люди изменяют свое отношение к ним. Молодому поколению присущи динамика и стремление к познанию и освоению больших объемов информации. Отсюда и желание добавить в литературный процесс свой эстетический опыт.

4. Не в моей компетенции делать далекоидущие прогнозы, но будущее нашей литературы по-прежнему зависит от того, насколько гармоничным и разнообразным будет литературный процесс, насколько общество будет заинтересовано в развитии национальной культуры. Консолидация интеллектуалов, людей творческих профессий, интеллигенции с целью поддержки и развития социально значимых проектов в сфере искусства, налаживание международного сотрудничества, повышение нашего культурного уровня — всегда актуальные проблемы.

Андрей ТЯВЛОВСКИЙ:

1. Как известно, проблем не бывает только у покойников, а наша литература, на мой взгляд, еще вполне жива. Так что и вопрос взаимоотношения поколений в ней стоит, хоть, может, и не слишком остро. Ситуацию нельзя назвать противостоянием, но различия в мировоззрении — налицо. И в первую очередь у молодых отличается само отношение к литературе как таковой. Нередко приходится сталкиваться с мнением, что писателей старшего поколения печатают охотнее, чем молодых, никому не известных, — и в этом есть доля правды. Однако… исчер-

пывается ли понятие издания только бумажной книгой или журналом? Если для писателей старшего поколения (скажем так, от 50-ти, хотя даже я сам легко могу привести примеры исключений — как в ту, так и в другую сторону) Интернет во многом остается Terra Incognita, то для большинства «детей» это естественная среда обитания. Обращали ли вы внимание на людей, читающих в транспорте, — и как они читают? Те, кто постарше, держат в руках раскрытую книгу или газету. А вот молодежь обычно читает с экрана мобильного телефона или iPod-a. Для них неудобно и неестественно листать громоздкий бумажный том. Соответственно, меняется и отношение к опубликованию своих произведений. Опубликовать — значит выложить на сайте (или файлообменнике) в Интернете. Однако такой подход к публикации меняет значительно больше, чем просто удобство пользования. И вот здесь-то мы подходим к реальным отличиям в мировоззрении.

Во-первых, восприятие текста «с бумаги» и «с экрана» все-таки различается, что доказывалось неоднократными исследованиями. Легкость перемотки текста (вместо того, чтобы перемещать взгляд по строчкам, читатель двигает сами строчки) провоцирует на быструю промотку «скучных» мест, в результате чего книга читается как бы пунктиром, как раньше говорили — по диагонали. Для писателя выхода два — или совершенствовать свой язык так, чтобы читающий смаковал каждое слово, или… вовсе не уделять внимания совершенствованию «мелочей» наподобие художественных описаний, лирических отступлений и т д., которые все равно никто не читает. Последний путь проще, а потому и встречается куда чаще.

Во-вторых, Интернет — территория, свободная не только от цензуры, но и от редакторов. «Читательская критика» не в счет, поскольку процент профессионалов среди пишущих отзывы на сайтах исчезающе мал, как мал он и в обычной жизни. В итоге право на существование получает любой написанный текст, а это выдвигает на первый план проблему «внутреннего редактора» — способность автора самому оценить свои произведения. Здесь бы, наверное, следовало с оптимизмом сказать, что именно те, кто это проблему решил, и становятся успешными авторами, но увы, опыт показывает, что в Сети, как и в жизни, определяющими чаще становятся совсем другие таланты…

В чем здесь проблема «отцов и детей»? Да для самих писателей проблемы, в общем-то, и нет. «Отцы» печатаются в толстых журналах, «дети» — в Интернете, и хоть граница между этими двумя пространствами прозрачна, желающих нарушить ее не так-то много с обеих сторон. В итоге миры «отцов» и «детей» существуют во многом обособленно. Парадокс нашего времени: при отсутствии реальных противоречий между поколениями связь между ними почти отсутствует. Пострадавшей же оказывается литературная традиция, а в конечном итоге и вся литература в целом. Впрочем, к этому я еще вернусь при ответе на другой вопрос.

Могут ли «отцы» чем-то помочь «детям»? Боюсь, мой ответ будет выглядеть неоднозначным. Помочь можно только тому, кто сам готов принять помощь. Лично для себя я отвечу — «да». Меня больше знают как переводчика, и, должен сказать, именно художественные (в первую очередь стихотворные) переводы стали для меня неоценимой школой мастерства. Самообразование — наиболее эффективный вид образования, а необходимость глубокого проникновения в стиль автора, кропотливая работа по поиску образов-заменителей в итоге приучают так же тщательно подходить и к своему творчеству, так же обращать внимание на детали, не упуская из вида целого… Волей-неволей переводчик вынужден подтягиваться до уровня переводимого им автора (по крайней мере, в поэзии), иначе перевод просто не получится. Однако вряд ли этот вариант «помощи» годится для многих, все-таки поэтический перевод является очень специфическим жанром, требующим особых к нему способностей. Да и роль «помогающего» в нем скорее пассивная. Однако других реальных способов помощи «отцов» «детям» в сегодняшней ситуации я придумать не могу.

2. Как я уже сказал, являясь переводчиком, я просто из-за специфики своего жанра «вынужден» постоянно читать современную белорусскую литературу, в первую очередь поэзию. Так что могу ответить — «каждый день», и это будет правдой. И хоть формально многое из того, что я читаю, относится уже к XXI веку, авторство большинства переводимых произведений принадлежит «отцам». К своим учителям (речь идет о поэзии) я в первую очередь отнес бы Змитрока Морозова, с переводов которого я начинал и с которым с тех пор поддерживаю самые теплые дружеские отношения, Михася Башлакова, Владимира Каризно… да можно было бы перечислить всех, с кем я лично общался, работая над переводами, но боюсь, список займет слишком много места. Преимущества переводческого ремесла — возможность тесного общения на тему литературы с теми, кто уже успел в ней многого добиться.

Что же касается тех, кого читаю вне связи с переводами… Владимир Короткевич, Эдуард Скобелев, Василь Быков. Это из тех, кого перечитываю чаще всего. А так еще Иван Шамякин, Алесь Адамович, раньше, так сказать, «в соответствующем возрасте», увлекался произведениями Янки Мавра, Михася Лынькова… Увы, сейчас на такое чтение почти не остается времени — специфика моей основной работы (с литературой она никак не связана). К тому же, говоря словами Владимира Высоцкого, «и вкусы, и запросы мои странны». Для досуга я предпочитаю научно-популярную и военно-историческую литературу. А с этим, увы, в Беларуси дело обстоит немногим лучше, чем никак. У нас нет популяризаторов уровня Ивана Шкловского (ну, допустим, тут я хватил слишком высокую планку… но ведь ни Айзеков Азимовых, ни Джеральдов Дарреллов, ни Ярославов Головановых тоже нет и близко!), ни военных историков уровня Сергея Коломийца, Михаила Барятинского, Михаила Свирина… Просто взглянув сейчас на свою книжную полку, я мог бы назвать еще пару десятков фамилий, но почему-то (отнюдь не из-за моей неинформированности; я внимательно отслеживаю новинки) среди них лишь одна книга белорусского автора — «Открытие вселенной: прошлое, настоящее, будущее» А. С. Потупы. Написанная, кстати, весьма толково и хорошим литературным языком, и неплохо дополняющая все того же превосходного, но уже во многом устаревшего Шкловского. Остальные же — россияне, украинцы, остроумный и образованный Нарусбаев… из белорусов — один Потупа, да и то издания 1989 года. Почему? Белорусская земля дала миру многих выдающихся инженеров, ученых, военачальников. Взять только XX век — неужели такие глыбы, как Сухой, Зельдович, Косберг, множество других, недостойны творческого осмысления (серьезного, а не на уровне 80-х годов, как это порой имеет место быть)? С использованием реальной фактологии, архивных данных? Низкий поклон Смирнову, «воскресившему» Брестскую крепость, но ведь даже в истории Великой Отечественной до сих пор остается немало белых пятен. Восстановить (и достойно изложить!) историю пинских мониторов, партизанских оружейных мастерских и партизанского оружия вообще — это если брать только темы, вовсе не затронутые российскими историками. Или события послевоенной истории — атомный проект СССР (тот же Зельдович), космическую гонку (Косберг). Понятно, что в свое время все это было секретно, но почему об этом не пишут теперь, когда архивы раскрыты и грифы с дел сняты? Неужели считается, что все это будет неинтересно читателю? Еще раз — речь идет не о «традиционном» жанре биографического или исторического романа, а о полноценном научном исследовании вопроса, только изложенном не сухим языком отчетов и диссертаций, а живым литературным языком. В дальнем зарубежье этот жанр полноценно развивается где-то с 60-х годов прошлого века, в России и, в несколько меньшей степени, на Украине расцвел с начала XXI века (хотя неплохо существовал и раньше — вспомнить тех же Голованова, Шкловского, Логинова…), а у нас — все та же тишь да гладь. В чем же дело? Нет соответствующей традиции? Впрочем, тут я перехожу уже к ответу на следующий вопрос.

3. И вновь ответ неоднозначный, поскольку традиции бывают разными. Одно дело шаблоны, наподобие вечных «жураваў» и «валошак» в стихах и набившей оскомину деревенско-бытовой темы в прозе, — здесь успех скорее принесет «нетрадиционный» подход. Однако есть и другие традиции, самая ценная из которых (конечно, я высказываю только свое мнение) — традиция вдумчивого и системного подхода к творчеству. Попросту говоря, писатель или поэт должен четко представлять себе, что же он хочет донести до читателя, какими средствами он будет это делать, т. е. заранее иметь концепцию своего произведения. И наконец, как ни банально это звучит, писатель должен досконально знать предмет своего творчества и не писать о том, чего не знает. Складывается впечатление, что экспериментаторство молодых чаще является не следствием тесноты «традиционных» рамок для начинающего таланта, а скорее следствием узости образования, а то и банального невежества в вопросах литературы. Да и не только литературы. Уходит даже не традиция писательства — уходит традиция чтения того, что написано предшественниками, а зачастую и современниками. В результате то и дело молодые экспериментаторы «изобретают велосипед», да еще зачастую с квадратными колесами, т. е. используют заведомо негодные средства. Можно долго рассуждать на эту тему, но я просто приведу один пример, вспомнить о котором меня заставили, увы, печальные обстоятельства.

Открывая на днях электронную почту, я вдруг наткнулся на короткое сообщение в информационной ленте: «В возрасте 62 лет умер белорусский писатель-фантаст Николай Чадович». Фамилия показалась мне знакомой, и, посмотрев список его произведений, я обнаружил, что кое-что из этого (хоть и немногое — Чадович фантаст по большей части «не моего» направления) я читал. И одно название тут же вызвало желание перечитать, вспомнить и… сравнить с другим, очень нашумевшим произведением, но уже молодого автора.

Я имею в виду бестселлер 2008 года «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. Да, он москвич, но проблемы молодой российской литературы не слишком отличаются от проблем молодой литературы Беларуси. К тому же фабула, да и сам сюжет «Метро 2033» москвича Глуховского почти один в один повторяют фабулу и сюжет романа «Гражданин преисподней» минчанина Чадовича (в соавторстве с Юрием Брайдером), написанного лет на 10 раньше. Однако художественная реализация по сути одного и того же сюжета разными авторами отличается настолько, что я осмелюсь предположить, что Дмитрий Глуховский Николая Чадовича не читал. А если и читал, то на его романе это никак не отразилось.

Ибо при полном сходстве антуража (постапокалиптический подземный мир, разделенный на различные группировки), построения сюжета (блуждания героя по подземному миру по пути к поверхности и разгадке), подход к написанию романа у двух авторов радикально различается. «Отец» Чадович строит свой мир от общего к частному: автор имеет целостную концепцию произошедшего с миром (не раскрываемую читателю до конца произведения), определяет, какие особенности мира должны следовать из этой концепции, и уже эти особенности показывает читателю, предоставляя ему возможность пройти обратный путь — из частностей вывести общее прежде, чем автор сам раскроет карты. Вследствие этого «необычностей» в мире Чадовича оказывается куда меньше, чем в мире Глуховского, — их можно перечислить по пальцам («химеры», «мох-костолом», зомби-«здухачи», смертоносная «грань»), и все они в конечном итоге складываются в целостную картину, оказываясь логичными и необходимыми элементами показанного мира. У Глуховского — нагромождение разнообразных монстров, мистики и прочих жутких явлений, введение которых в роман никакой логикой, кроме необходимости разнообразить приключения главного героя, не объясняется. Такой подход уместен скорее для компьютерной игры, чем для художественного произведения. Глуховский то и дело впадает в характерную для поколения «детей» системную ошибку — не пытаясь осознать внутреннюю логику своего

же сюжета, постоянно вводит в него дополнительные сущности, deux ex machina, чтобы насильно повернуть сюжет в «нужную» сторону. В итоге сюжет, и без того «фантазийный», становится донельзя искусственным, ходульным. Пренебрегая опытом предшественников, автор вновь наступает на две тысячи лет назад обтоптанные грабли.

Вторая типичная ошибка Глуховского — непонимание значения деталей. Взять, к примеру, присутствующий в обоих романах момент разделения запертых в подземельях людей на группировки. В «Метро 2033» вопрос решен «в лоб»: на «красной» линии метро живут коммунисты, на «коричневой» — фашисты, на станции «библиотека» — ученые и так далее. Причины разделения в основном замяты либо притянуты за уши. Три основных группировки в «Гражданине преисподней» — не просто одна из движущих сил сюжета, но и элемент социальной сатиры (бюрократизированное управление Метростроя перерождается в тоталитарное минигосударство по образцам Оруэлла, солдаты-срочники, лишившись сдерживающей силы в лице офицеров, формируют свою общину уже на основе «уркаганских» понятий и «воровской» дисциплины), каждая оброненная героями фраза или деталь сюжета укладывается в целостную картину и приближает разгадку сюжета. Введенные в начале повествования детали вновь всплывают ближе к развязке — каждое «повешенное на стене ружье» выстреливает. Глуховский же как с легкостью вводит в сюжет артефакты и второстепенных персонажей, так легко и обрывает соответствующие сюжетные линии. Да, «ружье на стене» — приевшаяся традиция, но отход от нее нарушает целостность сюжета, делая его мозаичным и похожим на компьютерную игру. Ломка канонов хороша только когда она оправданна.

И наконец, знание предмета, о котором говорит писатель. Оба мира — и «метро», и «преисподней» — на первый взгляд абсурдны и невозможны, но абсурдность их различна. Молодой Глуховский знает о метро меньше среднестатистического пассажира, но помещает свой мир туда — в результате в «его» метро отсутствуют технические помещения, тупики и стрелки, системы вентиляции и водооткачки, да и много чего еще, учет чего радикально меняет картину описанного мира; ничего не знает о действии биологического и ядерного оружия (а осведомленные люди легко поймают его и на незнании оружия стрелкового), но «использует» его направо и налево — в итоге образованный читатель не в силах разгадать интригу сюжета не вследствие ее сложной закрутки, а вследствие противоречия ее всем имеющимся знаниям. Старший Чадович не описывает того, чего не знает, и его мир в конечном итоге не противоречит существующей картине знаний (хотя и выходит за ее рамки — все-таки мы имеем дело с фантастикой). Впрочем, объяснение странностей «преисподней» я здесь давать не буду, чтобы не разрушать интригу для желающих прочитать роман. А прочитать его, если вы читали Глуховского, уж поверьте мне, стоит. Роман «традиционного» фантаста Чадовича ничуть не менее захватывающий, а по уровню проработки, да и в целом по художественным достоинствам, стоит на голову выше, чем произведение «новатора» Глуховского.

Вывод? Читать. Нам, «детям», надо читать «отцов», читать и понимать, почему и для чего они поставили то или иное слово, фразу, рифму, деталь сюжета. И творить свое с оглядкой на прочитанное, чтобы не изобретать велосипед с квадратными колесами

4. Делать прогнозы — занятие неблагодарное, но все же попробую высказать несколько предположений. Надеюсь, что пессимистическая часть моего прогноза не сбудется, но, на мой взгляд, о некоторых вещах надо говорить именно для того, чтобы они не сбылись.

Итак, первая очевидная тенденция на ближайшее время — переход литературы в Сеть, которая по своему влиянию «затмит» бумажную литературу, хотя и не отменит ее. Так или иначе, бумажной и электронной литературе придется сосуществовать, видимо, с перевесом в пользу последней. По крайней мере, на

первых порах это приведет к «просадке» общего литературного уровня по вполне объективным причинам, на которые я уже указывал. Во-первых, это отсутствие института редакторов в Интернете, та самая легкость донесения своих творений до читательских масс, провоцирующая массовый наплыв графоманов, в море которых просто «тонут» действительно талантливые авторы. Во-вторых, для продвижения произведений в Интернете и для их создания нужны совершенно разные таланты, редко совпадающие в одном человеке. Пример раскрученного ниже-чем-среднего Глуховского и довольно малоизвестного, но куда более талантливого Чадовича (которого я, между прочим, тоже читал в электронном виде, но не уверен, что автор знал, что его произведения выложены в Интернет) тому подтверждение. Вообще, в «мире капитала» решение последней проблемы найдено давным-давно — это институт литературных агентов, но в Беларуси такое явление, увы, отсутствует даже в области «бумажной» литературы, не то что электронной. А институт этот крайне необходим, иначе мы, имея талантливых авторов, проиграем в «рыночной» (а куда деваться? Хотим мы того или нет, наша экономика по факту является рыночной, и литература тоже находится в ее рамках) конкурентной борьбе даже менее талантливым, но снабженным агрессивным маркетингом авторам из соседней страны. Двуязычие белорусской литературы этому только способствует.

Кстати, о двуязычии. Не хочется быть Кассандрой, но боюсь, что сфера применения белорусского языка, в том числе и в литературе, будет только сужаться. Независимо (а точнее, вопреки) нашему желанию. Очень хотелось бы, чтобы Беларусь оказалась исключением, но многочисленные примеры из мировой истории перед глазами: австрийцы, ирландцы, шотландцы, валлийцы — все они когда-то имели свои языки (а в Ирландии, кстати, двуязычие до сих пор, как и у нас, закреплено в Конституции), но теперь этими языками владеют лишь отдельные специалисты. А жаль, крайне жаль. Белорусский язык очень поэтичен, по мелодичности он превосходит русский — это я говорю как переводчик. Очень трудно передать напевность белорусских стихов средствами русского языка. Поэтому, думается мне, если что-то может спасти белорусский язык — то это наша поэзия. Но здесь нужен государственный подход к ее пропаганде. Можно (и нужно) ездить с выступлениями, читать людям белорусские стихи, но на голом энтузиазме долго не проживешь. Поэты тоже хотят есть.

И еще об одном процессе, который приходится наблюдать каждый день и который не может не тревожить. Это падение общего образовательного уровня населения. Мы не то что вступаем в эпоху недоучек — мы уже живем в ней. Девяностые годы, девальвировавшие понятие Учителя, приравняв его труд (в прямом смысле — по оплате) к труду уборщицы, нанесли образованию урон, который может оказаться непоправимым. Сегодня те, кто недоучился в девяностые, занятые проблемой собственного выживания (можно ли винить их за это?), сами стали учителями и преподавателями, и учат следующее поколение на основе своих куцых знаний. Разумеется, я говорю отнюдь не обо всех, но тенденция налицо. Сегодняшние абитуриенты ничуть не менее способны, чем их предшественники, но багаж их знаний зачастую мал. В технический вуз успешно зачисляются студенты, набравшие на тестировании 8 баллов по математике (из 100 возможных)! И перелома ситуации к лучшему пока не видно, и, что страшнее, не видно причин для такого перелома. А ведь литература не существует вне общества. В итоге появляются писатели, не знающие предмета, о котором пишут. Нет, таковые были всегда, и при желании «наловить блох» можно и у Короткевича, и у Богдановича (хрестоматийный пример со «Слуцкими ткачихами»), да у любого, — но глубина ошибок и общий процент «не знающих» сегодня растут в геометрической прогрессии. Поэзии, основанной больше на эмоциях, чем на знании, это касается в меньшей степени, но сегодняшняя белорусская проза в среднем уже допустила серьезную «просадку», и боюсь, этот процесс в ближай-

шем будущем только усугубится. Читаешь, к примеру, рассказ (не буду показывать пальцем на автора) и натыкаешься на вроде бы мелкую деталь — проводник (в поезде) во время стоянки приносит героям чай. И сразу понимаешь, что автор либо никогда в поездах дальнего следования не ездил, либо отличается крайней невнимательностью — качеством, для писателя недопустимым, — поскольку должен был бы заметить, что проводник на стоянке занят совсем другими делами. И все впечатление от рассказа, даже написанного неплохим языком, сразу смазывается. И такой ляп далеко не один, и далеко не в единственном произведении… Не знаем и не стремимся узнать. Горькое определение «мы ленивы и нелюбопытны…» сегодня становится еще более актуальным, чем тогда, когда оно, собственно, было написано. Вот интересно, сколько из читающих знают, чьи это слова и по какому поводу они были сказаны?

Так что — давайте писать о том, что знаем. И знать то, о чем пишем. Надеюсь, этот призыв обращен не в пустоту.

P. S. Естественно, все, что я сказал, является лишь моим личным мнением…

Татьяна СИВЕЦ:

1. Эта проблема существует, но вопрос, на мой взгляд, сегодня стоит иначе: чем «дети» могут помочь «отцам». Молодое поколение, не привыкшее рассчитывать на помощь «профсоюзов», учится искать средства и возможности для издания и распространения своих книг. «Дети» активнее выступают на поэтических фестивалях, участвуют в конкурсах и дают интервью. «Отцы» и хотели бы, возможно, передать знания и опыт своим литературным «детям», но между ними уже не просто возрастной барьер, но и культурная пропасть, которая с каждым днем становится только шире. Литературные семинары и творческие встречи, актуальные 15—20 лет тому назад, сегодня требуют больших материальных затрат (на аренду помещения, рекламу, гонорар выступающим), а полученная выгода в данном случае — весьма условна. Поэтому речь, как мне кажется, должна идти о взаимопомощи, без скепсиса и поучений, как со стороны «отцов», так и со стороны «детей».

2. Довольно часто перечитываю. Соотношение классики к произведениям современных авторов приблизительно одинаково, однако качественное отношение не всегда в пользу последних. Своими учителями в литературе с уверенностью могу назвать Янку Купалу и Максима Богдановича, Артура Вольского, Ольгу Куртанич и Леонида Дранько-Майсюка. Причем, влияние оказала не только творческая манера, но и личность этих писателей.

3. Традиции — это основа не только литературы. Но, пожалуй, в литературе их нарушение может иметь наибольшее культурологическое значение. Эксперимент — в контексте творчества молодых — это, как ни парадоксально, тоже традиция! И необходима она для того, чтобы сравнить и осознать положительные и отрицательные стороны самой традиции. Кроме того, экспериментирование часто позволяет включить белорусскую литературу во всемирный контекст и не дает ей остановиться в своем развитии.

4. Белорусская литература в будущем видится мне, прежде всего, именно белорусскоязычной. Так как большинство писателей смогут «думать» на этом языке. А уровень их творчества создаст необходимость в школе перевода с белорусского, что повлияет как на обогащение самого белорусского языка, так и интерес к нашей стране во всем мире.

Думаете, слишком оптимистично? Поживем — увидим!

Шанс быть услышанными

(Что читает молодежь)

Мы живем в 21-м веке. Это время небывалых перемен во всех сферах общественной жизни. Те моральные нормы, которые формировались на протяжении всего существования человечества, постепенно разрушаются. Это влечет за собой трансформацию жизненных ориентиров и духовных ценностей. Каждый стремится найти свою собственную точку зрения на все вопросы. Книга — пища для ума. Ее прочтение — возможность разобраться в себе, пересмотреть взгляды на некоторые вещи, открыть для себя что-то новое. Разумеется, это распространяется только на достойные книги и на достойных читателей.

Молодежь, с ее отношением к литературе, можно разделить на две основные группы. К первой группе относятся молодые люди, которые читают сложную, философскую, чаще всего современную литературу. Причин, по которым так происходит, может быть несколько: настоящая увлеченность, потребность расширить свой кругозор, а также желание следовать модным тенденциям и считаться образованным и глубоким человеком, соответствовать своему окружению. Ко второй группе можно отнести молодежь, которая литературой не увлекается, книг не читает и даже презирает это занятие. Причин такого отношения к литературе также может быть несколько: низкий уровень интеллекта, еще более простая возможность соответствовать своему окружению, другие увлечения, излишняя перегруженность художественной литературой, несоответствовавшей возрасту, в детстве. Из этого следует, что мотивы формирования литературных предпочтений могут быть обусловлены как личностными особенностями, так и общественным мнением. Молодежь, которая всегда так усердно отстаивает свои права на свободу выбора и самовыражения, оказывается, больше всех зависима от разных влияний. Парни и девушки нередко отвергают устоявшиеся представления о литературе, сложившиеся у людей старшего поколения. Выйти за рамки моды внутри своего круга порой им кажется неприемлемым. Конечно, все в мире относительно, а тем более мода. Чем обусловлена популярность того или иного течения в современной культуре, часто остается загадкой, в том числе и для самой молодежи.

Для того, чтобы правильно воспринимать книгу, уметь читать между строк, нужно быть талантливым читателем. На примере классических произведений белорусских, русских и зарубежных авторов учителя стараются привить нам с самого раннего возраста хороший вкус. Главное, с течением времени не утратить, а развить его.

Для того, чтобы лучше разобраться в литературных предпочтениях школьников, я пообщалась с ученицей 11-го класса 12-й гимназии г. Минска Лашук Яной.

— *Яна, на ваш взгляд, у литературы есть перспективы или это умирающий вид искусства?*

— Мне кажется, что современная литература очень отличается по направленности и по темам от классической. С течением времени происходят все новые и новые открытия, знания во всех сферах жизни углубляются. Общество задумы-

вается о совершенно других вещах. И те, кому приходят в голову мысли, характеризующие жизнь с абсолютно новой точки зрения, те, кто может это доступно описать, создают фантастические по своему содержанию произведения. Лично для меня писателем, которым я восхищаюсь и которому абсолютно доверяю, является Бернар Вербер.

Но дело не только в новых идеях. С течением времени даже самые простые и доступные человеку понятия приобретают новый смысл. И как раз литература раскрывает эти нюансы. Из разнообразия книг, созданных за века, каждый может выбрать то, что принесет ему пользу и удовольствие. Для литературы все только начинается. Она вечна.

— Значит, вы считаете, что классика перестает быть актуальной? Те идеалы и ценности, которые пропагандировались в ней, становятся неприменимыми в современной жизни? И лучше читать то, что создается сейчас?

— Классику стоит читать для сравнения с современной литературой и собственной жизнью. Это необходимо для духовного развития и личностного становления. Тем более, есть люди, которые признают только классическую литературу и получают наслаждение от ее прочтения. Хотя и тут нужно отметить, что есть классические книги, в которых заложены идеи и моральные ценности, остающиеся актуальными по прошествии веков и применимые в сегодняшней жизни. Это такие произведения, как, например, «Анна Каренина» и «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, «Триумфальная арка» Э. М. Ремарка, «Три мушкетера» А. Дюма, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Из белорусской классической литературы можно выделить «Новую землю» Я. Коласа, «Полесскую хронику» И. П. Мележа, «Колосья под серпом твоим» В. С. Короткевича, «Сердце на ладони» И. П. Шамякина.

Но люди современные, эрудированные, желающие быть просвещенными, смотрящие вперед, по моему личному убеждению, должны ориентироваться на актуальные идеи и поэтому читать новые книги.

— Кстати, если говорить о белорусской литературе, какие перспективы у нее существуют? Каково твое отношение к ней в целом?

— Белорусских авторов сегодняшнего дня я практически не знаю и из-за этого не читаю. Но мне бы очень хотелось познакомиться с их произведениями. К сожалению, очень мало внимания уделяется промоутерской и рекламной деятельности, направленной на привлечение внимания читателей. Поэтому о новинках мало что известно. Книжные прилавки не прельщают разнообразием и яркостью обложек. Но если появится книга, о которой будут много говорить и писать в прессе, я с удовольствием возьмусь ее прочитать.

Насчет классической литературы могу сказать, что мне очень нравятся многие произведения белорусских писателей. Они написаны просто, по-доброму, на родном языке, который очень мелодичный, приятный и нежный.

— Как вы думаете, что нужно делать белорусским авторам, чтобы их произведения стали популярными среди молодежи?

— Как бы банально это ни звучало, но чтобы привлечь молодежь к книгам белорусских авторов, эти книги, во-первых, нужно выпускать. А во-вторых, их нужно рекламировать, просто хотя бы для того, чтобы их смогли заметить и купить. Но это лишь начальный этап. Человек приходит домой, открывает книгу и принимается ее читать. Для того, чтобы в скором времени книга не была отложена куда-нибудь на неопределенный срок — «потом, может быть, почитаю», она должна сразу же заинтриговать читателя интересным сюжетом либо рассуждениями. Некоторые люди любят книги, написанные просто и понятно, некоторые — наоборот: такие, которые нужно читать вдумчиво и понемногу. Главное, чтобы в книге была интересная мысль или идея. И тогда каждый человек, прочитавший ее, сможет вынести что-нибудь полезное для себя и, может быть, по-новому взглянет на некоторые вещи.

Лично мне хотелось бы видеть и читать произведения белорусских авторов на нашем родном языке. Если бы книги, написанные на белорусском языке, были интересными, познавательными, захватывающими, то и молодежь была бы более патриотичной. Мне кажется, что это необходимо государству. Я не верю тем, кто считает, что белорусский язык устаревший и некрасивый. Это абсолютно не так. Но чтобы это понять, нужно увидеть и услышать этот родной язык в современном звучании.

Для того, чтобы рассмотреть проблему с разных сторон и узнать точку зрения представителей разных социальных групп, мы обратились к студентке 3-го курса филологического факультета БГУ Екатерине Князевой.

Екатерина считает, что литература — это вовсе не умирающий вид искусства. Просто направление ее развития со временем меняется. На данном этапе большую популярность приобретает незамысловатая, развлекательная литература. А как иначе объяснить фантастическую популярность среди подростков во всем мире серии романов Стефани Майер «Сумерки»? Легкая литература не создается, чтобы менять мировоззрение, она — исключительно для поднятия настроения и релаксации. И это полностью оправдывает ее право на существование. Каждый человек сам делает выбор в пользу того или иного жанра, стиля, автора. Любимый современный белорусский автор Екатерины — Ольга Громыко. Эта писательница работает в жанре фэнтези. В ее романах присутствует ирония, нередко переходящая в сарказм. Ольга Громыко пишет на русском языке, однако во многих ее произведениях прослеживаются мотивы белорусского фольклора. Самые известные ее книги — это цикл рассказов «Белорусские хроники», серия «Год крысы», серия «Белория и окрестности». Среди поклонников своего творчества Ольга Громыко даже получила прозвище ВБП — великая белорусская писательница.

Екатерина отмечает, что ей хотелось бы познакомиться с творчеством и других белорусских писателей и поэтов, причем, именно тех, которые работают на родном языке.

Однако о новинках белорусской литературы мало что известно. Привлечь внимание к книгам отечественных авторов можно с помощью правильной маркетинговой политики. Хорошо, если бы на радио и телевидении было больше проектов, посвященных литературе и писателям, особенно нашим современникам. Ведь это могло бы заинтересовать многих читателей.

В наше время наблюдается тенденция к углублению взаимосвязи кино и литературы. Часто происходит так, что только посмотрев экранизацию произведения, человек обращается к литературному оригиналу. Это закономерный процесс, связанный с ускорением ритма жизни общества и как следствие — резким сокращением свободного времени. Также это вызывает распространение и все большую популярность электронной литературы. Книга, как источник знаний, по мнению Екатерины, уходит в прошлое. Будущее — за электронными носителями и Интернетом. Замена книг на другие источники знаний вызывает преобразования и в стилистике художественных произведений. Они становятся более лаконичными, информационно насыщенными.

Но, как считает Екатерина, несмотря на достаточно ощутимые изменения в восприятии и создании литературных произведений, пока хотя бы у одного талантливого человека будет желание поделиться своими мыслями с другими людьми, литература будет существовать.

21 марта 2007 года в Гомеле на базе специализированной Славянской библиотеки открылась Школа-студия молодых литераторов. Ее руководитель — гомельская поэтесса Нина Шклярова. В школе-студии действуют секции поэзии, прозы, переводов и драматургии. Занятия проходят как в массовом, так и в индивидуальном порядке. Преподают там профессиональные гомельские литераторы.

Также проводятся мастер-классы известными белорусскими писателями, журналистами, композиторами и актерами. Отбор учеников происходит на конкурсной основе по предоставленным литературным произведениям. Те, кто не проходит конкурсный отбор, по желанию могут стать вольными слушателями.

Основная задача деятельности школы — выявление и поддержка талантливой молодежи. Лучшие их произведения издаются в литературных сборниках. Одним из наиболее ярких и успешных учеников Школы-студии молодого литератора является Евгений Малевич. Девятого декабря в литературно-художественном салоне состоялась презентация его книги, сборника новелл «Эксперимент».

— Евгений, как вы пришли к пониманию того, что хотите стать писателем?

— С детства я писал романы. Большие и бесполезные. Свой первый рассказ принес завучу театральной кафедры 61-й школы, где я учился, Татьяне Генриховне Тропниковой. Она выдержала «испытание» — прочла мои рукописи. Татьяна Генриховна высоко оценила мои работы и поэтому передала, как она выразилась, «юное дарование» на попечительство члену Союза писателей Беларуси Олегу Валентиновичу Ананьеву. Он меня многому научил в плане литературы. Потом я работал лично с директором гомельской Школы-студии молодого литератора Ниной Никифоровной Шкляровой. Учился писать, оттачивал свои способности на рассказах. Отобрал лучшие работы. Так получилась книга «Эксперимент». На данный момент я закончил работу над романом и уже начал писать следующий. Оба планирую опубликовать в 2011 году.

Понимание того, что мне близко литературное творчество, приходило постепенно. Наиболее четко я это осознал, когда держал в руках свою первую книгу. Огромное спасибо за то, что моя книга была издана, хочу сказать Нине Никифоровне Шкляровой.

— Кстати, расскажите, пожалуйста, о занятиях в Школе молодого литератора.

— Нина Никифоровна организовала школу, чтобы помочь молодым талантливым авторам. И, надо сказать, нынче много желающих учиться в ней. Пишут люди всех возрастов, но преобладает, конечно, молодежь. Мы читаем друг другу свои произведения, учимся их редактировать, доводить до состояния готовности к публикации. Это очень полезный опыт. Также устраиваем литературные соревнования поэтов и прозаиков, где победитель определяется по результатам зрительского голосования. В скором времени ожидается выход нескольких сборников «Библиотечка молодого литератора», в которых собраны произведения наших лучших авторов.

Лично мне очень помогли эти занятия. С самоопределением и выбором направления в творчестве.

— Сейчас отношение к литературе неоднозначное. Трудно было найти что-то свое? Был ли соблазн воспользоваться произведениями других авторов в качестве основы?

— Не помню, чтобы возникало такое желание. Все приходило само. Уверен, что многое еще будет меняться. Жизнь не стоит на месте. Возможно, каждая последующая книга будет написана совершенно по-другому. Например, роман, над которым я сейчас работаю, будет в большей степени альтернативным и аллегоричным, но при этом он будет веселее и ярче сборника. Соблазна сделать плагиат не было. Не знаю как кому, а мне все свои мысли бывает сложно уместить на бумаге, не то что чужие.

— Евгений, несмотря на то, что вы еще только начинаете свой путь, каково это — быть писателем в наше время? Готовы ли вы посвятить этому занятию всю жизнь?

— Писателем быть очень интересно, захватывающе, но только если ты не притворяешься, а на самом деле живешь творчеством. Мне бы хотелось заниматься созданием книг всю свою жизнь. В крайнем случае, можно писать сцена-

рии для театра, кино или компьютерных игр, которые нынче содержат в себе все виды искусства. Так что простор для самореализации огромный.

— На ваш взгляд, какие перспективы есть у литературы в будущем? Развивается ли этот вид искусства?

— Конечно, развивается. По моему мнению, сейчас существует два основных типа литературы. Одна — «общая», т. е. это книги, которые переводятся на другие языки, выходят многотысячными тиражами, становятся популярными во всем мире, получают положительные отзывы критиков и самих читателей. Другая — элитарная. Причем, в последней преобладает национальный мотив. Сейчас среди европейской интеллигенции становится модным читать неизвестных и локальных авторов, которые не гонятся за большими деньгами и не подстраиваются под стандарты. А «общая» литература — это «попса», на мой взгляд. Но раз в ней есть потребность, она необходима.

А насчет будущего в отношении литературы не могу сказать ничего хорошего. В наш информационный и компьютерный век литературе остается все меньше места в жизни людей. Это не показатель упадка культуры, это закономерный процесс, связанный с изменением уклада жизни в целом.

— А если говорить о классике, то среди признанных произведений тоже можно найти «попсовые» или же нет? И применимы ли произведения, написанные несколько веков назад, к нашему времени? Бытует мнение, что современным людям — современная литература, а идеи прошлого уже не актуальны. На ваш взгляд, так ли это на самом деле?

— В прошлом не было «настолько» массовой литературы. Хотя даже Пушкин любил подшучивать над незамысловатыми приемами «дешевой» литературы. Например, как в «Повестях Белкина». А произведения Н. В. Гоголя, по моему мнению, андеграунд и артхаус.

Применима ли их литература к нам? Конечно. Содержание и основная мысль «той» и «этой» литературы фактически одинаковые, просто форма разная. Это то же самое, как взять ретро-запись из 80-х, 90-х и сравнить с современной музыкой. Обработка разная, а суть одна. Правило, применимое ко всем видам искусства. Главные жизненные ценности остаются неизменными с течением времени.

— А если рассматривать именно молодежь как категорию читателей. Почему чтение становится немодным занятием среди преобладающего большинства? Или это не так?

— Молодежь разная бывает. Мои друзья еще в школе читали Булгакова (для себя, а не из-за того, что задали по программе), Коэльо. Книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, как мне кажется, читали вообще практически все подростки, многие юноши и девушки и даже некоторые взрослые. В крупных городах много читают в транспорте. Но все же главная причина чтения — желание быть всесторонне развитой личностью, обогатить свой внутренний мир.

Постепенно входят в массовое пользование аудиокниги. Сейчас особенно популярны аудиокниги по психологии. Это простой и доступный способ экономить материальные средства и время. Правда, впечатление от прочтения и прослушивания книги абсолютно разное. Ведь при прочтении восприятие книги происходит целиком через наше воображение, а в аудиокниге голос способствует воссозданию картины. Поэтому аудиокниги именно научного, а не художественного содержания, становятся все более и более распространенными.

— Молодежь часто бросается из крайности в крайность: или не читают совсем, или берутся за книги, которые не в состоянии понять. Как вы думаете, это способствует развитию личности, появлению стремления к совершенству или ни к чему не приводит, и каждому стоит читать произведения «своего» уровня? Ведь даже если взять книги Коэльо. Они совсем не простые, но, тем не менее, в анкетах в графе «любимые книги» у половины девушек записана именно его фамилия.

— Как сказал один из резидентов юмористического шоу: «Коэльо — звучит красиво». Сложная литература и литература, которая кажется сложной, — это

разные вещи. У Коэльо такой стиль — выглядеть загадочно. Он пишет о мистике и колдовстве, поэтому кажется, что слог его возвышенный, а смысл сокровенный. Но, как правило, за красивыми фразами ничего не скрывается.

— Вам не нравится Пауло Коэльо? Но если не он, самый популярный автор среди молодежи, то кто? Каких современных писателей вы считаете самыми достойными и интересными?

— Я прочитал практически все произведения Коэльо. И кроме романа «Алхимик», ничто меня не тронуло. Популярные авторы, которые мне нравятся — это Дэн Браун и Дж. Роулинг. Вампирские саги сейчас очень модные, но я их не читал и не планирую. Курсовую работу в университете буду писать по интересному автору — Илье Стогову. Это перспективный писатель из Санкт-Петербурга. У него отличный слог, идеальная динамика. Начнешь читать — не оторвешься. Всем рекомендую. А современной молодежи советую прочитать роман В. В. Набокова «Лолита». Это эмоционально насыщенное произведение, о настоящих чувствах. Еще посоветовал бы себя. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как говорится, есть только доля шутки.

Мой любимый белорусский автор — Адам Глобус. На мой взгляд, это один из лучших современных белорусских писателей и поэтов. Меня поразил своей смысловой насыщенностью его последний сборник «Play.By».

— Кстати, если говорить о белорусской литературе, вы считаете, что у авторов есть шанс быть услышанными, получить ту славу и признание, которых они достойны?

— У любого человека есть шанс. Но, как я уже сказал, им следует определиться, быть «массовыми» или «элитарными». Это два отличающихся друг от друга мира литературы с разными перспективами, читателями и деньгами.

— Но вы лично хотите, чтобы вас причисляли к элитарным авторам? Есть мнение, что у нас в Беларуси даже писателям, произведения которых рассчитаны на массы, трудно добиться успеха. Так это или нет?

— Не обязательно быть элитарным, это не моя цель. Я пишу не для себя, а для читателей. Моя задача — сделать так, чтобы было интересно и увлекательно читать. С другой стороны, каждому автору хочется быть оцененным литературными критиками, поэтому в свои произведения я закладываю подтекст и, по возможности, глубокий смысл. Тем самым стараюсь угодить и критикам, и читателям.

Если человек действительно хочет пробиться — он сделает это, даже если он из провинции. Пример тому ребята из села Никольское — Bad Boys. Они записывали рэп-композиции в качестве шуток, а сегодня их знают чуть ли не вся Россия и СНГ.

Как ни крути, все дороги ведут в Рим. Рано или поздно любой творческий человек, мечтающий об успехе, попадает в большой город. Поэтому пробиться нетрудно, если не сидеть на месте и если много работать.

— То есть в Беларуси тоже все возможно: и успех, и слава, и признание, и заработок?

— Я понимаю, почему возник такой вопрос. Есть люди, которые опускают руки, говорят, что в нашей стране не развит издательский бизнес, что у писателя нет возможности самореализоваться. Если им нужны деньги и признание — их можно понять. Но говорить о том, что все плохо, — бессмысленно. Главное — старание, трудолюбие, упорство и, конечно, талант — и успех обязательно придет.

— Евгений, желаю вам удачи и творческих успехов.

— Большое спасибо.

Мы продолжали выяснять литературные предпочтения современной молодежи. Для этого был проведен опрос среди покупателей одного из столичных книжных магазинов. В опросе приняли участие 60 человек в возрасте от 15 до

25 лет. Главный вопрос: назовите одну или несколько ваших любимых книг. Наиболее частыми ответами были: романы «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу, «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Алхимик» и «Вероника решает умереть» Пауло Коэльо, «Одиночество в Сети» Януша Вишневского, «Империя ангелов» Бернарда Вербера, сага «Сумерки» Стефани Майер. Так же часто назывались книги писателей-фантастов. Несмотря на различные пристрастия, большинство участников опроса сошлось во мнении, что литература и чтение необходимы для гармоничного развития человека.

Мы обратились к продавцам книжного магазина. Хитами продаж являются книги тех современных авторов, которые были названы в опросе, а также произведения Бориса Акунина, Сергея Минаева, Людмилы Улицкой, Дины Рубиной, Анны Гавальда, Фредерика Бегбедера, Сесилии Ахерн. Не падает интерес к детективному жанру, самые популярные авторы — Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Татьяна Полякова. Но и классика не залеживается на полках: книги У. Шекспира, А. Дюма, Э. Хемингуэя, Ч. Диккенса, Э. М. Ремарка, В. В. Набокова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, писателей, которые остаются лучшими на протяжении веков.

Как оказалось, с уверенностью можно сказать, что и белорусская литература пользуется спросом среди покупателей. Из классиков в лидерах продаж — книги Владимира Короткевича, востребованы произведения Янки Купалы, Якуба Коласа. Большой популярностью среди поклонниц женских романов пользуются бестселлеры Тамары Лисицкой «Идиотки», «12», «Тихий центр» и Натальи Батраковой «Территория души», «Площадь согласия». Молодежь часто спрашивает произведения белорусских фантастов: Геннадия Авласенко, Ольги Громыко, Зинаиды Дудюк. Это говорит о том, что белорусская литература жива и интерес к ней растет, в том числе и среди молодежи.

Литература — это искусство, которое вечно. И каким бы изменениям ни подвергалась жизнь общества, литература будет существовать и развиваться.

Дарья КОСКО

От редакции

Эта статья в почте «Нёмана» появилась еще в прошлом году. И, честно говоря, мы не сразу решили, как с ней поступить. С одной стороны, подкупал подзаголовок: «Рассуждения о состоянии современной литературы». Что тут скрывать, не часто сегодня на страницах литературных изданий появляются материалы, в которых авторы пытаются не то чтобы проанализировать состояние современной отечественной литературы в целом, а хотя бы некоторых ее жанров или направлений, поднимают интересные и важные проблемы. В данном случае проблема тоже очерчивалась. Проблема мироощущения современного литературного героя, баланса между его высокими чувствами и низменными потребностями. Но, переходя от общего к конкретному, автор статьи все свои упреки, весь свой гнев обрушила на одно-единственное произведение — повесть Анатоля Козлова «Примириться с ветром», тем самым поставив редакцию в несколько затруднительное положение. Дело в том, что повесть эта печаталась в «Нёмане», а Анатоль Козлов — сотрудник нашей редакции, работающий как раз в отделе прозы. Вообще, давно известно: печатаясь в издании, в котором работаешь, всегда больше других рискуешь оказаться в роли ответчика. То перед рассерженным читателем, которому хотелось бы, чтобы вся литература была именно такой, какая нравится ему (пусть хотя бы в границах одного издания, — но ведь он же его выписал или потратил время на поход в библиотеку), то перед автором, произведения которого ты, как редактор отдела, накануне отверг. Вместе с тем, мы не собираемся в данном случае выступать в роли защитника редактора отдела прозы журнала «Нёман». Анализировать произведение — дело критики, которая, кстати, приняла эту повесть неоднозначно: за что-то пеняла, за что-то хвалила: обычное в литературной жизни явление. Но и ее автор в литературе давно не новичок — со своей манерой письма, своими героями, своими темами. И захочет, да и сможет ли он быть другим? Конечно, кому-то может не нравиться язык его прозы, кому-то кажется, что его герои слишком заняты своим душевным самокопанием, отчего весь мир им видится разрисованным серыми красками. В общем, этакая достоевщина XXI века. Кстати, Достоевскому (упоминая этого писателя, мы, конечно же, никоим образом не ставим знак равенства между его творчеством и творчеством автора «Примириться с ветром») тоже не раз попадало и за мрачность, и за язык. Правда, не столько от современников, сколько от потомков. Например, Владимир Набоков писал, что Достоевский для него «писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей». А вот уже достаточно свежее признание — от Михаила Веллера: «Нельзя сказать, что читать Достоевского скучно — читать его трудно, ибо язык его ужасен и трудноперевариваем. Эта работа по переводу корявого многословия в мысли и чувства большинству читателей трудна, неприятна, излишня, надоедлива».

И все же нельзя не разделить озабоченность и тревогу Ирины Шатыренок. Тем более, если посмотреть на проблему, которую она, по сути, только обозначила, шире. Должна ли существовать в творчестве самоцензура? И где та грань в литературе, выходить за которую непозволительно, поскольку там уже начинаются безнравственность, пошлость, бездуховность? Вопросы не праздные, и касаются, кстати, не только собственно литературы. Современного читателя, зрителя, слушателя со всех сторон атакуют серость и безвкусие. Оптимисты говорят, что он — читатель, зритель, слушатель — умный, сам разберется, выберет настоящее, талантливое, светлое, которого, слава богу, тоже хватает: в литературе, на эстраде, в кино. Но так ли это, если посмотреть, кто сегодня для массового потребителя являются кумирами, эталонами для подражания? И не виноваты ли в этом, хотя бы в какой-то степени, культура и искусство?

Предлагаем читателям «Нёмана» порассуждать об этом.

*Можно ли примириться с ветром**

Недавно взялась перечитывать книгу одного автора из советского прошлого. Лет сорок назад мы его «проходили» в школе, как современного классика. Долго настраивалась, пыталась заставить себя читать, но не одолела и десятка страниц, как меня охватила скука смертная. Зачем себя мучить, ведь читаешь не для оценки в дневнике. Тогда ради чего?

Сейчас подбираю книги совсем по-другому, по жизненной необходимости, как жаждущий воды путник в пустыне. Утолить духовную жажду сложнее, чем напиться воды. Здесь многое должно совпасть: настроение, наслаждение красотой слова, поиск ответов на собственные вопросы. И если такое случается, книга становится твоим спутником, близким другом и советчиком на долгие годы.

Заглянешь в современные тексты, а литературные герои-то там совсем и не герои — сплошь озабоченные на сексуальной почве тридцатипятилетние мальчики, готовые изменять *Единственным и любимым* сразу, как только отъедет от перрона вагон. Нервные, мелкие, безответственные люди, пытающиеся водкой залить пожар измены, пускающиеся во все тяжкие, по сути своей больше похожие на сутенеров, а не на сильных, уверенных в себе мужчин.

Один такой герой нашего времени в повести А. Козлова «Примириться с ветром» (журнал «Нёман» № 8, 2010 г.) ковыряется в своей душевной ране, открывая миру нелицеприятные стороны частной жизни. У многих найдется свой скелет в шкафу, но литература особое занятие… Как хочется, чтобы интересная история превратилась в руках мастера в *художественное произведение,* но кто знает, где заканчиваются границы житейского рассказика и начинается ЛИТЕРАТУРА!

Не надо большего труда и ума, чтобы обзывать бывшую любимую ***похотливой, сучкой-предательницей, шлюхой, лахудрой, Хавроньей,*** а интимные отношения свести к ***перепихону, случке,*** банальному ***совокуплению*** и т. д. Редкие авторы могут переплавить собственные страдания в бесценные страницы чистой литературы.

Схема повести выглядит следующим образом. На смену смутным рассуждениям героя о любви, изменах и женском коварстве приходят действия. В Интернете он находит сайт «Знакомства» и резко меняет монашеский образ жизни, в течение месяца оттягиваясь на полную катушку. **«*Следующие три недели пролетели, словно в сюрреалистическом сне. Квартиры, номера отелей, сауны и душевые кабинки, задние сидения автомобилей, темные скамейки в скверах и парках сменялись дачами под Минском, лесными полянами, туристическими палатками… В голове смешались в густой коктейль имена девушек, молодых женщин, дам бальзаковского возраста…*».** Правда, герой вдруг спохватывается в своих откровениях: **«*…ни одну любовницу я не привел в свою квартиру, на нашу с ней, Единственной, тахту*».** Потом, кстати, бедной тахте будет высказана претензия.

---

* Печатается в сокращении. Полный вариант статьи читайте на сайте: www.lim.by.

Вам интересно? Мне нет, поскольку все однозначно, примитивно, заранее знаешь, что случайные связи не залечат душевную рану, — но наш герой с головой бросается в омут плотских утех.

Физиологии в повести достаточно, все крутится вокруг одной темы и одного детородного органа, ну, знаете, слово из песни не выкинешь, что есть, то есть. ***«… Знаю я твою Хавронью. Я столько раз слушал ее сердце. И в минуты вашей любви, и во время объятий на кухне, а внимательнее всего тогда, когда приходили ваши друзья. Как же хищно, похотливо трепетало сердце у Хавроньи, когда высматривала она подходящего бычка… Столько лет прожил со шлюхой бок о бок… Не забывайте: я мужчина, которым управляете не только вы, мой правильно-дубовый мозг и изболевшееся сердце, а еще один известный орган… Чувствую, как похотливое желание заполняет теплом низ живота… Просто был отличный секс. Не рабоче-крестьянский, а со своеобразной изюминкой...»*** и так далее, и тому подобное.

Композиции сочинения не хватает логики. Автор так увлекается описаниями состояние героя, его депрессии или невроза на почве неудачной любви, что не слишком заботится о сюжете, о том, чтобы увлечь читателя поворотами судьбы героя и героини, бесследно исчезнувшей из его жизни. Остается только тахта. ***«Единственная изменяла мне на ней. И тахта не вздыбилась, не сбросила с себя блудницу. Союзница! Потому что тахта и женщина — одного рода. Грешница прикрывает грешницу. Только так они могут выжить…»***

Читаешь озвученный автором внутренний мир героя, его мысли и треволнения, и вдруг ловишь себя на мысли: как бы хотелось перенестись в иные условия, в атмосферу нормальной семьи, в покой, уют, где живут любовь друг к другу и взаимопонимание. Грязные слова и мысли вызывают одно желание: пойти в ванную и вымыть руки, слишком все противно, низко… и неубедительно.

Герой на всякий случай предупреждает читателей: ***«Вы ошиблись, если подумали, что я упиваюсь своими страданиями, любуюсь ими, раздуваю угасшие угольки ушедшего благополучия, надежности, покоя. Я взрослый»***, в чем очень приходится сомневаться. Все эти сотрясения больше напоминают не раненного любовью тридцатипятилетнего мужа, а юного подростка, обманутого ожиданиями первой любви.

Все смешалось в бедной голове несчастного влюбленного. Там можно найти все: обрывки чужих мудрствований, собственные амбиции, болезненную растерянность, опасную надменность, нелюбовь к ближним, настороженность к окружающему миру. ***«Без косых, завистливых, осуждающих взглядов близких твоих, скептически-критических замечаний начальников, остервенелого рыка пассажиров в переполненном метро… Я же свободен ото всех!»***

Бедный, бедный герой, не повезло ему с родными, близкими, любимыми, начальниками, пассажирами метро, покупателями рынка, соседями.

Такой нервный субъект, похожий на одинокий остров, вне социума, отрезанный от всех, без друзей и коллег. Он — один. Его эгоцентризм впечатляет, а любовь больше напоминает болезнь, от которой он не хочет вылечиться, нашпигованный судорогами рефлексий.

Автор сознательно подчеркивает современность повести, подбрасывая для доказательства мелкие детали современного быта, события происходят все-таки в Беларуси, а не где-то в Тмутаракани: ***«…карманный китайский фонарик, купленный на рынке в Ждановичах, белая пепельница с логотипом «Fabus», цифровая камера, МР-3 плеер, «Рамштайн»…»*** Когда недостает убедительности в художественных приемах, идут в ход логотипы и другие рекламные маркеры. Если бы не эти якобы вещественные доказательства национального быта, то никакие сны-монологи не помогли бы сориентироваться на местности.

Особо хочу остановиться на лаборатории слова, где художественный язык, сравнения, метафоры не несут на себе точной огранки, а засорены заезженны-

ми штампами, неточностями. Их много, они мозолят глаза, но такая небрежность отнюдь не смущает автора. Сегодня это модно, за якобы дневниками-воспоминаниями, монологами героев прячется обыкновенная словесная халтура, недоработанность, недошлифованность текста. Всегда можно сослаться на авторский прием, а такого рода тексты, как правило, отличаются *нелитературностью языка*.

Если в тексте канистра, то она ***бездонная****, огонь —* ***ненасытный****,… взор* ***внутренний****, луна* ***полная…*** *и мы парижи видывали, и по монмартрам таскались, и в Сену плевали… стерпится — слюбится… до звона в ушах, до хруста в суставах, до пелены перед глазами…* и так далее, и тому подобное.

Как из рога изобилия рассыпаны перлы, понимайте их как знаете: ***«Важно, чтобы жизнь не поставила тебя раком и не использовала по полной программе… Я равен безграничной пустыне. Моисеевой пустыне… Познай себя, и ты познаешь Вселенную… Переворот в душе. Наверное, смена политических формаций в государствах проходила более спокойно, бескровно… Не снилось английской королеве… и жук и жаба…»*** Все эти расхожие фразы не несут особой смысловой нагрузки, но снижают эстетический уровень произведения.

Отдельно хочу остановиться на главе, посвященной сну героя на розовом облаке. Не буду углубляться в дебри расстроенной психики героя, а только сниму пенку с поверхности. Здесь все по Фрейду зеркально наоборот. Герой во сне вытягивает из себя прошлые страхи, раскаяния, прибегнув к помощи иносказательного, мерзкого чудища-жабы, ***«которая живет в каждом человеке»***.

«Четырехлапые всползали на гангренозно-пупырчатые спины, образуя подвижный неровный столп. Не так ли строились египетские пирамиды?» — вопрошает испуганный герой. Хочется ответить: не так, уважаемый, не так строились египетские пирамиды, ничего общего не имеющие с неровными столпами. Мы все любим играть в слова. Отбираем их, священнодействуем, творим, создавая из них конструкции и формы, делаем ювелирную огранку, чтобы вдруг произнесенное слово засверкало, заиграло алмазными гранями, наполнилось особым смыслом, жизненной энергией. Мы вдыхаем в ускользающую все время оболочку замысловатый тайный смысл, священный ужас, смятение, иронию или пафос. Все зависит от того, кто на что заточен. Не оттого ли профессия литератора всегда рассматривалась обывателем как дело таинственное, почти сакральное, одобренное небесами…

И все-таки стою на своем: в данном случае легкодумно подменяемые сравнения не выдерживают никакой критики.

Жабья морда, дающая правильные советы, оказалась еще и чревовещательницей расхожих народных поговорок и пословиц: *«И овцы целы, и волки сыты…, не болтаться, словно дерьмо в проруби…»* Правда, жаба не отличается хорошим вкусом, вещает сплошь набившими оскомину штампами: *«шаг за шагом, метр за метром, иди с гордо поднятой головой, не склоняй головы перед теми, кто этого не достоин… ради общей цели»*. Какая-то барабанная дробь, набранная из общих газетных заголовков. Понятно, что сон и разговор с жабой — это всего лишь авторский прием, с помощью которого легко можно спрятаться и свободно поплутать в лабиринтах сознательного и бессознательного, в полуснах и тенях прошлого, вытягивая на свет божий все черное и подлое из души героя.

Даже во сне герой не лишен назидательного, учительского тона, пытается за всех сам разобраться и дать лекарство от несчастной любви, от женского коварства и предательства. Жаба здесь выступает в роли опытного психотерапевта. Оказывается, рецепт как всегда прост. Надо любить, но как? Напомню, нашему герою уже тридцать пять: *«В твои годы необходимо любить! Безоглядно, бездумно, сломя голову, не жалея потраченных дней и ночей, не обращая внимания*

на раны и синяки, ложь и обман, измены и неверность, даже подлость, любить, любить на износ». Опять старые лозунги о главном. Жабьими устами, надо понимать, речь идет о земной любви с сопутствующими плотскими утехами, разочарованиями и вывернутыми наизнанку представлениями о духовных ценностях, то есть все тот же пустой, никчемный ветер, за ним гонится такой же опустошенный герой.

Меня сразила одна странная формулировка страданий. Автор по обыкновению некорректно ссылается на всех *нас*. Послушайте: ***«…мы** любим свои страдания и часто выставляем их напоказ… Через страдания **мы**, наверное, избавляемся от своей серости, муравьиной обыкновенности. Приобретаем ореол. Но зачем он **нам** в наших буднях? Будет мешать, натирать, давить. Наконец, ослеплять ближних, раздражать их. Тех, у кого пока нет призрачного ореола…»*.

Какая все-таки эмоциональная незрелость, холодность слышится в этих словах-перевертышах. Мне казалось, что физические и нравственные муки очищают, облагораживают человека. Через боль приходит милосердие, снисхождение к слабым, больным, *нищим духом*, делая нас добрее, внимательнее к близким, приближая к некой таинственной истине, за которой в конце жизни ждет суровое божественное Предстояние. Через страдания постигаются ошибки, идет внутренняя работа на становление, на духовный рост, преодолевается новая ступень. Недаром в слове *со**страда**ние* один корень со словом ***страда**ние*. Исстрадавшийся человек возвращается к себе настоящему, обновленному, обогащенному опытом и потерями, порой заново начинает жить и всматриваться в прошлое.

У меня тяжело умирает подруга, моя ровесница, после первой операции прошло полтора года, она претерпела все муки ада, химиотерапию, больницы, несколько новых операций, метастазы задели все жизненные органы. Неужели невыносимые физические страдания избавили ее *от серости и муравьиной обыкновенности?* — спрошу я всех неравнодушных людей.

И последнее. Сердце, к которому неустанно обращается герой, особенно себя не утруждая, выдает одну за другой банальные аксиомы, опровергает мифы, вот одна такая формула выживания, которую изрек сердечный орган: *«Предают родителей, детей, любимых, но прежде всего самих себя. Это простенькая формула выживания. Выживание муравьев»*. А-а, опять все те же муравьи…

Мы, от имени кого автор так любит выводить поучительные сентенции, всего лишь нижайшие, копошащиеся внизу муравьи, суетливые и обыкновенные, которые раздражают своей монолитностью велеречивого мудреца. Тогда кто он сам? Весь текст сомнительного сочинения, с явными и скрытыми подводными намеками, говорит сам за себя.

Как ясно и понятно, а главное, доверительно писали в еще совсем недавнем прошлом, увы, уже ушедшие от нас писатели-классики. Какой лаконичный, казалось бы, простой и в то же время емкий, сдержанный был язык в прозе В. Быкова, но своей жизненной простотой, мощнейшей авторской эмоциональностью и правдивостью он брал за горло, выворачивал и очищал душу. К таким книгам хочется возвращаться и возвращаться. В поисках многих ответов.

Прозрачность, чистота и красота слога, увлекательность сюжета отходят на второй план. Современные авторы часто принимают свои тексты за ристалища и игры в словесность, путая *просто художественную литературу* с некими литературными клонами.

Есть еще одна претензия, которая одолевает чуть ли не с первой страницы: скучно, черт возьми! Ничего не задевает, хоть режь. Хотя кто-то может справедливо заметить, что понятие «скучно» — это не аргумент для критики, этот посыл скорее можно отнести к читателям. Литература как раз та область, где разброс мнений существует, и довольно большой, и это нормальное явление.

В нашей сложной, переменчивой жизни все так давно расслоилось на имущественные, социальные, статусные и прочие понятия, что новый буржуа никогда не заглянет в дешевую закусочную. Как и бедный студент (разве что в мыслях) не переступит порог дорогого престижного ресторана. Здесь все понятно, незримо существует непреодолимый денежный барьер. Высокие цены услуг автоматически закрывают доступ для малоимущих. Не получилось бы такого и с обсуждением современного литературного процесса. Но прав писатель А. Андреев (журнал «Нёман» № 8, 2009 г.), прав, что свято место пусто не бывает. И за неимением современной талантливой литературы будут появляться ***«книги-фокусы, книги, завораживающие пустотой содержания»***, все настойчивее и настойчивее заполняющие культурное пространство.

Старшее поколение читателей воспитано на классической литературе, а такая литература привила не только вкус к высокому слогу, заставляющему мыслить и сопереживать ближнему, но и определенный иммунитет, установила чуткие фильтры, и как бы такие новые книги ни имитировали ложную сладкую форму, пустое содержание остается без послевкусия. Пустоцвет не даст завязи. Из ничего не будет ничего. Псевдолитература не откроет сердца к доброму, не смирит жестокость и не изменит в лучшую сторону картинку мира.

Повесть написана явно в стиле потока сознания, где автор экспериментирует, самонадеянно забывая, что такая техника превосходно действует при ее дозированном, экономном применении. И нечего тогда пенять на читателей за равнодушие к постмодернистским «играм», поскольку подготовленные читатели интуитивно чувствуют, что «играют и заигрываются» новоявленные постмодернисты на белорусской литературной почве совсем не с ними, а друг с другом, путая литературу с литературным дискуссионным клубом. Выяснять отношения между кланами, суполками и отстаивать позицию надо на литературном поле, которое представлено на страницах специализированных изданий, а не в скучных текстах неудачных образчиков последователей постмодернизма.

И зачем так долго гнаться за псевдоветром, который не наполняет твои паруса настоящей любовью, страданиями, болью?

Усталому путнику, в смысле писателю, необходимо иногда остановиться в своем долгом путешествии. Временное молчание, как акт познания себя и мира, приносит порой чудные плоды в виде удивительных книг, наполненных истинным словом и творчеством.

Если нет величия духа, зрелости мышления, гражданской позиции, общество будет влачить убогое существование. Обращает на себя внимание следующий пассаж, закамуфлированный между телеграфно-короткими инъекциями о горечи любви и новой подружкой по Интернету: «…Пусть будет больно другим. Чужая рана не болит». И вдруг неожиданно вырывающийся вперед, как последний аутсайдер, страшный кусок. Здесь в тексте курсивом идет злорадная подсказка, зашифрованная, иносказательная: ***«На наших черных флагах****, реющих над хатами и многоэтажками, деревнями и городами,* ***красной краской выведено****: Душа никому не нужна. Сегодня время хищников, предателей и подонков. Прячьтесь, честные! А если вас донимает, грызет она (совесть), то выбейте ей зубы, и пусть она (совесть) вас нежно обсасывает. (Просто и доходчиво…)*». Куда уж проще. По одной этой цитате у меня остается много вопросов к автору, так как приведенная цитата рождает нелестные ассоциации и забытые прообразы, хотелось бы уточнить, успокоить сомнения. Однако, какой отвлекающий маневр, господа.

Мы где живем, и где это у нас *реют наши траурные флаги*? *Прячьтесь, честные, сегодня время хищников, предателей и подонков*, а что дальше, не слишком ли сильные откровения, героя или автора?

Сколько в дискуссиях сказано, сломано копий о потерянном, не читающем молодом поколении, и потому как никогда уязвимом, а тут смело, прямо заявлено, без оглядки на авторитеты о грядущих новых временах.

Вначале, когда я только подступалась к написанию статьи, думала, что повесть «Примириться с ветром» всего лишь авторская неудача, слабая с художественной точки зрения, с кем не бывает. Даже в плохом надо постараться отыскать хорошие зерна, не в этом ли задача литературной критики — отделить зерна от плевел. Но все оказалось гораздо сложнее. Внимательно вчитываясь и вдумываясь в монологи главного героя, пришла к неутешительному выводу: если такого содержания тексты и дальше будут являться миру, мы станем грустными свидетелями скорого заката наших лучших надежд. Лабиринты болезненного сознания, ведущие в тупики, где нет исхода, бездуховность и тщетность усилий, скрывающаяся за самонадеянными, устрашающими лозунгами литературного героя, посеет в душах людей опасную безнадежность.

А где же здоровые, светлые, позитивные книги, высекающие искры доброй энергии и рождающие высокое Слово литературы? В таких книгах гражданские общества нуждались всегда, но создавать их сегодня, во времена, подпитанные бездуховной апатией, особая задача. Талантливые произведения будут являться людям, но не для тотального запугивания и ухода в себя, а для того, чтобы забрезжил спасительный свет в мрачных закоулках наших душ и пустынного мира. Хочется верить, что изнурение и стагнация словесной силы не достигли последнего предела, последней черты, как и дело позитивной, человечной литературы. Ей жить и вскармливать будущие поколения, тогда святое дело литературы не будет проиграно ни на каком суде, будь то самый Страшный суд или суд истории. Они сумеют между собой договориться.

Ирина ШАТЫРЁНОК

По закону справедливости

Янка СІПАКОЎ. «Зубрэвіцкая сага. Раман у апавяданнях». *Мн., «Літаратура і Мастацтва», 2010.*

Начнем издалека. С генетики. Генетика — хитрая наука, однако основной тезис ее прост и понятен. Если отбросить научную терминологию, его можно выразить в нескольких фразах: все, из чего «построен» человек как материальное существо, достается ему от родителей. Половина генов от матери, вторая — от отца. Потом, повзрослев и заимев собственных детей, этот человек передает в наследство им пятьдесят процентов своих, уже смешанных, генов, чтобы остальные они получили от второго родителя. И так — из поколения в поколение. Видимо, это и есть бессмертие с точки зрения материалистов.

Переходят ли к нам от предков наших также мысли, ощущения, переживания? Наверное. Потому что откуда же тогда берутся эти непонятные, подобные сполохам, прорывы памяти о событиях, которые были задолго до нашего рождения? Генетическая память? Возможно, большинство исторических романов и повестей обязаны своим рождением именно ей. Тем не менее, далеко не каждый творец готов признаться в этом даже самому себе.

Доминирующие слова из интервью писателей-историков — «архивы», «консультирование со специалистами». Да, это есть, это важно. Но ведь никакие архивы, никакая консультация не подскажут, чем полнилась душа человека, когда он пробирался сквозь молочное марево тумана одному ему ведомыми тропинками к языческому камню-оберегу. Тому самому, которому можно было нашептать о бедах и разочарованиях, покаяться в грехах — и беды отойдут, а грехи будут отпущены. Ни одна летопись, ни одна хроника, даже те, которые подробно и горестно повествуют о том, как земли наши укутывал могильными крестами голодный поморок, не засвидетельствуют, что умирающему от голода начинает казаться, будто бы сердце его переходит стучать в те предметы, к которым прикасается рука. Только она, генетическая память, достанет из глубины души такие воспоминания о средневековой войне, такой «крупный план», какие невозможно придумать.

«Яма даверху была запоўнена коньмі і людзьмі. Адны, ужо аціхлыя, ляжалі нерухома ў самых нязручных позах, іншыя, скалечаныя, бездапаможна варушыліся паміж востраколля. Вышэй за ўсіх у яме ляжаў Жэдзівід. Ён так і ўпаў разам з канём. Так і ўздзеліся яны абодва на адзін кол — спачатку конь, а потым і яго вершнік. Па той позе, у якой застыў Вітаўтаў гетман, было відаць, што ён, адпіхваючыся ад каня рукамі, спрабаваў зняць сябе з завостранага кала»…

Новое произведение известного писателя Янки Сипакова «Зубэвіцкая сага» потрясает глубиной… глубиной погружения внутрь себя. Погружения до самых истоков, до обнаружения следов далеких предков. В каждом из нас они должны были сохраниться хотя бы на уровне боязни темноты и падения. На уровне вздрагивания от громовых раскатов.

«Не ведаю чаму, аднак усё гэта, пра што раскажу, я чамусьці так добра помню, быццам бы тое, што адбывалася тады, бачыў на ўласныя вочы. Быццам бы і мой будан стаяў там, на выспе, недзе паміж сённяшнімі Дняпром і Друццю — памятае-

це, першы справа ў стойбішчы, калі падымацца на выспу ад вялікай вады? Звычайны такі буданок, складзены з буйных костак маманта, накрыты шкурамі, а перад уваходам з двух бакоў — два вялікія, закручаныя ўсярэдзіну, павернутыя адзін да аднаго біўні, што тырчаць з мамантавых чарапоў»…

Яблоки падают недалеко от яблонь. Но это справедливо только для яблок. Люди склонны покидать насиженные места ради новых впечатлений и возможностей. Мы уезжаем из мест, которым обязаны сотворением генетической основы. В силу разных причин забываем о предках, хотя они и проступают в каждом нашем поступке и слове. Вбираем в себя культуру других народов, нередко принимаем в жизнь свою чужие моральные ценности. Янка Сипаков рассматривает исключительный случай. Когда на протяжении столетий род живет в той местности, которую когда-то выбрал для себя пращур — некий охотник на мамонтов. Это случай, когда потомки ясно ощущают свою связь со всем, что окружает их родное село. Когда о каждом камне можно рассказать передающуюся из поколения в поколение историю, каждый лесок, каждое поле, каждое урочище являются хранилищем знаний о предках. И это, безусловно, помогает восстановить их образы. И писатель делает это. Так диадема, предание о которой бытует в его Зубревичах, ассоциируется с образом красавицы-княгини, которую, согласно традициям, должны были возвести на погребальный костер следом за умершим князем. А каменная ступка странной формы, в которой прабабка автора «Зубрэвіцкай сагі» толкла мак, вдруг открывает свою истинную суть, становится куклой-оберегом, тайным талисманом язычников Голубы и Добронега.

Пытаясь «вспомнить» подлинные истории далеких предков своих, Янка Сипаков невольно обращается и к прошлому самих Зубревичей, села на Оршанской земле, через которое пронеслась эпоха борьбы христиан с язычеством; на которое дохнул ветер свободы, завоеванной на Грюнвальдском поле ратниками Оршанского, почти полностью погибшего полка; вокруг которого эхо до сих пор разносит звуки выстрелов последней войны. Прошлое предстает перед завороженным читателем рельефно, ярко, мощно. И, собственно, перестает быть прошлым одного отдельно взятого уголка белорусской земли, выходя на масштабы прошлого целого народа. Вот — времена крещения Руси:

«Неўзабаве яны былі ўжо ля ракі. Якраз у тым месцы, дзе, уткнуўшыся ў пясок галавою, прыстаў да берага Пярун, бог грому і маланкі. Там ужо было шмат людзей. Дабранег убачыў Вешчуна і, як ні дзіўна, таго самага дзядка ў падранай світцы, які на свяцілішчы загадваў князю выцерці яму нос… Людзі ўжо моўчкі выцягвалі Перуна з вады, і яны — таксама не прамаўляючы ніводнага слова — далучыліся да іх».

Вот — Смутное время:

«Орша на той час была памежным з Маскоўскай дзяржаваю горадам… На памежжы збіраліся не толькі чуткі, але і розныя людзі, якія спадзяваліся менавіта тут і якраз у гэты час злавіць сваю ўдачу — зладзеі, рабаўнікі, казакі, вольныя, чымсьці незадаволеныя людзі. У Масковіі перад гэтым годам быў неўраджай, і хлеб туды завозілі цяпер з Вялікага княства Літоўскага. У Оршы і іншых памежных гарадах у мяшкі з жытам нярэдка клалі адозвы і пісьмы новага цара, яго заклікі і распараджэнні, у якіх ён, уратаваны царэвіч, звяртаўся да сваіх людзей».

Писатель ищет прошлое в глубине себя. И тут происходит закономерное. Субъективное начинает «обрастать» объективным. К ощущениям, генетической памяти добавляются опыт, реальные наблюдения. И, конечно же, знания, полученные из всевозможных исторических источников. Они в данном случае — вторичны. Ибо речь идет все-таки не о научно-популярной, а о художественной литературе.

Янка Сипаков, задумав написать своеобразную историю своего рода и избравший для воплощения этого замысла форму коротких новелл-фре-

сок, посвященых разным историческим периодам, цементирует кирпичики, которые должны стать единым романом, при помощи исторических обобщений.

В «Зубрэвіцкай сазе» все гармонично и логично. Князь Митка Секира, владелец Зубревичей, например, как бы ни был образ его симпатичен автору и как бы ни снедало его искушение вывести «земляка» героем первого плана, все-таки остается тенью в истории Беларуси, тенью за спиной ярких фигур средневековых гигантов Ягайло, Витовта, Жигимонта Кейстутовича.

«Здаецца, Мітка павінен быў быць сярод тых вояў, якіх, схаваўшы ў трохстах вазах сена, прывезлі ў Трокскі замак змоўшчыкі супраць Жыгімонта, — размышляет писатель, так и не решившись, как Дюма-старший «повесить свою шляпу» на историю Беларуси. ***— Ён жа мог быць і сярод тых, што пад раніцу прыйшлі да пакоя, дзе маліўся Вялікі князь, і, згадаўшы пра ручную мядзведзіцу, якая жыла ў Жыгімонта, пачалі драпаць, як яна, замкнёныя дзверы, каб князь адчыніў іх. Мог бы бачыць, як Скабейка, адзін са змоўшчыкаў, схапіў вілы, якімі варушылі дровы ў каміне, і ўсадзіў іх у Жыгімонта… А калі Мітка не бачыў, дык абавязкова чуў пра гэта. Радаваўся ён ці засмучаўся з прычыны такой смерці Вялікага князя?»***

Князя Митку Сипаков оставляет, возможно, не без долгих раздумий, просто одним из участников средневековой войны за великокняжеский трон между Свидригайлой Ольгердовичем и Жигимонтом Кейстутовичем. Одним из сторонников Свидригайло, чуть не поплатившимся за это жизнью.

Зато фигуры Витовта, и особенно Ягайло, обретают выпуклость, образную завершенность. Симпатично то, что при этом они не превращаются в монументы. Увидеть внутренний стержень каждого героя — еще одна задача, поставленная автором романа. И он успешно справляется с нею.

Историческая достоверность, глубина чувств, художественная образность — замечательные достоинства «Зубрэвіцкай сагі». Но это далеко не все, чем может порадовать читателя новая книга. Есть нечто неуловимо тонкое, определить которое словами трудно, но что на уровне чувств сразу же, с первой страницы захватывает, вызывает симпатию к автору и даже солидарность с ним. Возможно, по большому счету, это можно было бы назвать Законом Справедливости. Именно его выбирает писатель основным законом существования своих героев.

Там, где судьбу персонажа не диктует исторический факт, там, где генетическая память не может подсказать, чем завершилась Ее или Его, или Их личная история, Сипаков однозначно выбирает спасение, жизнь, любовь, радость. И это — позиция, достойная уважения. Ведь как бы мы ни говорили о том, что, рисуя героя, потерпевшего поражение в борьбе за свое человеческое достоинство, погибающего на поле брани, теряющего смысл жизни, переживающего крушение всех своих идеалов, — мы создаем реалистическую картину, но не следует забывать и о другом. Если бы большинство наших предков не находили сил для защиты собственного достоинства — мы были бы рождены рабами. Если бы большинство воинов не вернулось с полей сражений — нас бы просто стерли с лица земли жестокие завоеватели. Если бы прадеды наши не научились с достоинством преодолевать жизненные невзгоды, мы не достигли бы ничего из того, что составляет гордость белорусского народа. Именно поэтому герои побеждающие — это герои, выписанные наиболее реалистично.

И таких героев у Сипакова — целая галерея. Вот первобытный охотник по имени Быстрые Ноги, обреченный завистливым одноплеменником Тымом на мучительную смерть. Покалеченный мамонтом, покинутый вдали от селения, окруженный жаждущими крови и плоти стервятниками, он из последних сил борется за жизнь. И в миг, когда кажется, что сил этих все-таки не хватит, ему на помощь приходит любимая девушка. Которая не поверила в его гибель. Которая не побоялась одна идти в опасный лес. Она оказалась достаточно мужественной, чтобы принять на себя заботу о калеке, который навряд ли

сможет вновь стать таким же здоровым и сильным, как раньше. А награда? Где же награда? Да вот она!

«У стойбішчы на гэтым Кургане ў Войхі і Хуткіх Ног нарадзілася дзесяцёра дзяцей. І хоць яны рана паўміралі, усё ж паспелі даць патомства, нарадзіць сваіх дзяцей. Ад гэтых дзяцей пайшлі Бус і Бераж, Жыва і Светлавока, Гарабой і Мікаш, Краска і Міланега, якія таксама раджалі нашчадкаў, што зноў жа раджалі сваіх спадкаемцаў».

Это ли не победа? Да самая главная, самая человеческая! Победа жизни над смертью.

Подчиняясь тому же Закону Справедливости, красавица-вдова, молодая княгиня Купалка, подготовленная к ужасному жертвоприношению на могиле мужа и даже сама принявшая то, что должно было случиться, ожидающая вознесения вместе с дымом от погребального костра в «прекрасный зеленый сад» — языческий рай, — в последний момент обретает жизнь, наполненную настоящей любовью. Тот, кто должен был, согласно ритуалу, нанести ей смертельный удар, рискуя собственной жизнью, спасает ее. Потому что увиделась ему в Купалке мать его будущих детей.

А разве не по закону справедливости пан, которого дворня иначе как Зверь и не называет, злобный ревнивый пан, бросивший жену свою на растерзание голодному медведю, сходит с ума, а потом и погибает в лапах того же медведя?

Книга полна протеста против любой формы насилия над человеком. В ней утверждается единство понятий «мужество» и «доброта».

«Здаецца, такое не спалучаецца. Але не — спалучаецца! Дабрыня мужнага чалавека асаблівая — ён ведае, як баліць іншаму, і таму робіць усё, каб балела як найменей. Твой боль — гэта ж працяг болю іншых».

Согласитесь, декларировать такое писателю, воспитателю поколений, — уже есть действенное добро.

Критический разбор любого произведения предполагает разговор не только об удачных моментах, но и о слабых сторонах книги. Критики, наверное, согласятся, что погрешности можно найти практически в любом произведении, даже если вышло оно из-под пера признанного мастера. Говоря о «Зубрэвіцкай саге», можно заметить, что не все части ее одинаково сильны по исполнению и воздействию на читателя. Наиболее удачными кажутся «Па дарозе ў прыгожы зялёны сад», «Сляза Перуна», «Вяселле», «У дні апошніх салаўіных спеваў», «Мсье». Более слабыми — «Цераз ваду», «Абвінёная», «Поплеч з царамі». Но, видимо, это и естественно для сборника новелл.

Читатель, знающий историю Беларуси, может удивиться решению автора сделать выдуманного персонажа, ловчего Данилку из Зубревичей главным подозреваемым в деле о предполагаемой измене королевы Софьи Гольшанской. Потому что главным подозреваемым — и это факт, с которым писателю, создающему историческое произведение, трудно поспорить, — был рыцарь Генрик из Рогова. Его мужество в защите чести королевы потрясло современников, поэтому в хрониках история эта была записана довольно подробно. Такое же удивление может вызвать утверждение автора, что Веселина-Вяселина из новеллы «Мсье» — студентка Виленского университета. Даже в середине XIX века, не говоря уже о наполеоновских временах, обучение девушек в университетах не допускалось.

Впрочем, достоинств у «Зубрэвіцкай сагі» настолько больше, что о недостатках и говорить не хочется. Вместо этого хочется читать и перечитывать эту книгу, вновь и вновь окунаться в мир добрых и мужественных людей. А еще хочется окружить и себя таким миром, вспомнив о своих далеких и не очень, мудрых, добрых, смелых, умевших преодолевать любые трудности предках.

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Дороги, которые приводят к посевам

Правда, это ведь здорово, что мы помним дороги, поведшие нас из детства в неизвестные дали. Помним мы и родной порог, и старый клен, и реку, и голубятню, доброе детство и горькие уже и в те годы утраты…

Все это и по истечении лет тревожит душу, однако и дает возможность радоваться «жизни многосложной», размышлять, «в чем был прав, а в чем и виноват».

А что же автор строки о дорогах, которые «ведут к посевам», возделанным другими, сам посеял в своей этой быстротекущей жизни? И это вопрос не праздный: Григорий Соколовский не только признанный поэт. Он и лектор, и журналист, и полемик-публицист. Если читателю доведется присутствовать на его встречах с солдатами, журналистами или школьниками, то он станет свидетелем предельной откровенности, правдивого разговора.

Но… обратимся к предмету нашего разговора — последней книге стихов Григория Соколовского «Горсть надежды и любви». Перед читателем предстанет образ поэта, образ журналиста-десантника прославленной Витебской десантной дивизии, которая первой вошла в Кабул в декабре 1979 года. Поэт развенчивает надуманные толкования вокруг действий Советской Армии в Афганистане, прямо говоря, что в выпавших на ее долю событиях советский солдат своей чести не запятнал. (Правда, в рассматриваемой книге афганская тема звучит несколько приглушенно.)

Так что же растет из посевов поэта Г. Соколовского? И уже не просто поэта. А лауреата республиканской литературной премии имени Максима Богдановича, руководителя Минского областного отделения Союза писателей Беларуси, автора многих книг.

Итак, это прежде всего уважение к святыням (малая родина Полтавщина, «васильковая, родная, и озерная лесная» Беларусь, дорогие и близкие его сердцу места), патриотизм и гражданственность. Это те «кристаллы бытия», через которые нельзя переступить, забыть или предать их.

Авторскую позицию, его исповедальное слово находим в стихотворении «Не накопил» из первого раздела книги «Трону тихо памяти струну…». Поэт говорит о честно прожитой жизни, о понимании в ней своего места и роли.

…
А все богатство —
В творчестве моем,
Неброских книгах,
Ставшими судьбою.
Не накопил добра я
В сундуках…

И действительно, те, кто хорошо знает Григория Соколовского, не усомнятся в правдивости этих слов. Непростая поэтическая дорога, начатая изданием книги стихов «Афганская тетрадь», пронизанная болью и чувством горечи от потерь боевых друзей, от клеветы и наветов на участников афганских событий… Казалось, трагизм увиденного и пережитого захлестнет и душу, и слово начинающего поэта. К счастью, этого не случилось — один за другим из печати выходят поэтические сборники («Счастье земное», «И век с тобою не расстанусь», «Услышь мой голос» и др.), утверждающие оптимистическое начало, веру в красоту жизни, силу любви, земные радости. И, конечно, свидетельствующие о живущих в его душе воспоминаниях, тре-

петной, сыновней любви к родным местам, к деревне, где увидел свет.

Где дверь всегда
Распахнутая в сени,
И вишен дым
В оконной синеве;
Где прокричит петух
В рассветной дымке,
И тишина не даст
Уже взгрустнуть,
Где детства тень
Мелькнет вдруг невидимкой,
Встречая долгожданную
Весну;
Где матери с грустинкою
Улыбка,
Отца замысловато-добрый
Взгляд.
…Где все свое
И близкое до боли —
Дом, сад, криница,
Колокольный звон…

(«Моя душа ночует…»)

А еще вызревшее, устоявшееся, благодарное чувство принадлежности к белорусской земле, к принявшей его, как сына, Беларуси, которой «гордиться предназначено судьбою» и перед которой он в неоплатном долгу:

Заворожен Купалы
Светлым словом,
Машу рукой
Вдогонку я грачу.
Я, как и он, влюблен
В просторы эти,
В осеннюю печаль
Седых осин,
Мне Родины милее
Нет на свете,
Еще — людей,
Кто я без них один?

В этих словах и кроется еще один ответ на поставленный нами вопрос. В стихотворениях-посвящениях поэт называет тех, кто был надежной опорой в жизненных буднях. Их было много на белорусских дорогах Г. Соколовского. Назовем лишь тех, о ком речь идет в книге «Горсть надежды и любви». Это Анатолий Степук, Михаил Высоцкий, Николай Домашкевич, Валентин Ситник, Федор Привалов, Игорь Костромцов, Владимир Хомутовский. Для поэта все это люди с большой буквы.

Теплые, эмоциональные слова Г. Соколовский посвящает своей матери и сестре Нине («Не успел отдать я долги огромные маме и тебе, словно бы иконами стали вы в судьбе… По свету намаявшись, жилист и раним, я молюсь, покаявшись, только Вам двоим. И прошу прощения за свои грехи…» (*«В день юбилея»*), брату Борису («Живи и радуйся восходам, где пойма солнца и трава… Сам понимаешь: с каждым годом трудней дается перевал». *«Не унывай»*).

На наш взгляд, следует сказать и о такой жизненной и поэтической позиции поэта, как мужество говорить правду, откуда и публицистическая открытость — «линия высокого напряжения», — идущая из души и сердца поэта. Вот несколько строк в подтверждение: «…Во мне поэзия // Жила, // Вокруг же — // Каверзы эпохи. // Кто-то бежал, // Крича: «Долой!..» // И проклинал // Страну родную, // Мои стихи // До запятой // Не славословили // Впустую. // Не подпевали тем, // Кто лгал, // Чтоб фальшью // Вдоволь насладиться, // Кто в сердце Родине // Стрелял // У дома Белого // В столице…» (*«Свидетель»*).

Позиция автора и позиция лирического героя неразрывны, дополняют друг друга, усиливая эмоциональную наполненность стихотворений. Стихи «Не жалуясь…», «Оптимистичное», «Привыкаем к седине…», «Свидетель», «Признание», «Хочу допросить», «Прижалась грусть к виску…», «Вот так и творю» и др. позволяют понять, что субъективное лишь элемент, вспомогательный штрих, возможность оттенить, выделить значимость общественного явления, которое усиливается личностным авторским отношением, его позицией.

Однако главное — не в субъективном «я». Суть, как нам видится, в понимании поэтом неотделимости своего «я» от славянских ценностей (в первую очередь, белорусских).

В подобном контексте личностное «я» растворяется в объективных белорусских реалиях, без которых, как оказывается, и сама жизнь поэта теряет смысл. Сакрально звучит — «Зависим»… Значит, его отношение к жизни, прожитое и пережитое — это не сугубо

личное. Это нечто большее, по сути, это тот макрокосм, без понимания которого жизнь на земле невозможна:

Зависим
От земли, где я живу,
От тропки,
Что ведет к родимому порогу…
…Зависим я…
…От вдов, что верность
До сих пор хранят,
От матерей —
Им кланяюсь я в пояс…
…Зависим
От нависшей тишины,
От честного
Купаловского слова…
…Зависим
От распахнутых небес,
От тяготенья счастья
Неземного…
<…>
(«Зависим»)

Хороши у поэта зарисовки природы: «Слушаем музыку августа светлого: рдеют рябины, роса на лугу, радуги тонкой крыло семицветное, грома басистого тающий гул» (*«Слушаем музыку»*), «Свет озера и ветерок хмельной, порою солнце, словно желтый факел, влюбляясь, бродит целый день весной. И сосны, понимая все душою, во мхах, как в губке, мягких и седых, подолгу ждут безмолвные, страдая, что праздник быстротечен: был и стих» (*«Владеют лесом…»*).

Однако для самого поэта праздник любви не быстротечен: начавшись в юности, когда «на руках носили влюбленных, нецелованных девчат» (*«О первой любви»*), он идет с ним по жизни, переполняет его сердце.

Проникновенно звучат слова, адресованные жене — верной подруге жизни: «Завладела ты нежданно мной, сделала своей незримой тенью (*«Мне тебя послали небеса…»*), «Какая есть — такую и люблю: ворчливую, незлобную, простую… Быть может, не всегда боготворю, но вовсе не хочу другую…» (*«Какая есть…»*).

Завершить свои рассуждения хотелось бы, может быть, неожиданным образом — обращением к стихотворению «Напиши…», в котором, на наш взгляд, изложено авторское обращение к читателю, его стремление быть вместе с нами, с нашими повседневными заботами, проблемами:

Напиши мне письмо
На разливах пшеничного поля,
На зигзагах дорог,
Что куда-то беспечно бегут,

Напиши мне о том,
Что щемяще знакомо до боли,
Что забыть никогда,
Ни за что я уже не смогу.
Напиши мне о том,
Как заря воду пьет на рассвете,
Как горланит петух,
Предвещая желанных гостей,
Как в объятья внезапно
Берет взбудораженный ветер,
И как бродит душа
По уставшей немой темноте.
Напиши мне письмо…
(Хотя нынче такое не модно)
Проще взять позвонить,
Разбросав монотонно слова,
<…>
Только в искренних строчках
Любовь, как и в сердце — жива!

И будет Жизнь, и будет Любовь, и будут новые стихи Гражданина, Человека, Поэта Григория Соколовского.

Аркадий РУСЕЦКИЙ

«Стена памяти»*

…жывіце ў любові і згодзе,
бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…

Не знаю, доводилось ли еще кому-нибудь испытать такое чувство реального перемещения во времени, какое ощутила я при чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» вышла в Минском издательстве «Літаратура і Мастацтва» в 2010 году. Жанр каждой из отдельных ее глав определен автором как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-историческим произведением, которое захватывает, читается легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что писателем проведена серьезная историческая исследовательская работа, так как в основу его труда положены достоверные летописные факты далекого прошлого Руси.

Так же как и автор, читатель живет в сегодняшнем дне, но словно в фантастической машине времени перемещается на многие века назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, слушает, запоминает...

Удивительно «живыми», предстают перед читателем великий князь Владимир, принявший Православную веру и окрестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогнеда — дочь полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жизненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литературе и истории вводит совершенно новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анастасии, сосланной мужем Владимиром вместе с сыном Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. И слышится в этой песне перекличка веков (вспоминается плач Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жен и матерей, их отчаяние и надежда. И словно доносится из старины что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу.

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не здагадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, як хочацца ёй у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»

Строя логические выводы из скудных исторических сведений, писатель художественно изображает не только конкретные события, но и душевные переживания своих невымышленных героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и королевы — реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают и радуются, бывают жестокими и милосердными.

Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нравственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться странными, а отдельные из них даже непостижимыми.

Нам непонятно, как человек может замышлять коварные планы против

---

* Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит название «Судьба Рогнеды, или Стена Памяти», она использована в оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».

родных братьев, с которыми недавно вместе в игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как может занести меч над головой отца, сестры или ребёнка. Однако так было у наших языческих предков, когда борьба за власть, влекущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, среди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб, имена которых донесли до нас летописцы.

Перемены начались, хотя и неторопливо, с введением на землях князя Владимира единой Православной веры, которая стала основой для объединения многих княжеств в одно мощное государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила удивительный по силе человеческий дух и непостижимую душу в последующих поколениях народов святой Руси.

Примером же начавшихся изменений служат поступки самого князя Владимира. Он распускает гарем, позаботившись заранее о судьбах бывших жен, так как теперь, с принятием христианства, должен иметь только одну супругу.

Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, который был *«вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя паходы браў з сабой богаслужэбныя кнігі»,* на предложение бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твердо отвечает: *«Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, калі памёр бацька, ён мне замест бацькі».*

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «*чалавек у сваёй душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў мірнае, спакойнае жыццё…».*

По его воле возводились многочисленные церкви и монастыри, переводились и переписывались книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал свои детям:

«…жывіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і адной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога… то Бог будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць вы мірна. Калі ж будзеце жыць з нянавісцю, сварыцца між сабой, дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш здабылі з працай вялікай».

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, что «отличительное, существенное свойство варварства — беспамятность», и нет национальной гордости без национальной памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат сегодня так актуально, что остаться к ним безучастными, не задуматься и не принять их всем сердцем будет означать, что наша собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплятаюцца з лёсамі іншых народаў!»

Не могу промолчать еще об одном несомненном достоинстве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо признать, что исторические личности князей все-таки достаточно известны современному человеку хотя бы по школьным учебникам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрываемой симпатией рассказывает о трех дочерях Ярослава Мудрого — Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную главу-очерк.

Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только очаровательными женщинами, но и образованными, начитанными, верующими христианками, любящими свое Отечество, русскую землю, они сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в какой-то мере даже смогли повлиять на взаимоотношения государств, что позволило укрепить мощь Киевской Руси.

Через много лет царь Петр Алексеевич, узнав о том, что была когда-то в истории Франции королева, которую звали Анной Русинкой и которая хранила Евангелие, написанное старославянским языком, скажет: *«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплятаюцца з лёсамі іншых народаў!»*

Автору книги удалось художественно восстановить замечательные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, особенно к жизни семейной, как-то очень по-христиански.

Героини произведения Алеся Мартиновича умеют любить и прощать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, ободрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная благодать. Может, потому так прочны их семьи, так счастливы с ними их близкие и они сами?

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти состоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать непоправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется желание отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, сравнить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась.

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынешние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать, какая исходит от венчанных брачных союзов русских княжон? Наверное, есть. Конечно, есть! И однако, почему в моей памяти возникают две недавние мимолетные встречи, две молоденькие девушки?

Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении подруг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефону, по-видимому, с мужчиной, возможно даже, с отцом ребенка. До моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно желая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ее ребенок лежал в коляске и слушал…

Вторая девушка, совсем юная, вошла в автобус и сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (был еще конец февраля) одетая, в туфлях на высоких каблуках и коротенькой юбочке, длинные ноги в прозрачных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив знакомого ей молодого человека, девушка подошла к нему и принялась непринужденно рассказывать: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?»

Я снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства собственного достоинства…»

Как же не хватает этим и многим другим современным девушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны и Елизаветы, просиявших на земле отчей. А ведь им, современным, тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влюбленный Эндре о княжне Анастасии: *«Ведаеш, княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як сонейка, што з'яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паветра пасля навальніцы…»*

…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мартинович ввел новый термин «Рогнедичи». На последней странице книги, где он сообщает о том, что дочери Ярослава упоминаются в трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет: *«Дочкі Яраслава ўпамінаюцца, але ж яны і ўнучкі Рагнеды — галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі»*. Потому что именно Рогнеда, *«а не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля — станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаахвярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»*.

Пишет Алесь Мартинович об этом со спокойным достоинством человека, не потерявшего своей национальной памяти и гордости.

Наталья РОДНАЯ

Языком плаката

Передо мной — удивительная книга: сборник плакатов Великой Отечественной войны «Родина-мать зовёт!», вышедший в минском издательстве «Літаратура і Мастацтва» в прошлом, юбилейном году. Ниже названия книги на титульном листе — подзаголовок: «Каталог коллекции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны». В предисловии к сборнику директор музея С. И. Азаронак справедливо утверждает: «Красноречивый рисунок плаката не требует перевода — он одинаково понятен как гражданам бывших советских республик, так и представителям дальнего зарубежья. <…> Мы надеемся, что это издание будет способствовать более глубокому изучению истории Великой Отечественной войны, а также патриотическому воспитанию молодежи».

Я с большим интересом перелистываю еще пахнущие типографской краской страницы и сразу же нахожу плакат, давший название книге, — «Родина-мать зовёт!» Его хорошо помнят люди старшего поколения. Смотрю и не могу сдержать волнения даже теперь, по прошествии стольких десятилетий со дня Великой Победы. Сила воздействия этого плаката, исполненного художником И. Таидзе сразу же после начала войны, была поистине огромна…

Такими же удачными, действенными в плане решения патриотической темы были и многие другие работы талантливых советских художников.

Обратит внимание зритель и на плакат художника В. Корецкого «Будь героем!». На нем изображены мать и сын-красноармеец, призванный в армию. Что может говорить мать сыну, провожая его на войну? Самые заветные, сердечные слова… Глядя на улыбающееся, мужественное лицо сына, понимаешь: он не подведет в бою, с честью выполнит свой долг.

Многим плакатам, рассказывающим о жестокости гитлеровцев на оккупированной советской земле, присущ острый драматизм сюжета. Эти плакаты будили гнев, звали к мести за все злодеяния фашистов.

Широко отражен в сборнике и период героического наступления Советских войск на врага. Плакатам этой поры свойственна особая торжественность: они передают чувство радости и гордости воинов-победителей, освобождавших советские земли от фашистских поработителей. Из этого цикла работ представляет большой интерес плакат Л. Голованова «Дойдём до Берлина!..» С удовольствием рассматриваем молодого бойца, изображенного крупным планом, — боец поправляет сапог… Он — в пути. На марше. Должно быть, до вражеской столицы остаются считанные километры. И солдат бодр, весел, из-под пилотки выбивается русый чуб, лицо освещает жизнерадостная, задорная улыбка. Во всей его фигуре чувствуется уверенность в долгожданной победе. И эта уверенность передается всем, кто видит плакат…

И вот еще одна замечательная работа В. Корецкого «Будь достоин нашей боевой славы!», которая как бы завершает рассказ талантливых художников-плакатистов о Великой Отечественной войне. Перед нами — фронтовик, грудь которого украшает целый ряд орденов и медалей, Золотая Звезда Героя. Он передает свой автомат молодому солдату. За спиной у него боевые знамена. Новобранцы восхищенно наблюдают эту сцену. Да, они будут достойны славы своих отцов и дедов!

Работы замечательных советских художников, составившие ныне уникальный сборник «Родина-мать зовёт!», были в свое время высоко оценены в стране как достойный вклад в общую победу над врагом.

Евгений КОРШУКОВ

Валерый Гапееў. **УРОКІ ПЕРШАГА КАХАННЯ.** Аповесці. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Серия «Пераходны ўзрост» основана в РИУ «Літаратура і Мастацтва» в 2007 году. Срок, согласитесь, не такой и большой, однако эта библиотечка уже успела стать востребованной, обрести, как говорится, свое лицо. Так случилось, видимо, и потому, что книги серии «Пераходны ўзрост» адресуются в первую очередь старшеклассникам, а для читателей этого возраста, к сожалению, у нас не так и много произведений. Немаловажно и то, что книги для подростков высокохудожественные, написанные со знанием интересов, проблем нынешних юношей и девушек, учащихся средних школ. Да и с глубоким проникновением в их внутренний мир. Все эти качества налицо и в книге Валерия Гапеева «Урокі першага кахання». В нее вошли три повести: «Усё цудоўна, або Урок бяспечнага кахання», «Лёшкава каханне, або Віртуальнае дрэва рэальнасці» и «Першы баль, або Доказ закона прыгажосці», объединенные одной тематикой, временем действия и одними героями.

Лада Алейнік. ПЯСОЧНЫ ГАДЗІННІК. Літаратурна-крытычныя артыкулы, нарысы, рэцэнзіі, нататкі. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

«Пясочны гадзіннік» — первая книга критика и литературоведа Лады Олейник, которая, безусловно, будет востребована всеми, кто интересуется национальной изящной словесностью, как историей белорусской литературы, так и ее новинками. Однако, думается, особенно ею заинтересуются старшеклассники, студенты, учителя средних школ, преподаватели средних специальных учебных заведений и вузов. В какой еще книге, у какого автора найдете такой широкий охват писательских имен и произведений? В поле зрения Л. Олейник — Алесь Пальчевский, Ян Скрыган, Сергей Граховский, Василь Быков, Иван Науменко, Дмитрий Бугаев, Олег Лойко, Михась Мушинский, разговор о творчестве которых ведется в первом разделе книги. Второй раздел не менее представительный. Л. Олейник анализирует произведения Андрея Федаренко, Анатоля Козлова, Владимира Степана, Михася Андрасюка, Алексея Якимовича, белорусскую женскую поэзию начала XXI столетия. Здесь же помещена и статья «Масавая літаратура: сябар ці вораг?». Наконец, третий раздел. В нем — Янка Брыль, Бронислав Спринчан, Юрась Нераток, Ирина Шевлякова, сборник лирики «Яна і Я», книга «Карона Вітаўта Вялікага» — первая из серии «Сучасны беларускі дэтэктыў».

Адам Мальдзіс. ЖЫЦЦЕ І ЎЗНЯСЕННЕ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА. Партрэт пісьменніка і чалавека. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Читатели постарше, конечно же, знакомы с первым изданием этой книги, которое выпустила «Мастацкая літаратура» в 1990 году. Книга была написана вскоре после смерти известного писателя, став первенцем в осмыслении жизни и творчества (жизни — в большей степени, подробный анализ творчества не входил в задачу Адама Мальдиса) Владимира Короткевича. Именно после этой работы А. Мальдиса к осмыслению неординарной личности писателя начали обращаться другие авторы, результатом чего стали не только многочисленные публикации, но и новые книги. Однако и после появления их «Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча» не утратило своего значения. А. Мальдис признается: «Тое, што прапануецца тут чытачу, безумоўна ж, будзе вельмі суб’ектыўным. Я далёкі ад таго, каб прэтэндаваць на нейкія ісціны ў апошняй інстанцыі, бо абапіраюся пераважна на тое, што асабіста бачыў

і чуў, што было занатавана (прызнаюся ў гэтым) адразу ж, вечарам ці на наступны дзень, а то і непасрэдна ў час выступленняў Караткевіча ў самых розных аўдыторыях. Праўда, мушу пакаяцца: на пачатку нашага знаёмства, у гады шасцідзесятыя, яшчэ не ўсведамляючы ўсёй значнасці таго, што адбывалася на маіх вачах, усёй адказнасці перад гісторыяй, такія занатоўкі я рабіў рэдка і бегла. Адсюль — і значныя прагалы». Однако, безусловно, свидетельства эти очень важны. В послесловии «Вечная дарога Уладзіміра Караткевіча» Алесь Карлюкевич резонно замечает: «Як мне асабіста падаецца, кнігу-ўспамін можна ўкладваць у зборнікі прозы самога Караткевіча, яна павінна быць дадаткам нават да акадэмічнага збору твораў пісьменніка».

Уладзімір Караткевіч: ВЯДОМЫ І НЕВЯДОМЫ. Зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў. Укладальнікі А. Верабей, М. Мінзер, С. Панізнік. Мн.: Літаратура і Мастацтва», 2010.

Не отрицая значимости других произведений, помещенных в этом объемном томе, следует отметить, что именно эссе Олега Лойко «Уладзімір Караткевіч, або Паэма Гарсія Лойкі», несет в нем основную нагрузку. «…Гэта твор, — как свидетельствует в предисловии к публикации «Подзвіг творцы» Анатоль Верабей, — які быў напісаны моцна хворым Алегам Антонавічам Лойкам у 2008 годзе, у апошнія месяцы яго жыцця. Твор сведчыць пра подзвіг Алега Антонавіча як пісьменніка і навукоўца, пра яго самаахвярнае служэнне мастацкаму слову. Сабраўшыся з сіламі, Алег Лойка здзейсніў сваю даўнюю, больш як дваццацігадовую задуму — не толькі асэнсаваў постаць Уладзіміра Караткевіча, але і выявіў уласную постаць, згадаў шмат цікавага з іх блізкага сяброўства». Во второй части книги — «Белая песня ў лугах залацістых...» впервые опубликованы некоторые поэтические произведения В. Короткевича на белорусском и русском языках, автопереводы отдельных белорусскоязычных стихов на русский язык, а также письма В. Короткевича к Нине Молевой. В третью часть «Свет мяне паўторыць…» вошли стихи, отрывки из поэм, эссе, выдержки из очерков, критических статей как белорусских, так и зарубежных авторов.

Анатоль Козлов. МИНСК И ВОРОН, ПАРИЖ И ПРИЗРАК. Сборник произведений. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

В этот сборник вошли избранные произведений Анатоля Козлова в переводе на русский язык: два небольших романа «Юргон» и «Минск и ворон, Париж и призрак», повесть «Дети ночи» и восемь рассказов (на русский язык их перевели Олег Ждан, Наталья Яковенко, Ирина Шевлякова и Виктор Ковалев). А. Козлов — современный белорусский писатель среднего поколения (увы, уже среднего, как быстро летит время), который, начав со своей первой книги «Міражы ценяў», пополнившей в 1990 году «Бібліятэчку часопіса «Маладосць», обрел собственное творческое лицо. О яркой индивидуальности его таланта рассуждает в предисловии к книге «Минск и ворон, Париж и призрак», озаглавленном «Закон многоточия: жить без страха», Ирина Шевлякова. Одна из отличительных черт прозы А. Козлова — насыщенность его произведений мистикой, которая, однако, тесно переплетается с реальностью. Его произведения динамичные, с увлекательными сюжетами.

Уладзімір Крукоўскі. СРЭБНАЯ СТРАЛА Ў ЧЫРВОНЫМ ПОЛІ. З гісторыі беларускіх прыватных гербаў. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Совместный проект газеты «Звязда» и Редакционно-издательского учреждения «Літаратура і Мастацтва». Правда, некоторые материалы печатались ранее и в журнале «Спадчына». Все публикации в периодике вызвали большой читательский интерес и широкий резонанс среди тех, кто интересу-

ется вопросами геральдики. Отличие книги Владимира Круковского от других изданий в том, что он рассказывает о гербах частных. Важно и то, что, как свидетельствует автор, «выявы гербаў, змешчаныя ў кнізе, аўтэнтычныя, гэта не аўтарскія перамалёўкі ці мастацкія інтэрпрэтацыі. Так яны выглядаюць у старых дакументах, геральдычных кнігах, на прывілеях і дыпломах — і ў гэтым іх мастацкая і навуковая каштоўнасць». Помещены изображения более 150 частных гербов, в том числе те, которыми пользовались известные на Беларуси княжеские роды — Огинские, Острожские, Друцкие, Мосальские, Прозоры, Забелы, Заславские. В других случаях указываются фамилии пользователей того или иного герба. В конце издания предлагается список древних белорусских шляхетных родов. Поспешите приобрести книгу «Срэбная страла ў чырвоным полі». Вполне вероятно, что вы найдете в ней и свою фамилию, а также узнаете, какой герб «принадлежит» вам.

Мікола Мятліцкі. ЦЯПЛО БУСЛІНАГА КРЫЛА. Палескія вершы. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

В «Лімаўскім фальварку» — праздник. Как известно, «Лімаўскі фальварак» — одна из серий, выходящих в редакционно-издательском учреждении «Літаратура і Мастацтва». Именно в ней и появилась новая книга лауреата Государственной премии Республики Беларусь и премии Ленинского комсомола Беларуси Миколы Метлицкого «Цяпло буслінага крыла». М. Метлицкий пишет искренне, чисто, с тонким чувством слова и с глубокообразным наполнением строки. Подзаголовок книги, «Палескія вершы», говорит о том, что сборник посвящен родной земле поэта: «Лёс непадзельна адзіны, // З шырамі памяці гойнымі. Светлы ускраек Радзімы, // Сэрцу адкрытыя Хойнікі». Раздел за разделом — «Курані — карані», «Памяць сонца», «Пракаветны бальшак» — переворачиваешь страницу за страницей жизни лирического героя, который, конечно же, сам поэт. Это все то, чем он живет, что его тревожит, что он любит, а с чем и не может смириться. Восхищается, что его родная земля — это родина народного писателя Беларуси Ивана Мележа. Больно же от осознания, что Хойникский район накрыл своим пеплом Чернобыль. И невыносимо больно, что давно уже нет в живых самых дорогих людей — матери и отца. Это все — жизнь, и ее талантливо отображает М. Метлицкий.

Николай Сердюков. ПО ЛЕВУЮ СТОРОНУ. Роман. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

«Черная молния» — новая, детективная, серия Редакционно-издательского учреждения «Літаратура і Мастацтва». Если судить по роману Николая Сердюкова «По левую сторону», то она, конечно, будет иметь своего читателя. Это произведение из тех, в которых сочетаются острота сюжета и глубокий психологизм. Криминальная история, положенная в основу романа, такова: убит чиновник, который курировал городское здравоохранение. Расследование ведут не только правоохранительные органы. Неофициально к нему подключается служащий мэрии Сергей Дорога, любимая девушка которого и знакомый парень во время покушения были ранены. В клинике, в которую их завезли, они рискуют оказаться в роли тех, у кого изымают органы… Что происходит дальше, можно узнать, прочитав книгу.

СЛУЦКАЯ ПАЛИТРА. Из фондов Слуцкого краеведческого музея. Фотоальбом. Составитель, автор текста Н. Серик. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Владимир Доманевский, обращаясь к тем, кто пожелает познакомиться с этим интересным и содержательным изданием, замечает: «Альбом, который вы держите в руках, знакомит с историей искусства на Слутчине. Вас ожидает

встреча с произведениями талантливых художников, чьи картины составляют художественную коллекцию Слуцкого краеведческого музея. Уверен, что это издание будет интересно всем, для кого Слуцкий район — малая родина. Приятно осознавать, что значительная часть собрания представлена работами художников-земляков. Альбом «Слуцкая палитра» — это прикосновение к вечности через краски и свет». Что ж, приятно, что слуцкие власти понимают значение в жизни общества прекрасного, уделяют большое внимание не только развитию промышленности и сельского хозяйства, но и культуры. Кстати, это относится и к руководителям предприятий также. Среди них директор Открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николай Прудник, которому также дано слово. И не случайно: фотоальбом увидел свет благодаря финансовой поддержке этого предприятия. О художественной жизни Слутчины как в прошлом, так и сегодня, рассказывает директор Слуцкого краеведческого музея Наталья Серик. Многочисленные же репродукции произведений показывают творчество тех или иных художников.

Василь Ткачев. ДОМ КОММУНЫ. Роман. Повести. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

В однотомник Василя Ткачева кроме романа, давшего ему название, вошли повести «Пост», «Участковый и фокусник», «Игра» в переводе на русский язык Михася Позднякова и в авторском переводе. В романе «Дом коммуны» отображены события времени распада Советского Союза. Произведение воспринимается своего рода кардиограммой жизни общества в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия. Однако писатель не ограничивается только этими временными рамками. Романное пространство невозможно без широкого охвата событий, без экскурсов в прошлое. Людские судьбы, проходя испытание временем и обстоятельствами, перекрещиваются. Одних жизнь ломает, других закаляет. Перед нами книга правдивая, искренняя, в которой звучит голос писателя-гражданина.

Евгений БОРКОВСКИЙ

Встреча с «Нёманом»

Наш Городокский район не часто упоминается в республиканской прессе, поэтому опубликованный в 11-м номере за 2010 год журнала «Нёман» очерк нашей землячки Натальи Советной «Вот диво! Что за край прекрасный!» стал настоящим событием для жителей района. Вот почему в большом зале РДК на презентацию очерка и в целом творчества Натальи Советной собралось так много людей.

Поблагодарить автора, рассказавшего с восхищением и любовью о нашем крае, пришли работники Центральной районной библиотеки и Дома культуры, научные сотрудники краеведческого музея, мастера Дома фольклора и народных ремесел, мои собратья — местные поэты, члены литературного клуба «Городянка», преподаватели и учащиеся Детской школы искусств, студенты Городокских колледжей, школьники, учителя, врачи, пенсионеры. Многие из них стали героями очерка.

Перед началом вечера гости прогуливались по залу и рассматривали рисунки юных художников ДШИ, изделия городокских мастеров Дома ремесел и фольклора, стенд «Литературное пространство», на котором размещались книги Натальи Советной, коллективные сборники, журналы, в которые вошли ее стихи, очерки, сказки и рассказы. Звучала музыка и песни на стихи Советной в исполнении композитора Леонида Кузнецова. Все это было будто иллюстрацией того, о чем рассказывалось в очерке. Невольно вспомнилось с улыбкой недавно прочитанное в одной из витебских газет о том, что у многих людей бытует представление о северном Городокском районе как о «мядзведжым куце». Происходящее опровергало это утверждение.

Вдруг на экране засветилась крупная надпись «…Вот диво! Что за край прекрасный!»… Замелькали отснятые с высоты кадры с видами родного города, и зазвучал голос ведущей, читающей первые строки очерка:

«Вертолет натужливо заурчал, закрутил лопастями пропеллера, набирая обороты, и вдруг оторвался от земли, завис на мгновение над городским стадионом, словно раздумывая, в какую сторону направиться, затем решительно повернул к центру города. Пассажиры прильнули к стеклам иллюминаторов и с восторгом смотрели на раскинувшийся далеко внизу родной Городок с его улицами и переулками, скверами и аллеями, просторной площадью, с веселой извилистой речкой Горожанкой, многочисленными окрестными озерами и лугами, полями, Воробьевыми горами, сосновым бором на них и густыми лесами…»

Открыла и вела презентацию заместитель директора ЦБС Ольга Александровна Иванова. Она сообщила, что районная библиотека осуществила подписку на 50 ноябрьских номеров журнала «Нёман», распределив их по всем сельским отделениям. Кроме того, именно на этот номер с очерком, рассказывающим о культурной жизни Городка и района, оформили подписку еще более полусотни человек.

Для многих читателей, особенно молодежи, стало открытием существование такого журнала! Это мы, рожденные в сороковых и пятидесятых годах,

хорошо знаем популярное издание, которое раньше имело огромные тиражи. К сожалению, после 90-х годов многое изменилось. Но теперь в Городке, вслед за интересом к очерку Натальи Советной, возник и интерес к журналу, в котором печатается интересная публицистика, поэзия, проза, в том числе и зарубежная. Слышала, как молодые говорили: «Так журнал же интересный! Ощутили повышение читательского спроса также работники библиотеки — «Нёманом» стали интересоваться активнее…

Ярко и эмоционально выступила начальник отдела культуры Городокского райисполкома Ольга Владимировна Коврига, сказав, что благодаря Наталье Советной о маленьком районном городе Городке, о его талантливых людях узнали во всей Беларуси и даже за рубежом. Она отметила, что в очерке обобщен богатый опыт работы учреждений культуры Городокского района, рассказано о людях, которыми может сегодня гордиться Городокщина. Все выступающие отметили, как удачно Наталья Советная использовала текст знаменитой поэмы нашего земляка Константина Вереницына «Тарас на Парнасе»! Используя строчки-цитаты поэмы, она объединила, словно бусинки нанизала на нитку-основу, все разделы очерка. В нем чувствуется живой, искренний интерес автора к жизни земляков, гордость и радость за людей, живущих и работающих ярко и творчески. В этот ряд, по мнению выступающих, можно по праву поставить и имя автора очерка — Натальи Викторовны Советной.

На вечере звучали также стихи и песни городокских поэтов. Наталья Советная прочитала отрывки из своих рассказов. Мне кажется, что многие слушатели в этот вечер покинули зал уже немного другими, может быть, стали чуть-чуть добрее.

Я спросила у девочек лет пятнадцати о впечатлении, оставленном творческим вечером. «Здорово! — ответили они. — Мы узнали столько интересного и нового!»

…Константин Вереницын, еще в 1855 году написавший в городе Городке знаменитую поэму «Тарас на Парнасе», воскликнул: «…Вот диво! Что за край прекрасный!» Сейчас мы, спустя много лет, готовы повторить те же слова. И если заповедные *лесные* уголки нашего района можно назвать «мядзведжым кутам», то в целом Городокщина — это богатый, разнообразный, постоянно совершенствующийся благодаря трудолюбивым и достойным людям край.

Приятно, что такой значительный в литературной жизни республики журнал, как «Нёман», опубликовал этот очерк. Еще раз благодарю автора и журнал за то, что рассказали о нас, городокчанах. Дальнейших вам творческих успехов!

Александра НИКИФОРОВА,
учитель.

Авторы номера

ГОРДЕЙ Виктор Константинович. Родился в 1946 г. в д. Малые Круговичи Ганцевичского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, прозаик, переводчик, критик. Автор множества книг. Лауреат литературной премии имени И. Мележа. Живет и работает в Минске.

БАШЛАКОВ Михась (Михаил) Захарович. Родился в 1951 г. в поселке Станция Теруха Гомельского района Гомельской области. Окончил историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. Поэт. Автор многих книг поэзии. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

ЛИПНИЦКАЯ Ольга Станиславовна. Родилась в 1972 г. в Минске. Окончила БГУИР по специальности автоматизированные системы обработки информации и управления. А также Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Ringsaker, в Норвегии. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

ДАШКЕВИЧ Татьяна Николаевна. Родилась в 1968 г. в Минском районе Минской области. Окончила Литературный институт имени М. Горького (Москва). Поэт, прозаик. Автор поэтических книг «У зеркала», «Мирянка» и др. Лауреат международной премии имени А. Платонова «Умное сердце». Живет в Минском районе.

ТКАЧЕВ Василий Юрьевич. Родился в 1948 г. в д. Гута Рогачевского района Гомельской области. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища СА и ВМФ. Прозаик, драматург, публицист, критик. Автор многих книг. Живет в Гомеле.

МОСКАЛЕНКО Валерий Степанович. Родился в 1941 г. в Бобруйске. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Поэт. Автор ряда книг, вышедших в Москве и Минске. Живет в Минске.

ГУСЕЙН ДЖАВИД (Гусейн Абдулла оглы Раси-заде). Родился в 1884 г. в г. Нахичевань (Азербайджан). Окончил духовную школу — медресе, литературное отделение Стамбульского университета (Турция). Яркий представитель романтизма в Азербайджане начала XX века, сыгравший огромную роль в формировании азербайджанской литературы прошлого века. Автор множества произведений, в которых нашли отражение философские мотивы, вопросы гуманизма и человеколюбия. Трагически погиб в ГУЛАГе в 1944 году.

ЧОСИЧ Добрица. Родился в 1921 году в г. Велика-Дренова (Королевство Югославия). Окончил Высшую политическую школу им. Джюро Джаковича. Выдающийся сербский писатель, всемирно известный политик и теоретик сербского национального движения. Был первым президентом Союзной Республики Югославии (с 15 июня 1992 года по 1 июня 1993 года). Автор романов «Солнце далеко», «Корни», «Разделы», «Время смерти», «Грешник», «Верующий», «Сказка», сборников полемических эссе «Семь дней в Будапеште», «Действие», «Сила и страхи», «Ответственность», «Реальное и возможное», «Записки писателя», переведенных на многие языки.